

*НОВЫЙ
Журнал*

130

*THE NEW
REVIEW*

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

АНДРЕЙ СЕДЫХ

”КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ”

Нью-Йорк 1978

(стр. 138)

Цена — 5 дол. (с пересылкой 5 д. 50 ц.)

Книготорговцам — обычная скидка.

Заказы направлять по адресу:

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO

243 West 56th Street, New York, N.Y. 10019

с приложением стоимости книги и пересылки.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА

РОМАНА ГУЛЯ

«Я УНЕС РОССИЮ»

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

Книга охватывает литературную, художественную, церковную и общественно-политическую жизнь первой, второй и третьей эмиграций с 1920 г.г. по 1970-е г.г. (Берлин, Париж, Нью-Йорк). Даны зарисовки видных русских зарубежных писателей и общественно-политических деятелей: Бунина, Керенского, Зайцева, Церетели, Цветаевой, Степуна, Милюкова, А. Белого, Маклакова, Станкевича, Николаевского, Гучкова, Вишняка, Ключникова, Лукьянова, Абрамовича, Мельгунова, Карповича, Алданова, Г. Иванова, Вейдле, Адамовича и многих других. В книге — около 600 стр., много фотографий, факсимиле и текстов писем к автору. Также даются зарисовки советских писателей, бывших в Европе: Ал. Толстого, Эренбурга, Пильняка, Федина, Сейфуллиной, Никитина, Есенина, Кусикова, Слонимского, Груздева и др.

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Тридцать седьмой год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Помощник редактора: ВИКТОР ЕНЮТИН
Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1978

Quarterly No. 130
2700 Broadway, New York, N. Y. 100025
Subscription Price \$20 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ю. Кротков</i> — Сирень	5
<i>П. Палий</i> — Замостье	20
<i>Г. Андреев</i> — Минометчики	49
<i>И. Маркадэ</i> — Значение Малевича в совр. живописи	65
<i>Р. Плетнев</i> — Л. Толстой и звукоподражания	75
<i>Е. Вагин</i> — Об эпиграфе поэмы "Мцыри"	82

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Письма В. Розанова</i> (публ. Д. Перчонка)	92
<i>Неопубликованные воспоминания А. Вырубовой</i>	101
<i>О. Мочалова</i> — О Вяч. Иванове	150
<i>А. Бахрах</i> — Разговоры с Буниным	159
<i>И. Ситявин</i> — Творческая вылазка	189

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>В. Ильин</i> — О "Вавилонской блуднице"	212
<i>М. Раев</i> — О книге А. Безансона	219
<i>В. Зубов</i> — Собаки в СССР	229

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: <i>проф. кн. А. Щербатов</i> — К.Г. Белоусов.	
<i>Ю. Кротков</i> — А. Галич	240

БИБЛИОГРАФИЯ: <i>Е. Климов</i> — М. Добужинский.	
Воспоминания. <i>С. Крыжицкий</i> — Л. Ржевский. Две строчки	
времени. <i>Н. Андреев</i> — Н. Ульянов. Сириус. <i>С. Женук</i> —	
ВСХСОН. Сборник материалов. <i>Л. Ржевский</i> — А. Седых.	
Крымские рассказы. <i>С. Женук</i> — В. Стивенсон. Человек, назван-	
ный бесстрашным. <i>Б. Нарциссов</i> — Три книги Ю. Мирялюбова.	
<i>Книги для отзыва</i>	246

*Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011*

СИРЕНЬ

В воскресенье я отправился на футбольный матч столичных команд "Динамо" и "Спартак".

"Волга" моя уже вторую неделю была, увы, в покраске на автобазе Академии Наук СССР, так что приходилось в Москве пользоваться метро и такси, ну а на дачу ездить на электричке, в часы пик набитой до отказа (кто-то сострил, сказав: "как панширосная гильза табаком").

До станции было, приблизительно, полтора километра. Я шел по старому шоссе, местами переходя на тротуар, покрытый досчатым настилом, а потом долго пересекал Клязьму по узкому петухому мостику, и, под конец, начал подниматься в гору, минуя два дачных поселка: "Коммунар" и "Заря".

Шел я и думал, как обычно, об одном и том же, неотступном и навязчивом, наподобие давно известной мелодии.

Нет, за пределы фасада все это из меня не выплескивается. Сдерживает, наверное, страх, да и годы вытренировали. Вот и прячусь я за стереотипной улыбкой члена-корреспондента Академии Наук, специалиста по коррозии металла, Ивана Степановича Глазкова. Внутри же больше полувека жизни вверх-тормашками, духовная акробатика, словом что-то вроде шизофрении с клеймом "Сделано в СССР". Копаясь в самом себе я обнаруживаю, что добра во мне мало или уже вовсе нет. Подмокло оно, или же испарилось. Вместо того — необозримые просторы ненависти, густопсовой, "звнящей", которой и упиваюсь, почти захлебываясь и распознав все ее глубинные рельефы. Может быть, это во мне доминирующий электрод или доминирующий ген, если существуют, скажем, гены добра и зла.

Во-первых, терпеть не могу самого себя, разумеется за рабскую покорность, хотя и постоянно нахожусь на грани психологического взрыва (не взрываюсь). Во-вторых, презираю трудящихся города и деревни, которые вместе со мною, в одной как бы упряжке, втянули этот лживый, насквозь фальшивый и казарменный воз, так сказать, в новую эру, коронованную марксовой химерой.

Имманентная чертовщина! Иногда смеюсь от досады и оттого, что многим приходится сплевывать кровью.

А родился я без дури. Не помню, крестили ли меня и окунали ли в купели, но вырос я атеистом. И отец у меня был атеистом, геологом, который любил говорить: "Геолог не может верить в Бога, он смотрит в землю", хотя он и отдавал должное моральной миссии Христа. А почему бы и нет? Ведь последний был не только сыном Божьим, но и человеком. Однако в этот спор я не ввязываюсь, так как мало что смыслю в теологии.

И ведь до чего дошло! Я от этой ненависти, или от того, что затаенная она во мне, не только весь наш людской род кляню и все на свете, но вот даже вкус потерял. Да, да, вкус. Факт, подтвержденный экспериментом. Пища, фрукты и напитки не доставляют мне уже удовольствия, как прежде. Больше того, перестал я чувствовать запах цветов. Жена моя, Дина, после смерти ее родителей, вошла во владение дачей в Мамонтовке, с садом и с чудесными кустами сирени. Я ее с детства обожал. Сирень. Ныне же, в самый разгар цветения, когда фиолетовые и белые метелки набухают, как маленькие коровьи вымени, так сказать, прохожу мимо и не пьянею, как прежде. Уж чего там, чувствую, что и сирень возненавидел и смотрю на нее теперь, как на врага.

А причем же тут цветы, если на прошлой неделе, например, директор моего НИИ (Научно-Исследовательского Института), коммунистический лис и Фуше, Плечугин, сняв с моего пиджака пушинку и грассируя (грассирует, подлец!), сказал:

— Дорогой Иван Степанович, дружески советую: отдайте вы женину дачу под ясли. Это хороший общественный жест. А мы вам выхлопочем Гос. дачку, ну в Загорянке или в Серебряном Бору. Ведь мы живем уже в коммунизме.

(А сам, гад ползучий, только и мечтает об очередной загра-

ничной командировочке, чтобы привести своей жене модные комбинации и чулки, которые у нас все еще — дефицит.)

Нельзя, видите ли, члену-корреспонденту иметь *собственную* дачу, пусть и женину. Это плохо для анкеты, как сказал Плечугин.

Я шел к станции и думал обо всем этом и думал еще о том, что я ведь обманывал Дину. Ехал же я нынче вовсе не на футбольный матч, а на встречу с Ритой. И Дина кажется знала, что у меня есть Рита и делала вид, что ей до этого нет дела. А может быть, ей действительно не было до этого дела. Мои отношения с женой тоже давно уже стали акробатическими. Как, впрочем, и с Ритой.

Мы с Диной поженились студентами МГУ. И она училась на химфаке. Родители ее были известными в Москве фармацевтами. И мама и папа. Мать ее работала в Кремлевской больнице. Я им понравился своим веселым нравом (как мне сказала об этом сама Дина), а мне понравились крохотные ножки Дины, крохотные, как у гейши. Я ее окрестил "гейшей". С этого между нами началось. Может быть это вздорно, но в те годы девичья красота определялась для меня во многом размером ножки. Номер 32 был идеалом. У Дины ступня была 33.

Первые годы она понимала меня. Мы были абсолютно откровенны. Я окончательно опознал эту социальную аферу после того, как мой отец был объявлен "врагом народа" и арестован, в 1947 году. Но до ненависти дошло не сразу. Старики Дины уцелели. Сталин их пощадил. Зато сама Дина за какой-то инквизиторский шеклот была исключена из ленинского комсомола, но, правда, потом восстановлена. По ночам мы шепотом ругали советскую власть. И это было клапаном для выхода гнева. Дина была тогда зрячей и гордой. Но после рождения Митьки она обабилась и мнялась вязанием шерстяных чулок. И дошла вот до смирения и до Бога. Ходит в церковь. Молится. Это вместо ночного шепота. А прошлой зимой посадили ее племянника, Генку, за то, что он, якобы, распространял в Загорске антикоммунистическую литературу. Это на Дину не подействовало. Она проповедует любовь к ближнему и не прикасается к "Правде", которую я читаю от корки до корки и каждый день тем самым подкар-

мливаю свою ненависть (лучшего корма не отыщешь!). Во всех комнатах дачи, весной, у Дины в вазах — букеты сирени.

Вчера она сказала мне:

— Бог даровал нам жизнь, а в жизни три месяца это весна. А сирень это весна.

Это прозвучало как афоризм. И она надела Митьке на голову венец из сирени.

Короче говоря, ненависти в ней нет...

На жел. дор. платформе было пустынно, только рыжая дворняга с твердым, полукругом поднятым хвостом, лениво прохаживалась из стороны в сторону в тени у небольшого киоска с надписью "Буфет". Я сунул в окошечко кассы мелочь и чья-то рука протянула мне билет на электричку. Но предстояло прождать минут пятнадцать. Я сел на деревянную скамейку с разбросанной вокруг шелухой от семечек, подставив солнцу голову и плечи.

Мысли не унимались.

На прошлой неделе Дина намекнула на то, что я скрываю свои неспособности в науке за ненавистью к советскому строю и все валю на него, когда мой застой в НИИ объясняется моей посредственностью и ленью. Между прочим, не так давно она повесила на стене у письменного стола лозунг: "Если сегодня не написаны три страницы — день пропал!". В студенческие годы это делала моя мать и я когда-то рассказал об этом Дине. Идею же о моей посредственности в голову ей закинул мой школьный приятель, волосатый Арам Вартанов (у него даже на пальцах растут волосы), который тоже сделался членом-корреспондентом Академии Наук, в области математики. Последнее время он стал бывать у нас на даче почти каждое воскресенье и, овдовев, по моему решил поухаживать за Диной (она ему нравилась еще в МГУ). Вот Арам и сказал Дине, что я в науке — спортсмен. Собственно, он и мне прямо в глаза сказал то же самое, считая, что меня выручает отличная память и только, и что мне с избранием в член-корры просто повезло, а что мои антикоррозийные присадки, употребляемые советской армией и флотом — дело прикладное и мало относящееся к науке.

Я подумал о том, что и сегодня Арам будет кататься с Диной на лодке по мутной и замусоренной Клязьме, будет читать

ей свои лирические стихи, а потом они будут говорить о Боге, в которого Арам, мне кажется, тайком верит, а потом мой Митька будет фотографировать их на фоне сирени.

Как-то Дина упрекнула даже моего отца, заявив, что я ушследовал никчемное "правдоискательство" и ненависть к коммунизму от него и что он этим замучил мою мать и, в результате, умер в ссылке на Колыме. Это было слишком и я прикрикнул на нее. Тогда она расплакалась и сказала:

— Надо жить как живется, как другие люди живут. От твоей желчи нет спасения. Ты все поносишь. А выходя из дому, ты улыбаешься и на службе ты теленок. Открыто сказать в своем НИИ о том, что ты думаешь, ты не можешь. Боишься. Ну так если боишься, забудь об этом. Плетью обуха не перешибешь. Займись лучше пчелами...

Она хотела, чтобы я занялся пчелами, а я занялся Ритой.

Солнце припекло мои плечи. Я встал и спустился по деревянной лестнице вниз, в тень от большого клена. Напротив платформы стоял в этом месте сруб с красной свежевывкрашенной крышей, огороженный покосившимся досчатым забором, за которым в человеческий рост росла сирень, белая и фиолетовая, попеременно. И казалось, что весь этот дом утопал в ней. В прежние время я непременно приблизился бы к забору и уткнул бы лицо в сиреневую прохладу, в ее метелки, может быть еще сохранившие на себе утреннюю росу.

В вагоне народу сначала было мало, но электричка шла со всеми остановками. Такие приходят в Москву полными.

Я сел справа у окна. Напротив меня устроились вошедшие вслед за мной два парня, веселые, наверное выпившие в буфете по две-три кружки пива, а слева от меня на сидение опустился высокий худощавый старичек с сухими губами, в очках, одетый в чистую длинную рубаху, похожую на ту, которую носил Лев Толстой. Он сразу взялся за чтение книги, открыв ее в том месте, где она была заложена стеблем сиреневой ветки. Сирень была и в петлице пиджака у одного из парней, а другой держал светлосинюю веточку в зубах, слегка надкусив ее. Старичек читал, как я заметил, роман Дюма "Три мушкетера" и не обращал внимания на окружающих, вероятно полностью уйдя в мир Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна. (Когда-то и я увлекался этим

миром). Я подумал: а что если этот старичек из дачного поселка "Политкаторжанин", в котором живут преимущественно старые большевики? Кстати, кто-то говорил мне, что они там недавно открыли клуб, используя под него старый сарай, без электричества, при свечах собираясь и обсуждая всякие политические вопросы. И кто-то по этому поводу сострил, назвав их "большевиками в подполье".

Примечательными показались мне и оба парня. Тому, который был в пиджаке, было, наверное, лет 20 или даже побольше, он был скуласт и чубаст, с лукавыми глазами; модный галстук был завязан небрежно и чуть приспущен, воротничек был не застегнут, а пальцы на обеих руках были забинтованы, вероятно он получил ожоги, но он мог свободно двигать ими. Достав из кармана пиджака "Беломорканал", он ловко выкинул из бумажной коробки две папиросы — себе и приятелю, на колени. Оба закурили, так как вагон был для курящих. Скуластый и зажигалку извлек из кармана сам, но зажег ее его приятель, стройный парень с застенчивым лицом, одетый в желтую тенниску и в парусиновые хорошо отглаженные (конечно матерью) брюки. Я прислушался к их разговору, делая вид, что я разглядываю в окно пейзажи подмосковья. Скуластого звали Виталием, застенчивого Николаем, но Виталий называл его Коля. У Виталия речь была ультра-советской, жаргонной, в общем, заводской. Оба они были из Мамонтовки, то ли постоянно в ней жили, то ли выехали "на лето". Нет, Виталий безусловно был здешним и, как я понял, работал на военном заводе. Неподалеку от Мамонтовки где-то есть большие подземные заводы по производству ракет. Недавно, я слышал, на них произошел сильный взрыв и пострадало много людей. Может быть, и ожоги Виталия были результатом этого взрыва. Может быть, он был на больничном листе. Ехали оба парня в Москву с надеждой попасть на футбольный матч, "прижимая", конечно, за "Спартак". Но у обоих не было билетов, поэтому они и ехали задолго до начала игры: а что если удастся "схватить" лишний билет у входа на стадион, или же, затесавшись в толпу, силой прорваться через входные ворота?

Виталий был парнем разбитным, критиканом и шутником. Николай же показался мне серьезным, вдумчивым и зря слов не

ронял; когда он говорил он брал ветку сирени в руку, а окончив говорить опять слегка прикусывал ее между зубами. Тем не менее Николай был под явным влиянием Виталия. Тот уже и о девочках выражался бывало, легко...

Под размеренный стук колес вагона, слушая разговор этих двух, я вдруг подумал о том, что и эти парни и этот старичек ("большевик в подполье"), да и весь вздрагивающий на рельсовых стыках вагон электрички были чем-то, что являлось составной частицей всей моей жизни, тем, с чем я родился и рос, с чем я навсегда свыкся, как свыкаются, например, с протезом одноногие, потому что выбора у них нет. И тут я подумал о том, что вот на какой-то промежуток времени я даже способен забыть, что я все это ненавижу.

Дина последние годы, по ночам, плача, твердила:

— В жизни нашей есть то, что не зависит от советской власти. Еще можно любить, дружить, иметь детей, гулять, любоваться природой, заниматься огородничеством, вязать. (Позже она прибавляла к этому — пчеловодство)

И конечно она ссылалась на Бога, которого Советская власть все же не упразднила, хотя и как следует уплотнила. Слова Дины, по существу, звали к уходу из реальности и к окончательному признанию социального рабства и диктатуры шайки карьеристов, засевавших так прочно в Кремле.

Рита была другой. В ней, как и во мне "звенел" электрод неинвисти. Говоря о Боге, она как-то сказала:

— Я против Бога, потому что он умиротворяет, вместо того, чтобы пробуждать непокорность.

В вагоне электрички сильно запахло сиренью, когда на следующей остановке в него вошло несколько баб, одетых по колхозному, с белыми платками на головах и с ведрами, в которых была сирень. Они везли ее в Москву на продажу, что преследовалось законом. Но милиция не трогала их до того момента, пока они не начинали заниматься частной торговлей. Бабы расселись в конце вагона и затараторили, сплевывая шелуху от семечек в кулаки.

На той же станции в вагон вошли еще бабушка с внучкой, во всяком случае мне они представились именно таковыми. Они сели слева наискосок от меня. Девочка, лет 10 - 12-ти, была

хорошо развита, с полными коленками и уже оттопыривавшейся под чистенькой кружевной кофточкой грудью, лицо ее было округлым, с пухлыми губками и слегка курносый носом, глаза же ее напоминали два темных шарика, которые беспокойно ерзали по сторонам. Подстрижена она была под мальчишку. В ее розовых ушках я заметил маленькие зеленые сережки. А в руках, в обнимку, она держала большой букет белой сирени, иногда опуская в него свое лицо.

Вероятно, это было просто любопытство, но я, нет-нет, а поворачивал голову в сторону девочки с букетом сирени. Бабушка меня интересовала мало. Она была обыденной, так сказать, традиционной подмосковной бабушкой, с коричневым морщинистым лбом, отвислыми щеками и с очень шершавыми рабочими ладонями рук. Девочка же заметила мои взгляды и это ее насторожило. Теперь уже она сама не спускала с меня глаз и когда наши глаза встречались, она на секунду смущалась, опускала свои и тотчас же опять поднимала их и уже смотрела на меня почти с вызовом. Наверное я представлялся ей принцем, а не заурядным пятидесятилетним типом с перебитым носом и с седеющими и уже редееющими на голове волосами, одетым в старомодные широкие брюки и в шелковую сорочку. Впрочем, если она и замечала все это, наверное, это было для нее не важно. Важно для нее наверное было то, что я был мужчиной. Она ерзала коленками и вовсе не хотела прикрыть их коротенькой юбочкой и мне казалось, что она нарочно поправляла нарядные высокие чулки и еще облизывала свои губы и чуть улыбалась.

Я прищурился и мне почудилось, что ее лицо слилось с белыми метелками сирени. И я невольно опять вспомнил слова Дины: "Сирень это весна". Ведь так просто сказано: "Сирень это весна".

Мне надо было отмахнуться от того, что в человеческой жизни вечно, потому что это меня обезоруживало, парализуя во мне ненависть. А ведь я ехал к Рите и знал, что она ждет меня и что я ей необходим, как одному электроду ненависти необходим другой электрод ненависти.

Вспомнив слова Дины, я тут же вспомнил и о том, что Арам Вартанов называл меня "спортсменом в науке". Это слегка

обеспокоило меня. Нет, не потому, что мои антикоррозийные присадки получили распространение в советской армии и во флоте, а потому, что я вот не мог уйти с головой в науку, игнорируя все остальное. А ведь принято думать, что наука, это замок из слоновой кости — спасение от житейских невзгод и разочарований.

Появившийся в вагоне электрички плотный мужчина в шпанах и с удочками, и с пластиковым ведерцем, вероятно позвращавшийся с рыбалки, напомнил мне доцента Третьякова из нашего НИИ. Такой же уверенный в движениях, с бакенбардами и с тускло-серыми глазами. Между прочим, я побаиваюсь Третьякова, мне кажется, что он провокатор. Не так давно он пришел ко мне для того, чтобы я подписал письмо с протестом против увольнения из нашего НИИ профессора Зильбера, который дал интервью какому-то иностранному корреспонденту, заявив, что в СССР процветает антисемитизм (кажется, он решил эмигрировать в США, если удастся, будет там разъезжать на "Кадиллаке", голова у него — клад). Третьяков, подкрутив усы, сказал мне еще о том, что он сам принадлежит в какой-то "диссидентской" организации и что пора советским ученым поднять голову и "едиными рядами" выступить против тоталитаризма. Он даже предложил мне пойти с ним на какое-то собрание, куда-то на частную квартиру. Я все это отверг и письмо не подписал. Повторяю, я думаю, что Третьяков работает по заданию КГБ. Да и вообще, во все эти "диссидентские" затеи я не верю. И Рита в них не верит. Все эти легальные методы борьбы за "модификации" режима — чистая утопия.

Скажу прямо и откровенно: по радио "Свобода" я слушаю только тех, в которых я по голосу угадываю присутствие "электрора ненависти".

В это время по вагону пробежало несколько подростков, подмосковная шпана, всегда пытающаяся ездить на электричке без билетов. Иногда это удается. Иногда нет. На сей раз контролеры зажали их с двух сторон и они попались в капкан именно в этом вагоне. Оба контролера в жел. дор. формах, один молодой и чисто выбритый, а другой усатый и уже в годах (у обоих, как это ни удивительно, на форменных фуражках сверху были приколоты веточки сирени), потребовали, чтобы подрост-

ки уплатили штраф, или угрожали передать их линейной милиции. Поднялся шум-гам, но все закончилось миром. Контролеры вывели подростков в тамбур и там, конечно, те сложились по пятаку и "откупились", что устроило обе стороны, так как этот мнимый штраф кондукторы положили себе в карман, а шпана проехала на электричке за полцены.

Глядя на контролеров, я подумал о том, что веточки сирени на их форменных фуражках выглядели как петушинные гребни.

От Москва-товарная до Москва-пассажирская минут пять я был в состоянии внутреннего оцепенения, без способности думать, но с четко звучащим в мозгу и безответным вопросом: "Зачем все это?".

В густом потоке людей я вышел с Северного вокзала на Комсомольскую площадь, где рядом с вокзальным зданием высилось мраморное сооружение станции метро. Тут вдоль по стене стояли бабы с ведрами, в которых была сирень. За букет они просили 50 копеек, но уступали и за 30. Торговля шла бойко. Однако бабы, нет-нет, а оглядывались по сторонам, готовые сразу при появлении милиции разбежаться, ведь они были "преступницами", подменяя принцип социалистической торговли (без цветов) системой частной торговли (с цветами).

И вдруг я решил купить букет сирени за 50 копеек, что конечно было вопреки тому, что я уже не чувствовал запаха сирени и смотрел на нее, как на врага. Я купил букет с подсознательным и озорным намерением принести его Рите, хотя хорошо знал, что она его не примет и рассердится. Может быть, я на это и рассчитывал.

С Ритой я познакомился случайно в Московском Доме Кино на просмотре научно-популярного фильма "Советский металл", одним из консультантов которого я значился в титрах. Она пришла со своим дядей генералом Юмашкиным, а я встречался с ним, когда в Министерстве Вооруженных Сил обсуждался вопрос использования моих присадок для хранения артиллерийских снарядов. Рите было уже тридцать, она была высокой и стройной, с тонкой шеей и пронизательными ("колючими") глазами. У нее были красивые темнорыжие волосы, но позже я узнал, что это был парик, привезенный ей из Парижа. Отец ее, инженер по образованию, занимал пост Зам. Председателя

Совета Министров СССР, ни больше и ни меньше, начав выдвигаться еще при Сталине. У него была шикарная квартира в Доме Правительства на Грановской улице, дача в Архангельском и еще двухкомнатная квартира в "небоскребе" на площади Восстания. В ней жил брат Риты, но после того, как он спился и отец был вынужден согласиться на его высылку из Москвы, в ней поселилась Рита. Она работала в Комитете по делам Радиоупаковки и Радиофикации литературным редактором в отделе передач для женщин, окончив литфак МГУ.

Рита была существом необыкновенным. Мы с ней сразу сошлись и открылись. И оказалось, что мы были близнецами в наших внутренних миропредставлениях, что случается не часто. Она вкусила все прелести жизни избалованных "элитных" детей, но возненавидела их и так же, как и я, постепенно пришла к жизни вверх-тормашками и с духовной акробатикой. Не сумев приспособиться к "нормальному" существованию советских людей, она говорила мне, что ходит все время на иголках с желанием завтра, да, да, завтра взорваться. Но это завтра в ней, так же как и во мне, не приходило, то есть не трансформировалось в сегодня.

Я подозреваю, что у Риты все это началось с того, что она, в результате болезни, потеряла волосы и была вынуждена носить шпирк и еще потому, что какой-то сынок какого-то советского нождя когда-то отверг ее.

Тем не менее, вероятно оттолкнувшись от этого, она двинулась в сторону более широкого неприятия нашей реальности и к прямой ненависти к ней. И мы сошлись с ней в определении этой реальности, называя ее "красной казармой".

Когда я переступил порог квартиры Риты с букетом сирени в руках она недоуменно посмотрела на меня и сказала:

— Интересно. Это ты что же... захотел обрадовать меня шпестами, да?

Я, замешкавшись, ответил:

— Понимаешь, все в электричке ехали с сиренью. А Дина сказала: "Сирень это весна"...

— Твоя Дина дура! — перебила Рита.

Я положил букет на стол и сел, наверное, с нелепым выражением на лице.

Рита ждала меня, на ней был легкий халат, через который просвечивало ее гибкое тело. Она села напротив, в кожаное кресло, закинув ногу на ногу, и закурила.

— Ты же знаешь, — произнесла она после паузы напыщенно и громко, — я не хочу радостей.

И с этой фразы началась наша шизофрения.

— И я не хочу радостей, — сказал я так же напыщенно и громко.

Она встала, прошлась по строго обставленной гостиной, задержалась на секунду у копии с картины Врубеля "Демон" и потом тихо добавила:

— А то, что мы с тобой делаем в постели — это разрядка.

— Да, это разрядка, — сказал я.

— И если бы не это, мы оба сошли бы с ума.

— Вероятно.

Раньше Рита пила, как ее брат, но бросила, потому что алкоголь ей не помогал. Это я знаю. И я пробовал. И мне он не помогал. Некоторым он помогает, а некоторым нет.

Рита снова села в кресло и снова закинула ногу на ногу. Мы молчали. Сирень лежала на столе и хотя Рита не смотрела на нее, может быть, ее запах достигал ее носа и беспокоил ее; может быть запах цветов все еще действовал на нее.

Вот что, — вдруг твердо сказала она, — я приняла решение.

Какое?

И тут Рита без запинки произнесла:

— Я убью отца.

Мне бы надо было ахнуть, но я не ахнул, потому что эту идею она высказывала и раньше. Так что я не стал задавать ей вопросов. Однажды она мне сказала следующее: "На Западе убивают президентов, премьер-министров и королей, а мы боимся и не убиваем своих". Это было и смешно и нелепо, но я ей тогда не возразил.

Рита опять встала и ушла в спальню, вернувшись оттуда, держа в правой руке небольшой никелированный пистолет. Положив его почему-то рядом с сиренью, на стол, она сказала:

— Я украла этот "Вальтер" у дяди Васи вчера вечером. Он не заметил. В обойме девять патронов.

Я нахмурился и невольно сказал:

— Не забывай, что за убийство у нас расстреливают.

— Ну и пусть, — тотчас же ответила она. — Я не хочу жить. Ты же знаешь. Надо же что-то делать. И что-то радикальное. Надо убивать. Будет шум. Дочь убила отца.

— Ты его *так* возненавидела?

— Я всегда его ненавидела. Он карьерист. Лизал зад Сталину. А теперь лижет другие зады.

То, что у нее появился "Вальтер" меня насторожило. Я почувствовал, что это даже слегка испугало меня. Впрочем, я был уверен в том, что она не убьет отца, в последний момент у нее не хватит на это сил. Знакомо. Я сам часто дохожу до крайности, но умею вовремя остановиться. И все же я улыбнулся от мысли: "Молодец! Отважилась украсть пистолет".

— Ты что улыбаешься? — спросила Рита.

— Так...

Она взяла со стола букет сирени, подошла к окну и, открыв его, выкинула цветы с 14-го этажа вниз на улицу.

— Надо же что-то делать! — опять воскликнула она.

— Надо же что-то делать, — повторил я и на этот раз подумал о том, что она не может верить в Бога и вязать шерстяные чулки, как это делает Дина, но что она так же, как и я, скрывает свое подлинное лицо за стереотипной улыбкой литературного редактора отдела передач для женщин, не говоря на работе то, что она на самом деле думает.

Мы оба утешали себя завтрашним днем, когда мы взорвемся и когда мир узнает "нашу правду", но завтрашний день для нас мог означать лишь конец, в буквальном смысле слова, а мы все еще хотели жить, хотя Рита и любила повторять избитую фразу о том, что она не хочет жить.

Погасив в пепельнице сигарету Рита взглянула на меня и я заметил теперь в ее глазах что-то острое и даже грозное. И тут одним движением рук она сбросила с себя легкий халат и сказала:

— Пойдем в спальню.

То, что она называла "разрядкой", было иступлением, половой шизофренией, неистовством, чем-то ожесточенным, но без пошлости и сластолюбия. Может быть, это было формой

самоуничтожения. Мы переставали быть людьми. Мы убивали друг друга с одной целью — истратить в себе ту силу, которая могла погубить нас в советской жизни.

Любви между нами не было.

Не раз, лежа рядом после "разрядки", Рита говорила мне:

— Я ведь и тебя ненавижу.

— За что? — спрашивал я.

— За то, что ты... трус.

Вероятно, она была права. И не случайно Дина предлагала мне заняться пчеловодством.

Я вышел от Риты в десять часов вечера и прогулялся вокруг высотного здания, с желанием посмотреть на то, что стало с букетом сирени, который она выкинула из окна. Но на том месте, где ему следовало бы быть, его не было. Значит, кто-то подобрал. И от этого мне почему-то сделалось не по себе.

Взяв такси, я поехал на Северный вокзал. Шофер, с азиатским лицом, причмокивающий губами, вертлявый, ни с того ни с сего спросил меня:

— А вы не боксер, товарищ?

Наверное, это из-за моего носа.

— Нет, — ответил я.

Над смотровым зеркальцем у него висела веточка сирени. Глядя на нее я почему-то вспомнил рассказ Риты о том, что она, встречаясь с другими мужчинами (до меня), никогда не позволяла им назначать свидания, то есть перехватывала у них инициативу и сама направляла ход событий.

Нет, я не верил в то, что она убьет отца, несмотря на то, что, прощаясь, она сказала:

— В следующее воскресенье меня позвала мама на дачу, обедать. Вот там я и выстрелю в моего высокопоставленного, ультра-номенклатурного папашу.

Вагон электрички был полон. Однако никто не стоял в проходе, все сидели. И я сразу уловил запах водочного перегара и человеческого пота, хотя верхние половинки окон были с одной стороны открыты. И было нудно. Многие из пассажиров, "подмосковников" конечно, возвращаясь из столицы домой посапывали, дремали и даже спали, не боясь проспять свою оставку. (Хриплый голос по радиотрансляционной сети

произносил название каждой остановки и предупреждал о следующей). Рядом со мной мужчина лет пятидесяти с красным от выпивки лицом храпел, положив нос и отвисшую слюнявую губу жене на грудь. Она же, обмахивая свое квадратное лицо куском "Вечерки", откинула голову назад и сидела широко расставив ноги, принимая храп мужа за должное. Спала и парочка напротив, нежно обнявшись. Клевал носом и старичек в военной фуражке без красной звезды (наверное, отставной подполковник). Только в углу электрички, справа, паренек лет восемнадцати перебирал струны гитары и тихо напевал что-то про любовь. А его слушали три девушки, медленно покачивая головами. Я обратил внимание на то, что на конце гитарного грифа еще болталась веточка сирени, но уже совсем увядшая и сильно потемневшая. И вслед за тем я увидел в проходе неподалеку от меня ветку белой сирени, кем-то растоптанную, вероятно на нее не раз ступили сапоги или башмаки или туфли мужчины или женщины. И ветка пустила "слезу", то есть отдала наружу все свои соки, образовав на полу вагона влажное пятно.

Электричка шла по металлическому мосту и оттого пол вибрировал и я почувствовал вибрацию в пятках ног и почему-то обрадовался этому странному ощущению. А в общем, меня тоже клонило в сон. Но одновременно в голове лениво и настойчиво повторялся один и тот же вопрос: "Зачем все это?". И этот вопрос переходил во что-то вибрирующее. И к этому примешивались и отвратительная мысль о том, что завтра в девять утра я должен быть в своем НИИ, на совещании, председательствовать на котором, конечно, будет коммунистический лис и Фуше, граспрующий Плечугин.

Нет, Рита меня недостаточно ожесточила.

И тут я еще подумал о том, что для проформы мне все же надо будет сказать Дине, что я был на футбольном матче, а я не знал, как он окончился. Пришлось спросить соседа слева, бело-брысого паренька. Тот охотно ответил:

Спартакowцы дали дрозда КГБ (команда "Динамо" считается командой КГБ и МВД). Выиграли со счетом 3:0.

И он весело рассмеялся.

А мне на это было наплевать...

Ю. Кротков

ЗАМОСТЬЕ

Из Поднесья выехали после трех часов дня, ехали медленно, с бесконечными остановками, иногда стояли на месте по два часа. В дороге не кормили, только давали воду, из вагонов не выпускали. Так продолжалось весь вечер и всю ночь. Мало кто мог спать, было тесно, в заколоченном вагоне стояла вонь от параши, все были голодны как волки и как волки злы. Разговоры прекратились, и если они начинались в каком-нибудь углу, то неизбежно превращались в злобное пререкание или просто в безобразную ругань. На дворе было уже совсем светло, когда поезд наконец стал, и охрана открыла двери и приказала всем выходить.

Длинная колонна по шесть человек в ряд потянулась по широким улицам города. Вышли на площадь, с правой стороны большое здание с высокой башней и широкими полукруглыми лестницами главного входа. Площадь была пуста, только у лестницы стояли две немецких машины с пулемётами, да наверху на верхней площадке лестницы порядочная группа немцев-офицеров. От переводчика узнали, что это городская ратуша, а город называется Замостье.

Повернули с главной улицы и подошли к барачному городку, обнесённому густым забором из колючей проволоки. Ворота были широко открыты и на площадке между бараками стоял целый ряд больших металлических баков с лёгким парком над ними, и у каждого бачка стоял немецкий солдат с черпаком. Колонна с хода

выстраивалась очередями к бачкам, и немцы стали выдавать каждому по большому черпаку густого и дразнящего запахом варева. Сзади всё больше и больше накапливалось людей, и толпа всё ближе и ближе подпирала к линии бачков, не смотря на крики охраны через несколько минут каждый бачок был окружен сплошным кольцом пленных с протянутыми к раздатчику котелками, консервными банками или даже просто пилотками и фуражками. Кто-то упал, кто-то закричал, раздатчики-немцы начали бить черпаками напивавшую со всех сторон толпу. Рездалась какая-то команда, которую никто не понимал, да и не слушал, люди опьянели от запаха пищи, от одного только предвкушения возможности утолить голод... раздались несколько выстрелов, толпа бросилась в разные стороны, немецкая охрана билла пленных чем попало... палками, прикладами, черпаками, стараясь восстановить порядок, и когда толпу отогнали и порядок был восстановлен, посреди площадки все бачки с едой были опрокинуты и всё содержимое разлито на грязном песке... Один из немецких солдат-раздатчиков был тоже свален с ног и попал в лужу разлитого варева, ругаясь и потрясая в воздухе черпаком он со злобой перекинул пинком ноги последний бачок, одиноко стоявший с краю... Несколько десятков бросились к лужам разлитой на земле пищи и стали сгребать её в свои котелки прямо с песком... немцы ударами отогнали их обратно.

Пленные стояли с края площадки плотной массой, окруженные охраной. Дула винтовок были направлены прямо на пленных. Так простояли минут с десятков. Потом немцы приказали всем построиться в ряды. Когда, наконец всё успокоилось, появилось несколько офицеров. Один с погонами обер-лейтенанта вышел перёд и через переводчика сказал:

— Я поражен полным отсутствием дисциплины и достоинства у вас! Офицеры даже умирая должны уметь себя держать соответственно своему положению! Мне стыдно за то, что вы носите это гордое имя "офицер"! Я хотел лишить вас еды на весь сегодняшний день, но мне доложили, что вы и вчера не получили питания. Поэтому я дал приказ сварить для вас суп опять, но вы его получите только в 12 часов. Вы сами виноваты в том, что произошло. Сейчас вы будете разведены по помещениям, и я предупреждаю вас, что всякое нарушение дисциплины в лагере

наказывается очень строго. — Он повернулся и в сопровождении своей свиты, быстрыми шагами ушёл.

Уже потом, один из работников лагерной конторы, бывший унтер-офицер польской армии, вспоминая этот случай, с оттенком гордости рассказал Шегову, что когда в 39-м году привели сюда после почти двухсуточного марша большую группу польских военнопленных и также встретили их рядом бачков супа, чтобы их накормить, те отказались есть, пока им не будет дана возможность почиститься и помыться после марша.

Только половину из прибывших сразу поместили в бараки основного лагеря, в котором уже было несколько тысяч ранее прибывших пленных. Вторую половину временно устроили в двух громадных конюшнях, находившихся в конце лагеря и отгороженных проволочным забором от основной территории лагеря. Шегов со всеми своими товарищами попали в конюшни.

Немцы мало занимались внутренней администрацией лагеря. Всё управление находилось в руках полиции, организованной из пленных. Начальником полиции был подполковник Гусев. Крупного роста, широкоплечий и видимо очень сильный мужчина с копной ярко-рыжих волос на голове. Ему было с виду лет сорок, был он хмурый, безулыбчиво мрачный, с неприятно пристальным взглядом зеленоватых, широко расставленных глаз. У него было три помощника: огромный как горилла галичанин Гордиенко, кавалерист капитан Стрелков, с чёрными лихо закрученными усами, и Юра Полевой, тонкий, удивительно красивый юноша, наглый, жестокий, с неожиданными капризами и явный садист. Эта тройка и вершила всем лагерем при помощи двух десятков отъявленных бандитов-полицейских.

Самым страшным местом в лагере был барак №5. Перед баракom всегда дежурили полицейские и никого не подпускали близко. Каждое утро из всех трёх комнат барака заключённые выносили парашаи. Вид у этих несчастных был ужасный, в лохмотьях, полуголые, с кровоподтёками на лицах и на теле, перепуганные, с глазами, в которых застыл ужас. Они с трудом тащили огромные чаны, наполненные вонючими испражнениями, погоняемые ударами палок или нагаек полицаев, опорожняли их в выгребную яму уборной, мыли эти чаны и бегом относили их в барак. Вся эта короткая операция происхо-

дила под непрерывным градом ударов полиции и потоком оскорблений и ругани. Казалось, что три-четыре полицейских, сопровождавших заключенных, соревновались между собой в том, как больнее ударить несчастных и как виртуознее выругать их... Это ежедневное зрелище даже на уже привыкших ко всему пленных производило удручающее впечатление. Большинство старалось не выходить в это время на двор, чтобы не видеть этого издевательства. В этот барак собирали тех, за кем охотилась полиция и добровольные её помощники. Полиция по положению и в согласии с приказом немецкого командования, добровольцы из любви к искусству и за котелок супа с "барского" стола. Охотились за комиссарами, политруками, работниками органов НКВД и СМЕРШ, и конечно в первую очередь за евреями, и лицами смешанных с евреями браков. Почти каждый день, а иногда и несколько раз в день можно было видеть, как из какого-нибудь барака выволакивали такого несчастного и избивая его по дороге, гнали в этот проклятый барак. Иногда двух или трёх таких обречённых привозили откуда-то со стороны автомобилем и тогда автомобиль подходил к самому бараку, и оттуда вытаскивали полуживого избитого человека и вталкивали в одну из трёх комнат.

Один раз во двор лагеря въехали два больших грузовика с брезентовыми будками и всё население 5-го барака куда-то увезли под сильной охраной эсэсовского отряда. Потом постепенно начали наполнять комнаты барака новыми жертвами.

Что там творилось, никто не знал точно, но по раздающимся оттуда воплям, крикам, визгу и стонам, в особенности по ночам, было совершенно ясно, что заключённые в этом бараке № 5 подвергаются истязаниям, побоям и пыткам...

Комендантом этого барака был... отец Георгий! Так его все называли... Человек лет 50-ти с очень благообразной наружностью, с небольшой чёрной с сильной проседью бородкой, спокойными тёмными глазами и с постоянной усмешкой на полных и ярких губах маленького, как-бы женского рта. Он всегда был одет в штатский костюм хорошего качества и иногда даже носил белую рубашку и галстук. Жил он вне лагеря, где-то в бараке немецкой охраны. Говорили, что он...священник, или ранее был таковым. Много лет пробыл в советских тюрьмах и в

концлагерях и каким-то образом попал к немцам в первые же дни войны. Приходил он под вечер, после отбоя и всю почти ночь проводил в бараке переходя из комнаты в комнату в сопровождении нескольких своих помощников.

Один из таких полицаев, помощников "отца Георгия", не выдержал и нервно заболел, а потом, когда пришёл в себя, сказал на дворе показывая на "отца Георгия": — Смотрите на него! Психопат! Садист! Убийца! Сумасшедший псих! — "Отец Георгий" благодушно улыбнулся и посмеиваясь прошёл мимо. Полиция увели куда-то и больше его никто не видал.

Внезапно исчез Кочергин. Несколько дней перед этим исчезновением, обычно милый, услужливый и спокойный Коля, как его все называли, стал нервным, молчаливым и нелюдимым. На все вопросы сожителей, что с ним, он отвечал резко и часто неожиданно грубо: "Идите вы все к такой-то матери, не приставайте, устал, голодный... нездоровится...". Это было так непохоже на него. Тарасов пытался поговорить с ним наедине, но тоже ничего не получилось, Кочергин обругал Тарасова и послал его ко всем чертям.

На проверке комендант барака доложил о отсутствии Кочергина полиции.

— Не сбежал он. Переведён в пятый барак, — с нехорошей усмешкой ответил полицейский. — Нам донесли, что у него мать жидовка и что он женат на жидовке... А вам, комендант Овчинников, самому надо было бы знать, кто у вас под командой прячется!

Через несколько дней Шегов увидел Колю Кочергина, когда из 5-го барака опять эсэсовцы увозили заключенных... лучше бы и не видеть! Долго перед глазами стоял образ несчастного Коли, избитого, с кровоточащим ртом, почти голого. Шегов поймал его взгляд и махнул ему рукой. Коля отнял руку с окровавленной тряпкой от рта, что-то крикнул и сразу же получил удар от стоящего рядом эсэсовца, следящего за погрузкой. Что крикнул он, Шегов не расслышал. Колю втолкнули в кузов грузовика...

— Кто-то из его "хороших" киевских знакомых доложил по начальству... вот бы узнать, кто этот любитель-доносчик... может доктор? Они даже "на ты" были между собой, — подумал Шегов, когда наполненный жертвами грузовик в сопровождении

конвоя выехал за ворота лагеря. — Прощай, Николай Васильевич. Прощай, мой коллега инженер, энтузиаст скоростного строительства ТЭЦ-а!

Значительно позже, когда пятый барак опустел, все жертвы были выловлены, Борисов привёл Шегова в одну из пустых комнат.

— Смотрите, Николай Петрович, видите?

Во многих местах на стенах, а в особенности на полу были тёмно-рыжие пятна.

— Здесь пролита кровь нечистых во имя очищения человечества от жидо-коммунизма... — с пафосом сказал Борисов. — А мне, Петрович, плакать хочется и даже не стыдно. Вот приду сюда на минутку, поплачу и злобой наливаюсь до краю...

— Идём отсюда, Борисов... Пусть Бог даст нам силу перенести всё это... Может, этот опыт и поможет нам когда-то в будущем больше понимать жизнь. Идём, дорогой... а плакать не стыдно... но и не помогут слёзы никому из них... чья кровь здесь на полу... Идём!

— Там Лубянка, Бутырки, Колыма, Соловки... здесь Поднесье, вот этот барак № 5, наверно только крошечный, видный нам кусочек того, что делается по всей Европе... Силен должен быть Бог, чтобы дать нам силы... перенести этот "опыт"!

Через застенок "отца Георгия" в Замостье прошло больше трёхсот человек!

В ближайшее воскресенье Шегов перебрался в комнату № 2 и сделался старшим одной из двух рабочих команд младших лейтенантов. Эту категорию советских офицеров немцы не признавали как офицеров, их приравнивали к старшим унтер-офицерам по немецкому табелю о рангах, поэтому их разрешалось использовать на работах.

В этот же вечер Шегов после отбоя рассказал пленным своей группы, что им предстоит делать в ближайшее время и что от них ожидает лагерная администрация или, проще говоря, полиция.

— Я, друзья мои, не знаю, что из всего этого получится, но очень рекомендую всем вам быть осторожными и там на работе... немцы могут здорово избить, если поймают на краже, и

здесь в лагере: если полиция узнает, что кто-либо из вас махлячит, припрятывает принесённое, то во-первых потеряете место в бригаде и... сами понимаете, какое удовольствие можете получить. Смешно сказать, но я советую каждому из вас на работе быть ловким и осторожным вором, а здесь за проволокой, честным членом воровской корпорации, в пределах этой корпорации.

Утром перед работой рабочей бригаде дали увеличенную порцию хлеба и бурачного повидла и сказали, что вечером для них будет приготовлен особый суп, так сказать, суп улучшенного качества. Всех распределили по маленьким группам по 3-4-5 человек в помощь немецкому персоналу на складе. Шегову сказали, что так как он старший группы, он сам работать не должен, и Шегов довольно свободно ходил по складу от группы к группе. Некоторые работали по погрузке тюков обмундирования на автомашины, другие занимались сортировкой и перекладкой одеял, большая группа была занята по разгрузке железнодорожных вагонов с катками колючей проволоки, и только одна бригада работала на складе пищевых продуктов. Из разных ящиков составлялись и упаковывались индивидуальные пакеты с маршевым рационом, но здесь было очень много немцев, следящих за каждым движением работающих. Украсть что-либо было невозможно... все были разочарованы.

Общее настроение немного улучшилось после того, как в 12 часов утра всем раздали по три галеты и по куску колбасы и принесли горячее кофе. Фельдфебель, руководящий раздачей, сказал, что с завтрашнего дня, здесь на складах рабочим будут давать горячую пищу.

Проходя по двору Шегов видел несколько поляков-рабочих, ремонтирующих мостовую, когда он опять проходил мимо этих рабочих, один из них сделал ему какой-то знак. Шегов приостановился и понял; в нескольких шагах от него на траве лежал маленький пакет. Проходя Шегов нагнулся и поднял пакет, там было завёрнуто два куска хлеба, кусок свиного сала и почти целая пачка польской махорки. Снова проходя по этой же дорожке, Шегов негромко сказал рабочим:

- Спасибо вам, большое спасибо, — и в ответ услышал:
- Ешьте на здоровье... да хранит вас Господь.

От неожиданности Шегов остановился и хотел что-то сказать, но сразу же тот же голос предупредил его:

— Не останавливайтесь, идите, нам строго запрещено говорить с вами.

В лагере действительно всем вернувшимся с работы дали "особый суп", это варево отличалось от обще-лагерного тем, что было гуще, в нём было меньше гнилой картошки и было заметно присутствие перловой крупы.

Сейчас же после отбоя в комнату пришёл Юрка Полевой с двумя "адъютантами". Полевой был одет в очень хороший и ловко сидящий на нём командирский костюм, руки у него были в перчатках, а на ногах у него были... сапоги Шегова. Сапоги были ярко начищены и выглядели как новые.

Полевой прошёлся по комнате среди расступившихся пленных и скомандовал:

— Становись под стенки, работяги, лицом ко мне!

Все спешно выполнили команду. При тусклом свете единственной лампочки в центре комнаты остался только Полевой и два полицая, пришедшие с ним.

— Всё, что принесли с собой, выкладывайте на пол у своих ног! Всё, понятно? И не жульничать, если найду что-нибудь спрятанное, кровью умою! Понятно? Ну, живо, давай выворачивай карманы, мать вашу...

Добыча была довольно жалкая. Десяток яблок, несколько сырых морковок, картошка, несколько маленьких консервных баночек с мясом и довольно много маленьких пакетиков печенья.

— Это всё? Плохо работали! Эй, старший, ты что ж плохо руководил? Так не годится... Почему так мало?

— Работали главным образом на разгрузке колючей проволоки, что её брать! И тут достаточно...

Полевой остановился перед Шеговым.

— Шутишь, старшина... смотри, братан, не перешути. Эй, пролетариат, проверьте ещё раз карманы... Всё на пол!

К тому, что уже лежало на полу, добавились ещё галеты, некоторые их не съели сразу, оставив на вечер. Шегов вынул свою махорку, полученную от рабочих, и тоже положил у своих ног.

— Так... ну предположим я верю. Эй, Кацо, собери... яблоки,

печенье и эти жестянки. Остальное, старший, поделишь поровну. — Полевой прошёлся по кругу. — Поровну, понятно? Вот тут 18 морковин, делить их будешь на всех 55 и поровну, справедливо, значит!

Не то случайно, а вернее нарочно Полевой наступил на несколько лежащих на полу галет и раскрошил их.

Что ты делаешь... Юрка... подавил галеты-то!... воскликнул один из пленных, — жалко ведь, это еда...

Полевой повернулся к пленному. Он стал перед ним, покачиваясь с носков на каблуки, и внимательно рассматривал его.

— Смерть не люблю такие разговорчики... — он размахнулся и сперва одной, а потом другой рукой дал пощёчины пленному. — Стой смирно! Я тебе не "Юрка", а господин старший полицейский Юрий Васильевич Полевой! Повтори! Вот так лучше! Запомни! — и Полевой ещё раз ударил пленного.

— Плохая дисциплина у тебя в комнате, старшина. — Полевой стал перед Шеговым и снова покачивался с носков на каблуки. — Плохая, говорю! Это что у тебя? Махорка гроденская? Организовал, значит... —

— Вот сейчас ударит... — думал Шегов смотря в глаза Полевого. — Что я сделаю, если ударит... О Господи... вот сейчас... и я дам сдачи... а потом? Вот сейчас...

Но Полевой не ударил.

— Крепкая махорка эта для тебя... смотри, какой ты худой, брось курить, вредно..... — и каблуком сапога Полевой растоптал махорку по полу.

Полевой ещё раз прошёлся по пустому пространству комнаты. Все молча следили за ним. Кацо, грузин-помощник Полевого собрал в мешок всё, что ему приказал Полевой собрать, и отошёл к дверям.

— Что ж приуныли, работяги? Сами виноваты, плохо сработали. Завтра постарайтесь оправдать доверие руководства... Что я могу принести господину Гусеву? А? Вот видите. А ты, — он снова остановился перед Шеговым и подошвой сапога растирал по полу махорку, — помни! Со мной не шути, старшой! — Он пристально посмотрел в глаза Шегову, какая-то искорка сумасшествия теплилась в этих тёмно-синих, больших и опущенных

длинными ресницами глазах. — Маньяк, параноик... — подумал Шегов, выдерживая взгляд Полевого.

— Вот так, значит! Завтра увидимся!

И Полевой в сопровождении своих "адъютантов", ушёл.

— Ох, как я боялся за вас, Николай Петрович... даже молиться стал, чтобы он вас не тронул, — подошёл Костик Суворов. — У вас был такой вид... Я боялся, что если он вас ударит, то вы навернёте ему в ответ...

— Могло бы случиться... очень могло бы... Ну что-ж, друзья, — обратился Шегов к пленным, он никогда не употреблял уже принятого обращения "господа". — Понятно всем? Завтра, вторая группа должна постараться удовлетворить требования "начальства".

— Да на кой... ладутить? Там рискуешь, что немцы поймают, а здесь всё полицаи заберут...

— Всё надо на месте съесть...

— Пусть сама полиция ходит ишачить, ишь ты на чужом... в рай хотят...

— Да нет у нас другого выхода, этот Полевой умеет кровь пускать!

— Набить бы им морды, да вышвырнуть из барака!

— А потом? Ишь ты, герой нашёлся, всех бы забили на смерть. Скольких уже на тот свет отправили... или в санчасть на шинелях отволокли.

— Бросьте, друзья... одна комната ничего сделать не может, и один барак тоже. Вот если бы весь лагерь сказал "довольно! Хватит издевательств!". То это могло бы помочь. А лагерь... да что говорить! Вон генералы и полковники тоже перед Гусевым навтыжку стоят... Они должны были бы начать такое дело и протестовать перед немецким командованием... Ложитесь спать, завтра вторая группа из 25-ти человек на работу должна итти. Отбой! — Шегов собрал с полу остатки махорки, покурил и лёг на своё место.

— Что это за люди в этой полиции? Откуда у них такая жестокая ненависть к своим же товарищам? Почему? Что-то звериное в них. Может, можно подвести какое-то психологическое основание под действия этого психопата-садиста "отца Георгия", сам на себе испытал и побои и пытки в НКВД... и теперь

свихнулся на возможности мести всем евреям и коммунистам, которые попадают в его руки... но эти, Полевой, Стрелков и остальные полицаи... за что они избивают, калечат и издеваются над простыми хлопцами, которые и так терпели гнёт советской власти... Чтобы доказать, что плен, это ад? Наказать за то, что они сдались в плен? Что же это, ответвление СМЕРШ-а? — долго не спал Шегов, внезапно зародившееся подозрение о какой-то возможной связи и преемственности между лагерной полицией и СМЕРШ-ем поразило его своей логичностью и правдоподобностью. — Неужели это возможно? Вот дьявольский заговор! А махорку жалко, дней бы на пять хватило... Вот сволочь!

День прошёл быстро, в бане получили чистое бельё и стиральное, вполне приличное обмундирование, потом весь вечер обменивались подгоняя по размеру. Стрелков всё время старался перевести разговор на политические темы и главным образом на отношение пленных к нацизму и Гитлеру. Было совершенно ясно, что у него было специальное задание прощупать пленных именно с этой стороны. Получалось у него это довольно плохо. Большинство отмалчивалось, а речи самого Стрелкова чрезвычайно смахивали на выступления партийных активистов в Советском Союзе с той разницей, что слова "компартия", "великий вождь и учитель товарищ Сталин" и "Советский Союз" он соответственно заменял на "национал-социализм", "великий освободитель Европы Гитлер" и "великая Германия", в остальном это было то же самое.

Уже было совсем темно, а Стрелков всё разглагольствовал, приставая ко всем по очереди. Он подсел к Шегову.

— Вот интересно, как твоё мнение, инженер, ты человек интеллигентный... Великий освободитель Гитлер строит новую Европу и нам выпало счастье принять участие в этой гигантской работе... правду я говорю?

— Конечно.

— С помощью доблестных немецких войск из нашей страны железной метлой мы выметем всех жидов и коммунистов, верно?

— Вне сомнения.

— А как вот ты, майор, думаешь, какой строй государствен-

ный должен быть у нас после уничтожения кремлёвской сволочи? А? Слушайте, господа, что нам скажет представитель интеллигенции!

Шегов не выдержал!

— Слушай Стрелков, катись ты со своей пропагандой... когда уничтожим "кремлёвскую сволочь", тогда и подумаем, хватит время тогда, а сейчас мы хотим жрать и спать... иди ты со своими басенками... — и Шегов, завернувшись до самых глаз в шинель, лёг у стенки. — Отцепись, капитан.

— Не хочешь высказываться? Ладно, потом сам расскажешь... другим, когда попросят умеючи... — в голосе у Стрелкова была явная угроза.

Шегов скоро уснул.

Утром, после проверки, которую делал сам Скипенко с немецким унтером и после раздачи утреннего пайка, к Шегову подошёл Стрелков.

— Иди, тебя комендант вызывает, давай... сейчас же, пошли, друг...

Доедая на ходу кусок хлеба с бурачным повидлом и досадуя на неурочный вызов, Шегов пошёл вслед за Стрелковым. Вошли в комендантскую комнату. На койке у стенки сидел Скипенко, у окошка стоял громадный Гордиенко и ещё один полицейский, на табуретке у стола сидел Юрка Полевой.

— Стань здесь, — сказал Стрелков, толкнув Шегова на середину комнаты. Вся обстановка и вид присутствующих, смотревших молча на него, очень не понравились Шегову, что-то явно угрожающее было во всём этом. Шегов оглянулся. Незнакомый полицейский подошёл к двери, закрыл её и опёрся на дверь спиной.

— Вот этот, супчик! — сказал Стрелков обращаясь к Скипенко.

— Я знаю его. — Скипенко откинулся к стене и закурил. Все молчали.

— Теперь отвечай и не брешь! — Стрелков подошёл вплотную к Шегову.

— Кто у тебя в роду был жидом?

— Я никого не знаю.

— Ты говорил, что немцы войну проиграют, а советчики выиграют?

— Не помню... вряд ли я мог это сказать, слишком рано для этого.

— Не выкручивайся, мать твою.... Ты говорил, что жидов напрасно мучат, что это варварство?

— Это я говорил... — Шегов посмотрел на Скипенко, тот сидел на кровати, оперевшись локтями рук на колени и положив голову на ладони, и смотрел на пол. — Да, это я мог сказать.

— Ага! Значит ты за жидов! Полужид Кочергин, твой приятель?

— Приятель не приятель, но знакомый был.

— Ты, сволочь необрезанная... уговаривал младших лейтенантов избить представителей лагерной полиции? Вот его, Полевого? Предлагал итти к генералам и требовать официальной жалобы на полицию? — Стрелков уже не ожидал ответов Шегова, а стоял перед ним и сыпал подобными вопросами. — Ты уговаривал рабочих на складах всё съедать на месте и не приносить ничего в лагерь? Тебе не по духу национал-социализм? Ты за Советы? Ты...

— Кончай базар, Стрелков — не поднимая головы глухо сказал Скипенко.

— Иди забирай своё барахло и вон из барака, и чтобы ты мне в лагере на глаза не попадался...

Это что ж? Официально? Немецкая канцелярия санкционировала, что вы, господин Скипенко, вычеркнули меня из списка? — обратился Шегов к Скипенко. Тот поднял голову и как бы с любопытством посмотрел на Шегова. Полевой и Гордиенко засмеялись.

— Ах ты, падаль... вот тебе "санкция" — и Стрелков снизу вверх ладонью сильно ударил Шегова по лицу.

Шегов покачнулся, но устоял на ногах и не соображая, что он делает, схватил левой рукой Стрелкова за горло, а правой коротким ударом в подбородок сбил его с ног... и в тот же момент со страшной силой Гордиенко своей дубинкой ударил Шегова по спине. Падая на пол Шегов увидел сидящего на полу Стрелкова, вставшего с кровати Скипенко и свои сапоги на ногах Юрки Полевого. Град ударов посыпался на плечи и голову

Шегова, кто-то приподнял его за ворот гимнастёрки и чем-то тяжёлым ударил по голове... Шегов потерял сознание.

Шегов очнулся. Было совсем темно, болело всё тело, а в особенности голова. Во рту был неприятный солёный и какой-то гнилостный вкус. Первая мысль была: "Куда они меня положили? Почему так тихо и темно?". Лежал он на чём-то мягком и противно пахнущем, он хотел повернуться, приподнялся и снова упал...

Второй раз он пришёл в себя... продолжало всё болеть, но головная боль притупилась. Он с трудом открыл глаза, опухшие веки оставляли только узкие щёлочки и было плохо видно. С правой стороны была холодная стенка, с левой кто-то спал. Шегов хотел сесть, но не смог... не хватило силы поднять собственное тело... он только смог приподнять голову и оглянуться. Очевидно, на дворе светало, через окно пробивался серый свет. Шегов лежал на нарах в бараке у стены, влево от него виднелся целый ряд спящих.

— Как я сюда попал? Какой это барак? — Он снова попытался сесть и снова не смог. Лёг на спину и посмотрел на потолок. Потолок оказался неожиданно близко. — Значит на верхнем ярусе... на нарах... какой же барак это?

Сосед проснулся и, приподнявшись, близко взглянул в лицо Шегова, это был Борисов. Он положил руку на лоб Шегову, и снова внимательно посмотрел в его глаза. Шегов повернул голову.

— Николай Петрович, слава Богу... очнулись!

— Какой это барак? — почему-то казалось очень важным узнать, в каком он находится бараке. — Куда меня притащили?

— Не крутитесь. Это 3-й, наша компания из "инженерной" комнаты почти вся здесь... Потом всё расскажем, а пока вот выпейте это... доктор сказал, чтобы вы это выпили всё, когда придёте в себя.

— Слушайте, как я оказался здесь? Я ничего не помню, последнее, это было там у Скипенко... бить меня начали...

— Вы... действительно хотите знать все подробности? Я потом, когда окрепнете, расскажу...

— Бросьте дурака валять! Жив ведь я... и кости целы, остальное чепуха, говорите всё как было... я не нервный, если

пережил визит к господину Скипенко, то и подробности этого визита могу послушать.

— Ладно... вот только принесу вам этой замазки ещё.

Борисов слез с нар, на его место сел Тарасов, потом вернулся Борисов, Шегов снова поел. На нары влез моложавый, восточного типа человек.

— Я доктор Шигариан, как дела, майор? Лучше? — он осторожно осмотрел Шегова, пощупал пульс, измерил температуру и слезая с нар сказал: — Я думаю, что всё в порядке. Это лекарство принимайте ещё один день... я приду послезавтра... в санчасть сами не ходите... я приду сюда. Крепкий у вас организм, дорогой мой майор... очень крепкий!

— Ну. Рассказывайте, Борисов. И дайте зеркало, есть у когонибудь?

— Да на что смотреть? Не к чему...

— Что за глупости... вы все думаете, что я нервная дамочка, что ли? Перестаньте реверансы делать, покажите мне мою физио и расскажите всё по порядку. Да... изукрасили... слава Богу что нос не поломали, а вот пары зубов я не досчитываюсь... — Шегов внимательно рассматривал своё лицо. Правая сторона была больше запухшей, лиловато-зелёные синяки и кровоподтёки... верхняя губа была рассечена и безобразно вспухла. — Ну-ну! Поработали... Говорите друзья... я страдаю законным любопытством...

— Хорошо... по порядку, значит... скажите если... противно будет... Ну так вот! Вы ушли во вторник, а в среду утром...

— Минутку... а какой сегодня день?

— Пятница... Вот значит, — продолжал Борисов, — в среду утром прибежал Ковальчук, что с вами попал в списки, и сказал, что вас полицаи избили и отташили в санчасть, "кажется, забили насмерть", добавил он. Мы в санчасть. Ищенко сказал, что вас ему не приносили, "Если сюда его не доставили, значит он мёртвый и в мертвецкой, а это вне моей юрисдикции", и больше не захотел с нами разговаривать. Вернулись мы в барак... панихиду по вас справили... очень грустно было... решили, что вы были хороший парень... даже кое-кто слезу пустил... пол дня места себе не находили, всё о вас, Петрович, разговаривали... А

потом вот Завялов предложил, пойти попрощаться с телом... по христианскому обычаю... Рассказывать дальше?

— Конечно... это получается очень интересно... вроде воскресения... Лазаря... говорите.

— Хорошо. Пошли мы, я, Завялов, Костик, Гарасов, Овчинников и ещё несколько в мертвецкую. Сторожа не пускают. Говорят, что "мертвяк, есть мертвяк и смотреть на него нечего, да и полиция запрещает пускать посторонних".

Поторговались и за две пачки гроденской махорки пропустили трех нас... Пошли вот он — Гарасов, Завялов и я... Восемь трупов там было, а девятый сверху, вы... и все аккуратно брезентом прикрыты... Кончайте кто-нибудь другой... — Борисов соскочил с нар и ушёл из комнаты.

— Разволновался... он больше всех переживал. Ладно, я закончу рассказ. — Гарасов передвинулся ближе к Шегову. — Сняли мы брезент, Борисов нагнулся к вам, мы смотрим... Мёртвый! Голова закинута, всё лицо в синяках... Борисов снял фуражку, перекрестился и поцеловал вас в лоб, да как закричит: "Живой он! Тёплый!", пульс пощупали, бьётся, слабый, но есть. Подняли мы вас и на двор вынесли. Позвали этих идиотов сторожей, они и сами испугались... "Действительно, живой ещё... не помер!". Обругали мы их, одному даже навернули по морде. Позвали Ищенко. Посмотрел и велел нести вас в санчасть. Санитары обмыли кровь. Доктор влил лекарство в рот, смазал синяки, остановил кровотечение, где было... "Может и жив будет" — говорит. "Но держать его здесь не могу... пусть до темноты побудет здесь, а потом забирайте его в барак, там отлежится, если суждено ему жить. Я пришлю доктора Шигариана завтра утром посмотреть его". Упросили полковника Бикаревича, коменданта барака, и старшего комнаты, и вот устроили здесь на верхотуре... Доктор Шигариан... очень внимательно отнёсся... хотя первый день не надеялся, что выживете. Вот, собственно, и вся история, Бикаревич зачислил вас на паёк... вчера заходил Гордиенко... "Живый, той майор?" спрашивает. "Живой", отвечаем. "Ну хай живе, здоровый хлопёц, живучий!". Так что всё легально. Шегов смотрел в потолок. — Значит когда я первый раз минуту очнулся, я был там... в мертвецкой, лежал на куче трупов...

— Что я могу сказать... всё, что бы я ни сказал, будет слишком мало... Спасибо... без вас, друзья, я был бы уже мкочан...

Через несколько дней Шегов с ещё опухшим и раскрашенным во все цвета радуги лицом от синяков и с периодическими болями то в том, то в другом месте тела, уже самостоятельно слезал с нар и мог передвигаться по лагерю. Раз у уборной он лицом к лицу встретился с Гордиенко, тот усмехнулся и глядя на Шегова пустыми серыми глазами, сказал:

Дывы! Вычухався... мабуть кисткы у тебе хлопче с чиниза... тикай, а то ще раз спробую як воны гудуть.

Шегов не заставил просить себя дважды и немедленно использовал совет: "Тикай". Теперь он стал ходить по лагерю с "олидкой", стараясь избегать встречи с Гордиенко, Полевым и Стрелковым.

В лагере делалось всё хуже и хуже, смертность увеличилась, каждый день по утрам большая телега, запряженная парой лошадей и накрытая брезентом, на которой вывозили умерших за прошедшие сутки пленных, становилась полнее и тяжелее. Телегу сопровождала группа "могильщиков" и несколько немецких солдат. Эта похоронная процессия, первое время привлекала внимание... теперь никто её не замечал... проезжала она от мертвецкой через весь двор, так же как и бочки "золотовозов" после очистки выгребных ям уборной... отбросы...

Появились случаи дизентерии и тифа. Был строгий приказ всякого заболевшего немедленно отводить в санчасть на осмотр, и если больной имел малейшие симптомы этих двух болезней, то немедленно отправляли в другой лагерь "Норд", тут же неподалеку... оттуда никто не возвращался обратно... "Отправлен в Норд" было тождественно "отвезён на кладбище"...

Всё время в плену Шегов как-то мало вспоминал свою жизнь до войны, всё, что было когда-то, сравнительно так недавно, как-то смилось, потеряю краски действительности, казалось сном, чем-то не реальным, забытым, туманным. Редко даже вспоминал жену... вся жизнь теперь сосредоточилась на мелких требованиях дня или даже минуты. Будущего не было, прошлое тоже как бы исчезло, и осталось вот только "сейчас"... мучитель-

ный и постоянный голод, слабость тела, мечта о куске хлеба, биланда в 12 часов и надежда, что где-то, как-то, что-то удастся перехватить и проглотить... и вдруг... васильки! И внезапно остро и ярко вспомнилась дача в Злодиевке, около Триполья, высокое жито и васильки. Олеся рвала эти синие пушистые звёздочки, плела из них венки и гирлянды, сама одела венок и сплела венок для него. Они бегали по меже между двумя сплошными высокими стенками почти спелого жита, ловили друг друга... Голубое высокое небо, желтое волнующееся под лёгким ветерком жито и васильки... васильки всюду, и на меже и в гуще высоких стеблей и на голове у Олеси, радостно и жарко отвечающей на его ласки и так же радостно отдающей ему своё молодое прекрасное тело... Ведь было всё это... и счастье и радость жизни и наслаждение... Было, было... а сейчас... вот только что осталось, вот этот пучок засохших, потерявших свою окраску серовато-голубых васильков... и это всё!

Плохо соображая что он делает, подчиняясь какому-то смутному чувству он отобрал наиболее мягкую и шелковистую соломку и сплёл пару маленьких мягких и довольно изящных лапотошек, украсив их сухими васильками...

— Для Олеси... вот бы смеялась... — и так ярко выплыло её лицо озарённое и солнцем и смехом, и так вдруг стало жалко самого себя, голодного, обессиленного, с заросшим седоватой бородой худым, костлявым лицом... Шегов лёг на кучу соломы, уткнулся лицом в сплетённые для Олеси лапотошки и... заплакал. — Неужели это конец? Неужели так вот и погибну здесь, в этой зловонной яме плена? Так, как Борис Овчинников, так, как эти сотни и сотни умерших здесь или отправленных в Норд... и где взять силы переживать эти издевательства и над телом и над душой... — Он, наверно, заснул на соломе, т. к. когда его начал тормошить Завялов, то уже были сумерки.

— Вы что, Николай Петрович, заснули? Уже все уходят, работа кончилась, — сказал он. — Вас искал унтер Вундерлих... Кому это вы сплели такие лапти? Покажите, покажите... Ей Богу, просто прелесть...

— Эй, Шегофф, на ранку нову солому маем, — Вундерлих, унтер ведающий производством лаптей, был познанский немец и говорил на густой смеси русского, украинского, польского и

словенского языков. — Здраво ушим, вельме велико бутов подшебно, новых вязнив подшебно десёнтка, — и увидав в руках у Завялова лапотки сплетённые Шеговым, взял их, — Бардзо добже... зер шён... тебя купую фюр моей панянке... булку хлепа ранком пшинесем...

— Нет! Отдай их... отдай... вдруг истерическим голосом завопил Шегов. — Отдай назад... не дам их никому... к чёрту хлеб... — и Шегов, вырвав из рук унтера лапти, подскочив к тяжелым большим ножницам, прикованным цепкой к столбу, которые употреблялись для резки соломенных жгутов, искромсал своё творение на куски.

И Завялов и унтер Вундерлих с недоумением смотрели на Шегова.

— Цо-то тоби? Глува болит? Мешигане копф...

— Иди ты... не на продажу... и оставьте меня в покое... О ... — как с т зубной боли замотал головой Шегов, — Пожалуйста... дайте мне покой...

Завялов и Вундерлих переглянулись и вышли из комнаты. Шегов посидел в почти уже полной тьме, успокоился немного и пошёл в камеру. Завялов только издали посмотрел на Шегова ничего не спрашивая и ничего не говоря.

Вернулась бригада картофельников. Их как всегда встретили радостно и шумно. У каждого "аристократа-картофельника" была целая группа прихлебателей и прислужников, готовых делать всё, что прикажет владелец целого противогаса картошки, папирос и может, ещё чего-нибудь... Шматко наслаждался своим положением. Он был сыт, за несколько дней он заметно окреп, был окружен вниманием и лестью. К каждому его слову прислушивались, каждой его шутке смеялись, все смотрели на него с надеждой на подачку. Его, видимо, раздражало то, что ни Шегов, ни Завялов не заигрывали с ним, а наоборот, явно не одобряли его поведения, они ничего не просили у него, а он подчёркнуто обходил их, когда ему в голову приходило показать свою щедрость или доброту.

Так и сейчас, Шматко лежал на нарах, один из его подхалимов снял с него обувь и тёплой водой, нагретой в печке, мыл ему ноги. Шматко был слегка пьян от еды, он посмеивался и рассказывал какой-то случай из своей жизни, о том, как он ноче-

вал в хате у одного белоруса и как к нему пришла хозяйка и как они во время сна самого хозяина на печи, тут-же в хате занимались любовным спортом, все смеялись, а Шматко всё больше и больше углублялся в детали...

— Как задрал я рубашку... батюшки мои... груди как два арбуза... а там, в этом самом месте... целый лес дремучий... Эй, майор, — прервал он сам себя. — Эй, Шегов, сходи в 5-ю комнату и возьми у Ковальчука пол противогаса картошки, он мне должен. Пяток возмёшь себе за работу.

Шегов был и так в нервном состоянии и эта наглая выходка Шматко окончательно взорвала его.

— Слушайте вы... бывший лейтенант, а теперь грязная нажавшаяся свинья! Я вам не "эй майор" и не "эй Шегов", а "господин майор Шегов", понятно? И посылать за картошкой можете своих холуёв... От вас даже если умирать от голода буду не приму ничего. Это вам ясно?

— Тю... да я ведь по-хорошему, по доброте, чего это вы, Николай Петрович... — Шматко оттолкнул пленного, мывшего ему ноги, и сел на нарах.

— Меня это мало интересует, по-хорошему или плохому, если это исходит от такого животного как вы... научитесь думать головой, а не брюхом.

После этого инцидента Шегов вышел из барака.

Но для Вундерлиха лапотки всё же пришлось сплести. На следующий день унтер прицепился к Шегову как банный лист и не отходил от него, пока тот, наконец, ни пообещал сплести ему пару.

Унтер получил пару лапоток, а Шегов большую булку свежого "вольного" пшеничного хлеба... Он дал по куску Завялову, Костику и Тарасову. Осталось больше половины, фунта два. Сперва Шегов хотел разделить его на пару дней, но... съел всё. Ходил по лагерю и отщипывал по кусочку и не мог остановиться, пока не кончил. Но результат этого внезапного наполнения изголодавшегося желудка был очень плачевный... Среди ночи Шегов сорвался с нар и... не добежал до уборной...

Потом стирая своё бельё холодной водой, покачивал головой и повторял про себя: — Тоже свинья... тоже животное... тоже брюхом думаю... — Руки заоченели до ломоты, Шегов

разложил на колоде своё бельё и сидел, понуро закутавшись в шинель.

— Ты что, друг? Чего тут сидишь? Марш в барак, — подошёл дежурный полицейский. — Нет тебе другого времени стиркой заниматься? Забирай своё барахло и мотай, — полицейский несильно хлестнул по плечам Шегова нагайкой.

Шегов схватил за конец нагайку и вырвал её из рук полицейского, тот отскочил в сторону, а Шегов подняв нагайку сделал пару шагов к полицейскому и остановился. Вид у него был страшный... полуголый, в распахнутой шинели, всклокоченная борода и растрёпанные волосы, искривлённый рот и оскаленные зубы. Он хрипло и грязно ругался...

— Ты, зверюка поганая... мать... задушу тебя, б полицейская... думаешь испугался... молись Богу... конец тебе пришёл... сволочь, ублюдок, мать твою... гад, б..., стерва, кровопиец...

Полицейский как загипнотизированный отступал, а Шегов двигался за ним. Наконец полицейский упёрся спиной в стенку уборной. Они были только вдвоём, луна ярким светом освещала эту странную картину, перепуганного в тёплом ватнике, небольшого ростом полицейского и полуголого разъярённого, длинного и костлявого Шегова.

— Ладно... ты того... успокойся друг... я ведь для порядка, только... сам понимаешь... иди дружок в барак... брось, не психуй... успокойся...

Шегов пришёл в себя, он отбросил далеко в сторону нагайку, забрал своё мокрое бельё и медленно пошёл к бараку не оглядываясь на полицая. Шегов вдруг начал смеяться, всё сильнее и безудержнее... смех перешёл в плачь, началась настоящая истерика. Шегов глотал снег, смеялся, плакал, опять захлёбывался смехом, опять набирал в пригоршни снег, тёр себе лицо, закидывал в рот, плевался и опять начинал плакать... прячась в тёмные углы от проходящих в уборную пленных. Только через полчаса Шегов успокоился настолько, что мог вернуться в комнату и лечь на своё место на нарах.

Целый день потом Шегов мучился и физически и морально. Всё было неприятно, и неумение удержать себя от обжорства, и глупое поведение в случае с лаптями, невыдержанность с Шматко... — Совсем как Юрка Полевой... "господин майор

Шегов” звучит так же как ”господин старший полицейский Юрий Васильевич Полевой”. Для полной тождественности надо было ещё и по физиономии ударить, становлюсь истериком... таким-же полудиотом, как и все вокруг!

Только к вечеру к нему подошёл Завялов.

— Ну как, Николай Петрович? Отошли? Успокоились? Я боялся подойти к вам, очень уж вы были в нервном состоянии.

— Пожалуй... так как-то всё сразу... сорвался. Что нового, я видел, что вчера вечером Бочаров что-то рассказывал вам и Гарасову.

— Америка объявила войну и Германии и Италии... Вот, как в 14-м году Франция, Англия, Россия и Америка против старого врага Германии... Америка тоже воюет с Японией... Оказывается, Япония ещё в начале декабря напала на американскую военно-морскую базу на Гавайских островах и потопила чуть-ли не весь флот.

— Боюсь предсказывать, но думаю, что это будет второй разгром Германии. Не сможет удержаться Гитлер против такой силы... ведь вся колоссальная промышленная база Америки вне досягаемости для немецкой авиации... Любопытно... очень любопытно увидеть конец этой войны, если доживём...

— Немцы смеются, говорят, что пока Америка раскачается, они кончат с Россией и Англией... Да и Америка сейчас тоже имеет два фронта... а что собственно вас вывело из равновесия, простите за любопытство?

— Воспоминания о том, что и мы когда-то были людьми... Я опять собрал себя в один кусок... Забудем это. А ведь сегодня 1-е января 1942 года! С новым годом, Николай Григорьевич!

— С новым годом и вас, Николай Петрович!

Первая неделя 42 года началась очень неприятно. Утром 3-го Шегова послали на работу на рытьё общих могил... На эту работу назначали в немецкой канцелярии, там вёлся учёт и существовала какая-то очерёдность. Могила, или просто огромная яма метров тридцать в длину и метров пять в ширину была уже четвёртая по счёту... три таких ямы были уже наполнены трупами и засыпаны. Большая группа пленных, три лагерных полиция и десяток немецких солдат, обошли лагерь Норд и

сразу вышли к месту работы. Проходя мимо общих могил, многие начали креститься, перекрестился и Шегов.

— Вот там где-то Борисов и Овчинников лежат... и я был бы там, если-бы не Борисов, — думал Шегов, глядя на три длинных насыпи, на последней ещё почти не было снега. — Недавно засыпали, вчера наверно...

Яму копали глубокую, почти в два человеческих роста. Яма была ещё не готова, но в одном конце уже были сложены трупы и временно закрыты большим брезентом. Немецкие солдаты стояли в отдалении и не вмешивались в работу, всем руководил молодой полицейский с битым оспой лицом и злыми, узкими монгольского прореза глазами, звали его Бирюгин. Этот тип принадлежал к тем людям, которые родились злыми и жили всю свою жизнь в какой-то патологической ненависти ко всем и ко всему. Он всё время ругался, ругал и пленных и своих коллег полицейских и немцев и погоду и всё, что видел. Он был вооружен т.н. "бычим х..." и применял своё оружие непрерывно, сыпля удары по спинам всех, кто оказывался в пределах досягаемости. Его оружие было, очевидно, изобретением полиции, это был половой орган быка, специально высушенный и превращённый в длинную, гибкую и очень прочную плётку. Удар такой плети был очень болезненный и сильный и оставлял на теле длинные кровоподтёки. Главной мишенью сегодняшних издевательств Бирюгин избрал маленького щупленького караима Шапели. По каким-то, по всей вероятности политическим причинам, немцы не приравнивали караимов к евреям и не преследуя их сами запретили и местной лагерной полиции третируют их как евреев.

Но Бирюгину нужно было иметь объект для издевательств! Люди были слабы и на самом трудном участке работы, в самом низу ямы, их меняли каждые десять-пятнадцать минут, но каждый раз, когда происходила эта смена, Бирюгин своей плёткой загонял Шапели снова на дно ямы.

— Ты там и подохнешь, мать твою... Не понимаю, почему немцы панькаются с вами... всё равно жида, обрезанцы, иди вниз, сука жидовская... не выпущу тебя наверх... вон там под брезент залазь, там твоё место.

Шапели пытался протестовать и пробовал вылезти наверх,

но каждый раз получал несколько ударов и его сталкивали вниз, и каждый, кто поднимал голос в защиту Шапели, в том числе и Шегов, получали свою долю ударов от полицейских.

И вдруг, во время очередной смены нижней группы и очередного сталкивания Шапели вниз, сзади к Бирюгину подошёл немецкий солдат из конвоя и сильным ударом в спину толкнул его в яму. Разъярённый Бирюгин вскочил на ноги и бросился к скату... немец опустил винтовку с штыком. Бирюгин замер на месте. Немец с усмешкой забрал лопату у Шапели и бросил её Бирюгину и коротко приказал: — Работáй, ферштеен? Работáй!

И когда Бирюгин начал что-то кричать, немец спустился в котлован и тихонько ткнул штыком Бирюгина в грудь. — Работáй! — немец уже не улыбался... Весь остаток дня ко всеобщему удовольствию Бирюгин проработал на дне ямы под пристальным наблюдением, и каждый раз, когда он ослаблял темп работы, немец коротко бросал: — Работáй, полицай, работáй!

Особенно бурно проявлять восторг от происшедшего никто не рисковал, опасаясь мести оскорблённого Бирюгина по возвращении в лагерь, но всеобщее молчание и насмешливые взгляды, наверно, ещё более были мучительны, чем открытые издевательства. Бирюгин не переставая ругался, грозился и клялся, что он мол это дело так не оставит, что он доложит обер-лейтенанту и т.д... всё это только ещё более смешило пленных... а Бирюгин усердно махал лопатой под окрики: "Работáй, работáй!"

— Вот кому свечку во здравие засветить надо... жаль, что мало таких хороших ребят... ну получил Бирюгин... может осторожней будет, — сказал какой-то пленный, идущий рядом с Шеговым, когда все возвращались в лагерь. — Дай ему Бог счастья и сохрани ему жизнь...

Несколько дней в лагере только и говорили о том, как немец заставил работать полицая, но Бирюгин всё же отомстил.

На следующий день была оттепель, капало с крыш, весь лагерь был покрыт сырым промозглым туманом. Приехали две подводы с большими бочками и "золотари" начали вычерпывать выгребную яму уборной. Как-то получилось так, что одна из лошадей оступилась и полетела в открытую яму. Сперва она повисла, держась передними ногами за раму, но потом постромки порвались и лошадь упала на дно, погрузившись по самый круп в

зловонную жижу. Крестьянин-поляк заметался, не зная что предпринять, чтобы вытащить лошадь, прибежали немцы, все бегали вокруг, кричали, давали советы и суетились без толку. Руководство "спасательными работами" взял на себя Бирюгин. Он принёс верёвки и приказал нескольким пленным спуститься в яму и обвязать верёвками лошадь. Как это случилось, неизвестно, но среди тех, кого Бирюгин загнал в выгребную яму, был и караим Шапели... Потом, когда лошадь вытащили, Бирюгин из пожарного крана холодной водой "мыл" полдесятка пленных. Их одежда насквозь пропиталась вонючей жижей в яме. Ему, видимо, доставляло большое удовольствие обливать их ледяной водой и сбивать с ног сильной струёй, и чаще всего он направлял брандсбой на несчастного Шапели... Долго отмывались в бане несчастные, которые по приказу Бирюгина должны были погрузиться по шею в содержимое выгребной ямы. Немец из комендатуры приказал выдать всем чистое бельё и обмундирование... Сжалился...

В день 7-го января, немецкая комендатура почему-то решила отметить православное Рождество. Весь день был полон приятных неожиданностей: и подъем сделали на час позже, и к завтраку дали горячую, не подмороженную картошку, и по лишней пайке хлеба выдали, и целый день никого не трогали. Не было ни проверок, ни построений, даже полиция не свирепствовала как обычно, её в этот день почти и не видно было в лагере. Обед превзошёл все ожидания... настоящий густой гороховый суп, даже со вполне съедобным мясом и опять хорошая варёная картошка!

Все ходили по лагерю какие-то растерянные, подобрешные, размягчённые... Вечером снова сюрприз: сверх нормального скудного пайка, выдали по три чёрствых белых галеты, по порции повидла и по большому яблоку и... что было совершенно невероятно, по два ведра брикет на каждую печку, дополнительно к норме!

Стемнело, в комнате разожгли печку, пленные сидели на нарах свесивши ноги, другие сидели на скамьях или просто на полу перед жарко пылающей печкой. Было тепло, все были слегка опьянены непривычным чувством сытости, все были довольны и благодущны... Рождество! Всплывали забытые картины о доме, о семье, о Святках, там дома... когда-то...

Гарасов сидел рядом с Шеговым на "верхотуре" и рассказывал:

— Родители мои очень в этом были консервативны... не смотря ни на что, они всегда устраивали полное Рождество... и с кутьей, и узваром, и ёлкой... В особенности, мать свято блюла все обычаи и традиции... и дети мои тоже привыкли к этому, очень семейному и даже как бы секретному празднику... во всяком случае по молчаливому сговору какому-то, никогда и никому об этом они не рассказывали...

Кто-то вполголоса начал петь, присоединилось ещё несколько голосов, но пели нестройно, обрывая начатое и переходя на другую песню.

— Эй! бросьте нудить! Давайте споём по-настоящему, сказал капитан Афанасьев. — Ведь Рождество. Эй... Суслов, заводи что-нибудь хорошее! — Суслов охотно согласился. Он был обладатель прекрасного тенора и до войны был солистом в известном киевском хоровом ансамбле "Думка".

— Дело! Вечер подходящий. Слушать мою команду! Голько не портить, кто не умеет петь, молчи и слушай! Лёнька, Женя, Гаврилов... и вы, Константин Григорьевич... и вы, капитан... Майор Шегов, слазьте с чердака, садитесь вот здесь на лавку... а вы здесь, а ты Женя, с краю... Золотницкий, вы и вот он на басовую партию... вот так... споём значит...

... Славное море, священный Байкал...

К "специалистам" начали присоединяться любители, песня ширилась, крепла, заполняла комнату. В дверях в коридор столпились пленные из других комнат. Песня за песней, едва кончалась одна, начинали другую. Коля был в ударе, его голос звучал исключительно хорошо и полно, да и другие не отставали.

— Откройте окно, жарко, — попросил Суслов.

Песня вырвалась через окошко. Барак был крайний и окна выходили прямо на улицу, отделённые от неё только двумя рядами колючей проволоки и узкой полоской земли.

На улице остановился вахтёр, к нему подошёл другой. На противоположной стороне улицы стали останавливаться прохожие. Стояли и слушали. Открыли и второе окно. На дворе было не холодно, шёл мягкий пушистый снежок. Один из солдат, как-то лениво, для проформы крикнул, чтобы люди не останавли-

вались, но там, на другой стороне улицы, почувствовали, что этот приказ можно не выполнять и все остались стоять и слушать. Подошло ещё несколько солдат, а на тротуаре уже собралась порядочная толпа местных жителей.

Рождественских песнопений никто не знал или их забыли. Спели несколько колядок, а потом снова перешли на народные, всем хорошо известные и всеми любимые песни:

...Реве та стогне Днипр широкий... Эх, дороги... Ермак...

Шегов пел закрыв глаза и вспоминал свои студенческие годы, когда студенты, почти каждый день по вечерам собирались на Владимирской горке и часто пели до утренней зари. У него был мягкий, глубокий баритон и теперь он как и все полностью отдался чувству музыки...

...Ой там при берези червона калына... Тай не дала, тому козакови, ни счастья ни доли...

Коля пел соло, дуэт с Гавриловым, очень хорошим басом, опять пел весь хор, опять соло... У певцов была публика, слушатели и это ещё больше воодушевляло исполнителей. И солисты и весь хор, наверно ещё никогда не пели так хорошо, так стройно. И после каждой песни с улицы раздавались аплодисменты. Дружно хлопали и жители города с противоположного тротуара, и немецкие солдаты, стоящие гурьбой у проволоки.

Что-то объединило всех, и пленных в бараке и солдат охраны у проволочного забора, обычно грубых и жестоких, и поляков, местных жителей, обычно очень осторожных и отчуждённых... Музыка песен... или эта Рождественская ночь... Снова песня, снова аплодисменты... И вдруг Женя Афанасьев запел: "Рождество Твое Христе Боже наш...". Запел робко и неуверенно, Суслов подхватил, присоединился Шегов, потом другие, кто не знал слов, пели без слов, хор разросся и окреп.

"Возсия миру свет разума..." и последние слова тропаря:

"Господи слава Тебе!" прозвучали полнозвучно и мощно. На улице многие обнажали головы и крестились.

После тропаря уже не хотелось петь обычные песни, все сидели молча, задумчиво. Печка догорала, от окон повеяло холодом, и публика на улице и немецкие солдаты стали расходиться.

— Закрывайте окна... Вот и у нас Рождество получилось... Рождество Христово... Что ж, поздравляю всех вас, господа-то-

вариши, — сказал Гарасов — Отбой! Ложитесь спать, друзья... может и доживём до следующего.

Это был последний какой-то "светлый" день в жизни пленных в лагере Замостье... 11 января был объявлен карантин. Гифи и дизентерия приняли эпидемические размеры. Немцы не входили в лагерь, а если в случаях крайней необходимости и появлялись на дворе, то все они были в прорезиненных комбинезонах с масками на лицах и обсыпанные какой-то светло-желтой пудрой. Пленные умирали прямо на нарах, по утрам их вытаскивали к воротам и складывали на телеги, из санчасти по два-три раза в день еле передвигающих ноги больных под конвоем немцев в комбинезонах отводили в лагерь Норд. Смерть не щадила никого, умер полицай Дышко, умер и доктор Шигариан... Однажды утром обнаружили, что умер Женя Афанасьев... пару дней он чувствовал себя плохо, почти не ел ничего, только много пил, даже ночью просил, чтобы ему дали воды... сам он уже не мог слезть с нар. Умер он незадолго до подъема, уткнувшись лицом в свою шинель... может задохнулся, лицо его было совсем синее...

Умер и Николай Григорьевич Завялов, ещё накануне ему стало плохо и он пролежал целый день на нарах. Шегов приносил ему еду, тот не стал есть, даже свою пайку хлеба не смог доесть...

— Вот, тёзка, и конец... Финита ля комедия... прощай, Оптика... А знаете, я ведь был накануне открытия большой... ох, какой большой важности... Помните "Гиперболоид инженера Гарина"? Алексея Толстого, помните? Это не так глупо, как кажется, конечно не зеркалами, но можно создать параллельный, направленный светознергетический луч потрясающей мощности... можно! Жаль что и вам рассказать не могу... всё равно ничего не поймёте... За начало в этой работе мне и орденки дали... "и вот я умираю..." — вдруг пропел он полусшепотом кусочек из арии Каварадосси.

Шегов сидел рядом, опустив голову, и не глядя на Завялова сказал:

— Дорогой мой товарищ... самое страшное и самое смешное, это то, что и нет, понимаете, нет слов утешения... Что может сказать умирающему сегодня человек, который умрёт завтра... Я

не знаю, сколько здесь останется, когда кончится карантин... очень немного...

— Слушайте, Коля, а вы плакать ещё можете?... обещайте, что хоть пару слёз прольёте, когда я загнусь... очень обидно так умирать... Но если вы каким-то чудом переживёте всё это и когда-то сможете выйти за проволоку, не возвращайтесь туда... к Сталину, тут умирают полумёртвые, а там живут мёртвые... духом мёртвые... Так обещаете? Поплачете обо мне?

И когда мёртвого Завялова увезли с очередной подводой, Шегов выполнил просьбу... он плакал. Вышел из барака на двор вечером и долго ходил по лагерю и плакал, даже странно было, откуда берётся такое обилие слёз.

Такие вечера, такие ночи казались кошмаром... да это и был реальный, настоящий кошмар, который нельзя было стряхнуть проснувшись и потянувшись на кровати и с удовольствием подумать: "Слава Богу, это только сон", нет, это была явь, страшная, беспощадная, безысходная...

П. Н. Палий

МИНОМЕТЧИКИ

НА ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ

Мысль о том, что из этого заведения надо как-то выбираться, зудела в голове сильнее и сильнее и прогнать ее не удавалось. Я старался думать, что это бред: здравый смысл говорил, что лучшего места в нашем положении не найдешь и надо примириться с неизбежностью. Но что же здравый смысл, я и прежде старался не поддаваться его диктату. Кроме него есть пель и сердце, чувство, и без них голос разума может завести в такие дебри, что только пропадать. Чувству все здесь обрыдло и требовало замены. Занятия шли своим чередом, — мне они опротивели, в них не было для меня ни малейшего смысла, они казались даже вроде бы и унижительными. Я никого из соседей не осуждал, не корил, но у каждого свой путь, — этим путем я идти не хотел. Да и судьба редко предоставляла мне свободу выбора, — почему не воспользоваться ею?

Но как отделаться? Ничего не выдумаешь. Поссориться крупно с ротмистром? Вряд ли его может что пронять. У него свои планы и из-за моего неудовольствия он от них не откажется. Убежать? Ночью перемахнуть через забор и был таков? Но не зная ни расположения поселка, ни дорог, я вряд ли далеко уйду. Риск попасть за побег в концлагерь большой, — этот вариант не годится.

Как иногда бывает, желание мое осуществилось неожиданно для меня самого. Сложилось будто само собой, — нарочно такое не придумаешь. Утром, как всегда, пошли на полевые занятия. Чувствовал я себя плохо. Накануне, когда возвращались в лагерь, наш командир, из выслуживающихся и прислуживающих, которые находятся всюду и у всех, в любых условиях,

вдруг заставил нас бежать порядочный кусок дороги. Мы запыхались, взмокли, — вышли потом на открытое место и нас насквозь прохватил уже осенний холодный ветер, — август был на исходе. Ночью я почти не спал и шел теперь, спотыкаясь и чертыхаясь.

В довершение, когда пришли, ведущий занятия объявил, что сегодня будем упражняться в переходе линии фронта, — чтоб тебе ни дна, ни покрывки! Самое мое нелюбимое дело, красться в траве, стараясь проскользнуть мимо постов "противника". Разве "попасться" сразу, не кряться? Не годится, выйдет вроде демонстрации, из протеста, — ухудшать положение не стоит. Даже перспектива запасться картошкой не радовала.

Зашел в кустарник, пригнулся, продираясь между ветками подошел к опушке, — впереди широкое картофельное поле, справа вдальеке опять рошица, надо пробираться туда и по роше постараться миновать "посты". Где пригибаясь, где ползком добрался до роши, вошел в нее, присел отдышаться. Рошу отлично нагрело солнце, пахло смолкой, хорошо бы вздремнуть на мягкой прошлогодней подстилке из хвои. Но надо продолжать игру.

Налево роша впереди густая, непроглядная. Там вдруг хлопнула крыльями и каркнула должно быть ворона, — наверно спугнул кто-нибудь из пробирающихся мимо "постов". Громко треснула под ногой большая ветка, но сколько ни всматривался, никого не заметил. Э, мазила, не умеет ходить по лесу, шевельнулась мысль и тотчас же показалось важным вспомнить, когда и где я упражнялся неслышно ходить в лесу, чтобы не хрустнула под ногой ветка. Надо, понятно, внимательно смотреть, куда ступаешь — и надо почти скользить ногой по поверхности, а не поднимать ноги высоко, шагая. Где все-таки учился я этой премудрости? Не в лагере ли на Печоре, перед побегом? Нет, кажется, не там. Совсем вылетело из головы. А где-то учился.

Направо лес не такой густой, просвечивает небо — и солнце пробивает хвою и листву, рассыпаясь внизу подвижными веселыми бликами. Будто кто-то специально насыпал тут погуще столько света, мелькающего в тенях от листвы, словно убегающего из леса и снова набегающего на него.

Укрываясь за деревьями и кустарниками, двинулся дальше направо, думая, что, пожалуй, зайду слишком далеко, уклонюсь от середины занятий, но не беда, никто не будет проверять. Лес еще поредел. Вышел на опушку, — впереди опять картофельное поле, полого спускающееся в низину. Ботва здесь густая, высокая, с жирными листьями, — много наверно влаги, и по краю поля, сильно пригнувшись, можно пробраться незамеченным. Дальше ботва поредела, пришлось лечь и ползти. Добрался до небольшой купы деревьев, с кустарником внизу, — прилег в негустой тени, где сквозь прозрачное ее кружево хорошо пригревало солнце.

Если обойти поле справа, дальше по роще за полем можно будет продвинуться налево, — "посты" наверно останутся позади и будет уже не трудно пройти им в тыл. Пока полз, утомился, генерь солнышко разморило — незаметно я крепко заснул.

Проснулся, как и заснул — сразу, будто вынырнул. С недоумением осмотрелся, но тотчас же вспомнил: вон я где. Чувствовал себя бодрым, посвежевшим: усталось и нездоровье ушли со сном. Тени передвинулись: солнце было не над головой, а за спиной. Наверно уже поздно. Где же наши? Уйти без меня не могли. Впрочем, может быть кричали, звали, — я спал наверно так крепко, что ничего не слышал. Э, не беда, ничего ни им, ни мне не станется.

Вспомнил: первое дело, надо же накопать картошки. Над головой — сухая ветка. Отломил ее, подполз к первой грядке, — земля сырая, поддается легко. Вот и картошка, крупная, не очень грязная. Предвкушая, как буду печь и есть ее вечером, набил карманы, пять-шесть штук, хорошо очистив о траву от земли, положил еще запазуху. И тут затылком ощутил, что кто-то на меня смотрит.

Обернулся позади сидел на корточках польский крестьянин, пожилой, и внимательно смотрел на меня. В его излуде не было осуждения или укора, скорее участие и недоумение.

— Ваше поле? — спросил я, зная, что пожилые поляки здесь почти все если не говорят, то понимают по-русски. Он качнул отрицательно головой.

— Нет, соседа, — хорошо выговаривая, ответил он.

Приходится картошкой запасаться, голодно, — объяснил я. Помолчав, он заметил:

— Что же вас немцы плохо кормят, вы же служите им?

— Не совсем, — возразил я. — Мы стараемся прежде всего себе служить, а не другому дяде.

— А что будете делать, когда Сталин придет? — серьезно спросил он.

— Что нам будет, если Сталин нас схватит, это мы хорошо знаем. И поэтому постараемся в руки ему не попадаться. Мы народ опытный, хорошо знаем коммунистические порядки. А вот что вам будет, — об этом вам надо думать. Много не скажешь, а коротко — плохо вам будет, может быть хуже, чем теперь, при немцах.

— Почему же даже хуже? Мы никому ничего плохого не делаем.

— И мы вроде бы не делали. Да коммунистам все равно, делали что или не делали. Им надо все по своему ломать, как у нас, — так и у вас они будут все ломать, и вас тоже.

Он явно не верил мне. Разубеждать не приходилось, надо двигаться восвояси, объяснениями заниматься некогда. Я поднялся, попрощался, сказав, что ничего ему не желаю, кроме хорошего, да не от нас зависит, чтобы коммунисты принесли это хорошее, — и пошел к дороге.

Дорога пуста, нигде не видно ни души. Солнышко светит ладно, мир и покой вокруг. Шел поторапливаясь и вскоре очутился у ворот лагеря. Постовой заметно всполошился, увидев меня, в глазах у него и недоумение, и будто бы испуг.

Вошел в калитку, пошел по аллее. Навстречу ротмистр с дежурным, — будто ждали они тут за деревьями. Вид у ротмистра не обычный, лицо встревоженное.

— Где вы были? — почти крикнул он.

— Где же мне быть? Задание выполнял, да нечаянно в поле заснул.

— Вы и на той стороне будете на заданиях нечаянно спать? — со злостью выкрикнул он.

— Я же на ту сторону не собираюсь, не раз говорил вам об этом. И вы говорили, что у вас для меня другая работа есть, — спокойно возражал я, чувствуя, что больше мне с ним дел не

иметь. Злобно глядя на меня, — наверно от начальства ему влетит, успел я подумать, — он буркнул дежурному:

— Раздеть... — я вспомнил, как недели три назад он так же коротко сказал другому дежурному: — Одеть... — значит, пребывание мое в этом заведении пришло к концу. Лучшего и желать не надо.

Пока шли к каптерке, дежурный говорил:

— Суматоха тут была. Успел уже в штаб сообщить, наверно до Варшавы дошло, всех всполошил...

В складе мешок с моими вещами куда-то запропастился, — Что у вас было? — спросил каптер. — Как обычно, шинель, брюки, гимнастерка, белье, ботинки, только не вещевой мешок, а рюкзак, — перечислил я. Из другого помещения, вроде кладовки, он выбрасывал мне вещь за вещью, — я осматривал их, примерял, прикладывая к телу и убеждаясь, что, пожалуй, не прогадал от пропажи моих вещей: эти были лучше, не такие изношенные. Выходит, я не в накладе. И даже на голову опять буденновку получил, хотя и не мою, но почти новую. Только рюкзака было жаль, он много со мной путешествовал. Переоделся, переложил картошку в карман теперь опять советской форменной одежды. И отправился в барак. Дежурный не знал, что будет дальше, но сказал, что на днях наверно отправят в какой-нибудь лагерь военнопленных, такие случаи уже бывали.

В "штубе" никто будто и не обратил внимания на мое возвращение.

Вечером, когда я пек за баракom картошку, подарив перед тем пару саратовцу, он говорил мне:

— Ничего, опасаться нечего: вы не первый, в таких случаях отправляют снова в лагерь, без каких-либ^о взысканий, как неподошедшег^о. Ротмистр наверно локти кусает от досады: потопился тревогу поднять, из-за пустяка, немцы этого не любят. Он вообще служака лихой, посмотреть, изо всех сил старается, как бы не перестарался чересчур, как мы замечаем. И с вами что-то крутил... — Помолчав, он добавил: — Кажется, вас не одного

будут отправлять, с группой поедете. Вчера ночью один из нашей комнаты попался в поселке, у поляков водку пили, с девками, да разошлись, стали песни горланить, — немецкий патруль и замел всю компанию. Из нашего лагеря двое попались, и от радистов два или три. Так что целой кучей поедете...

Мне было все равно, одного отправят или с группой. Любопытно было узнать о ночном происшествии: до этого я не догадывался, что наши, оказывается, и тут приспособились, ухитрились с поляками связаться, водку достают, по девкам бегают. Истинно, наш пострел везде поспел...

Попавшегося от нас я давно заметил: на вид спокойный, тихий, приличный паренек, совсем молодой, с миловидным белым лицом. Кажется, воды не замутит. А он, слышно, не раз уходил ночью, через забор, пробирался к радистам, где у него дружки, с ними вместе уходили в поселок. Первый раз попался — этого было достаточно. Немцы полякам не доверяли больше, чем нам, боялись наверно возможности предательства.

Два дня прожил в бараке, бездельничая. Никто меня не беспокоил, ничем не докучал, не звали и на занятия. Утром на третий день пришел дежурный, повел к выходу. За воротами присоединилось еще четверо. Один сразу привлек к себе внимание: малого роста, плотный, даже толстый, он словно катился шаром по земле на коротких ножках. Он оказался старшим лейтенантом, — остальные относились к нему с заметным уважением, хотя ему вряд ли больше 25 лет.

По ухваткам и вызывающему лицу я тотчас же решил, что передо мной типичный урка, не раз наверно бывавший в тюрьмах и лагерях. Не очень большого, впрочем, пошиба, не из "паханов", командующих в воровском мире, но и не из "сявок", — из презренной и в воровской среде низшей "расы" воров — "торбохватов", отнимающих у женщин сумки с деньгами или покупками.

Два немца-конвоира привели на станцию, почти точно к приходу поезда. Из разговоров моих спутников между собой выяснилось, что они даже знают, куда нас направляют, — в

лагерь в Седлеце. Я слышал об этом лагере. там тоже, говорили, погибло много народа, но еще прошлой зимой, теперь могло быть по-другому, хотя хорошего ждать не приходилось.

Ехали всего часа полтора. Конвоиры повели на окраину города, к какой-то фабрике за кирпичной оградой, — она была и оградой лагеря. Потом узнали, что это новый лагерь, а старый, с прошлого года, где-то в другом месте, за городом.

В дежурке толпились еще пленные: почти одновременно с нами привезли несколько человек из Люблина. Там, слышно, тоже есть большой лагерь и вроде тюрьмы для провинившихся наших пленных: ведется следствие, потом решают, куда посылать. В Люблине, кажется, немецкое управление лагерей наших военнопленных в Польше, Белоруссии, на Украине.

Приняли нас от конвоя. Переводчик из пленных открыл дверь внутрь лагеря, сказал, чтобы шли во двор. — Располагайтесь, где найдете себе место. И разбейтесь на пятерки, скоро будут обед давать, дают по пятеркам.

Во дворе большой фабричный корпус. Станки сорваны с фундаментов и сдвинуты к стенам, — в середине широкое пространство с голым цементным полом. На нем копошились пленные. Стекла в окнах выбиты, разгуливает холодный ветер. На дворе определенно теплее.

Вышли. Рядом с корпусом штабель больших железных труб, за ним затишка. Пригревает солнце, — под штабелем и устроились на земле.

Рядом два молодых пленных, приехавших из Люблина, не отошавших, с простыми располагающими лицами, в штатских ватных пиджаках, штатских же брюках и опорках. На пленных вроде бы и не похожи. Познакомились. Один, Павел Крутых, уральский казак, второй, Василий Речнов, воронежец, но в своих местах давно не был: он из раскулаченных. Еще ребенком попал с семьей на север Горьковской области, на Ветлугу, где родители работали на лесозаготовках. Когда вырос, пробрался на Волгу, на Балахну и работал там до войны и призыва в армию.

Постепенно они рассказали свою историю, смахивающую на приключенческую повесть. В плен они попали в первые же недели войны, в больших окружениях в Белоруссии. Пешком их

погнали, в массе из десятков тысяч пленных, на Запад. Дошли до Польши. Недалеко от границы, у Бялы Подляски, устроили лагерь, в поле за городом. Но им посчастливилось в первые же дни выбраться из лагеря. Идти они решили не на восток, назад, а дальше в Польшу, клоня к югу.

Целый год они бродили по Польше — с июля прошлого года до августа нынешнего, от деревни к деревне. Везде принимали хорошо, — говорили они. — Надо только не выставлять себя напоказ, действовать потише, тайком, чтобы жителей не подводить. Почти до Лодзи дошли. Во всех этих местах есть еще люди, говорящие по-русски, другие хотя бы только понимают, — объясняться было легко. Мужчин по деревням мало, немцы кого в плен взяли, кого угнали на работу в Германию, — рабочие руки в деревнях нужны. Мы где починим что, хату или телегу, забор, дрова пилили для женщин, — за то нас кормили, поили и спать всегда место находилось. В одной деревне день побудем, два и дальше идем. В другой неделю живем, а то и больше. Так и ходили и никогда голодные не были.

Потом бродячая жизнь среди чужого народа им все же прискучила. Немцы были далеко, под Москвой, шли к Волге и Кавказу. Решили, что теперь можно будет жить и на своей земле, где советской власти давно нет, среди своих. И двинулись на восток.

Прошли до самого Буга, осталось его перейти. Но чего они не знали: немцы, оказывается, еще держали по Бугу границу Польши. На этой границе, о которой мало кто знал, у немцев кое-где были посты, заставы, ходили изредка патрули, — на один из них и нарвались наши бродяги. Забрали — кто такие? Спрашивать впрочем было нечего: сразу видно, советские пленные. Отвезли в Люблин, там сидели две-три недели под следствием, — теперь попали в Седлец.

Эту историю они рассказали в несколько приемов, припоминая то один, то другой эпизод из страннической своей эпопеи. Они были полны решимости снова отправиться бродить по Польше: оставаться в лагере у них и мысли не было, надо только выбрать момент, когда удастся отсюда или с дороги уйти.

Мне история их пришлась по душе. Отличный вариант!

Почему так не побродить? Я сказал, что охотно присоединюсь к ним, — они не возражали.

Гем самым снова появилась желанная цель. Надо только смотреть в оба, не представится ли удачный случай. Жизнь вроде бы опять обрела смысл...

Отсюда уходить нельзя, нечего и пытаться. Лагерь небольшой, все на виду. За кирпичной стеной постоянно ходит немецкий патруль. Ночью по стене горят фонари, видно хорошо. Скрыться негде. Нет, надо подождать, когда отсюда отправят. Или начнут гонять на работы.

Мои новые знакомые мне очень нравились. Спокойный, крестьянски рассудительный и основательный народ, на таких положиться можно в любом случае. Отличные компаньоны для намеченного предприятия.

Через несколько дней партиями по сорок-пятьдесят человек стали гонять в город, в военный лазарет — на рентген. Мы слышали, что немцы панически боятся туберкулеза и если у кого его обнаруживают из пленных, больного изолируют и так строго, чтобы немцам не приходилось с больными общаться совершенно. Но с чего это они вдруг стали нас проверять? Не хотят ли отправлять в Германию?

Наша догадка оказалась почти верной. Еще через несколько дней отсчитали человек двести, привели на станцию, разместили в трех товарных вагонах. Долго, почти целый день петляли по железной дороге, то в одну сторону, то в другую, — не понять, куда везут. И станции с незнакомыми названиями. Наконец, промелькнула одна: Сольдау. Э, не в Восточную ли Пруссию нас завезли? Чего мы тут не видали?

На небольшой станции пересели на узкоколейку. Паровозик потащил нас, все время звоня в колокол, висевший перед будкой машиниста. Какая древность! Вот не представлял, что где-то еще сохранились колокола на паровозах и они звонят, когда едут, наверно чтобы не только предупреждать людей, но и сгонять с дороги скот.

Еще минут через сорок езды под звон колокола поезд встал у платформы, посреди широкого поля. Невдалеке десятка полтора барачков за проволокой, — лагерь, место нашего назначения.

Он как-то странно сооружен. Перед воротами постройки наверно управления, охраны, склады; за воротами сначала тоже хозяйственное — склады, кухня, а дальше широкая длинная дорога, огороженная колючей проволокой. Слева за этой проволокой — жилые бараки, каждый в отдельной "клетке", за колючкой. Направо от главной дороги уходит в сторону ответвление, тоже широкая дорога, и тут справа от нее — еще бараки, тоже огороженные проволокой. Почему такая конфигурация, таким "глаголем", непонятно, но не все ли равно.

Провели сначала в самый дальний барак слева, посчитали, предложили располагаться, кто как хочет и отдыхать. Отдых нам не очень был нужен, а вот хлеб и обед — другое дело. Переводчики — переводчики и полицейские из пленных и тут играли как бы первую роль, немцы не вмешивались, — сказали, что хлеб и обед будут, когда положено. Язык знакомый, допытывались дальше, — в полдень, говорят, будут кормить. Ладно, можно пока успокоиться: полдень примерно через час.

Дни потекли медленно и мутно. Кормежка не лучше, чем в других лагерях, от голода постоянно ныло в животе. Но что же сделаешь, еды тут нигде не достать, мы, в самом деле — "в чистом поле". На нем, сразу за лагерем, только с одной стороны неглубокая канавка, редкий кустарник, дальше гладкое, чуть, похоже, болотистое поле. Далеко, километрах в трех или больше низкий лесок, около него — тоже приземистые постройки, бараки: говорят, там лагерь французских военнопленных. Почему французов тоже завезли в Восточную Пруссию, не понять. Может быть — чтобы подальше от Франции? Хотя, все равно: а что они могут сделать, и для себя и для своей страны? Ничего не смогли, когда были с оружием в руках, а теперь, безоружные? Кстати, у нас ведь считали, что у Франции — сильная и хорошо вооруженная армия. А она чуть не вмиг распалась, когда на нее напали по-серьезному...

С французским лагерем у нас не было ничего общего, не было и связи. Может быть только немцы поддерживали связь. Но откуда-то шли слухи, что французские пленные не голодают и ни в чем не нуждаются. Красный крест, говорят, каждый месяц доставляет им и табак, сигареты, есть у них и хлеб в достаточном количестве. Это только нам туго приходится: дома армия на

голодном пайке, в плен попали — здесь совсем голод. Как и у себя, одна задача: старайся выжить. А как — твое дело. Недаром Сталин объявил всех советских военнопленных предателями: заботиться о нас некому, каждый должен думать за себя сам.

С воронежцем и уральским казаком первым делом осмотрелись, нельзя ли отсюда уйти. Завезли нас правда далеко, поляков здесь нет, до них еще надо добираться. Но и возможности уйти кажется нет. Вокруг лагеря постоянно дежурит цепочка немецких постовых. Фонари у ограды редкие, но и ночи не темные, а укрыться негде. Надо ждать, может быть подвернется какой случай. На работы не гоняли, делать лагерю нечего, кроме как обслуживать себя...

Неожиданно какое-то шевеление: на дороге внутри лагеря поставили три столика, за ними сели переводчики. Нас согнали на одну сторону лагеря, — мы должны были подходить к столикам, регистрироваться и уходить на другую сторону: немцы решили провести регистрацию пленных. Большая новость: я в плену четвертый месяц — и пока везде нас считали только по числу голов, как скот.

Тотчас же, как в вагоне, когда везли нас из Крыма на Украину, вспыхнула эпидемия перемены и выдумки себе новых фамилий. Мало кто их не менял, многие меняли и места рождения, все из того же опасения: не подвести оставшихся дома близких. Скажешь верную фамилию, — тогда уже не скроешься. После войны, когда вернут домой уцелевших — тебя укутут в концлагерь, и всех твоих близких с тобой. А так, глядишь, хоть они останутся. В такой массе не разберутся, допытаться досконально, кто ты и откуда, не смогут, — сам не спасешься, так хоть жена, дети, родители не пострадают. И еще списки эти, — мы уже видели, что рядовые немцы, даже и офицеры, ни черта наших условий не знают, — таких олухов НКВД легко вокруг шпыля обернет и через своих шпионов списки, которые сейчас составляют, достанет, — так и влипнешь. Пока могут не знать, в плену ты или убит, а список будет — сразу увидят, где ты и что с тобой. Нет, лучше скрыть, запутать, чтобы не могли разобратся.

В самом деле: не как у людей, все наоборот, чем в нормальных условиях, когда пленные стараются дать знать о себе,

сообщить близким, что они живы. У нас и тут надо скрываться, лучше выдать себя мертвым: и тут над тобой топор и ты должен жить в страхе...

Еще через день-два построили на той же дороге. Пришло несколько немецких офицеров, с ними какой-то штатский, — худощавый, плешивый, плюгавый, с костистым будто бы облезлым лицом. Офицеры почтительно называли его профессором. Наверно какой-нибудь антрополог, может быть знаток расистских дел. Прошел перед нашим строем, на одного-другого показал пальцем, — немцы приказали выйти из строя. Профессор достал из кармана сантиметр, принялся измерять головы вызванных и что-то важно и пространно втолковывал офицерам, — небось объяснял славянскую неполноценность обмеренных пленных, предназначенных быть у немцев рабами. Я с омерзением смотрел на эту сцену, на суетившегося плюгавого профессора, своим видом способного многое доказать, только не превосходство его расы. Другие пленные тоже издевались над профессором, говорили пусть пока тешится, плакать ему время еще придет...

Я присматривался к одной особенности нашего здесь содержания. Утром всех нас перегоняли в дальний барак, слева от дороги. Внешние посты при этом перемещались за последнюю ограду, в поле, — дальше оград уже не было. Тем временем бараки, в которых мы ночевали, убирали, немцы могли их тщательно проверить. Потом полицейские и переводчики снова перегоняли нас в оставленные нами утром бараки, — вслед за нами и немецкие посты переходили внутрь лагеря, вдоль последней проволоки, за которой оставались только пустые бараки. За этими пустыми бараками они уже не следили. Этой операцией немцы сокращали днем на несколько солдат число своих постовых.

Я обратил внимание друзей на этот факт. — А что, если мы утром не перейдем со всеми вместе на старое место? Останемся в том последнем бараке? Обнаружат, — скажем, что спали и не слышали, как уходили пленные на старое место... — Подумали, обсудили и решили попробовать. На следующее утро двое укрылись в бараке под нижними нарами, сделав вид, что спим. Уралец забрался снаружи под барак, — на столбах, барак на

полроста поднимался над землей. Уралец должен был следить за постами, — когда они перейдут, как обычно, внутрь лагеря, мы сможем выбраться из барака, подлезть под проволоку, как раз у начала канавки, и по ней ползком, укрываясь за кустами, уйти от лагеря.

Начали дело успешно, но оно сразу же и застопорилось. Пленные давно ушли, — а уралец все не подавал знака, что и постовые ушли. Почему они не уходят? Мы ничего не понимали. Они же всегда переходили внутрь лагеря, как только пленные уходили из этого барака. Почему они не переходят сегодня?

Уралец тоже перебрался к нам в барак. Мы смятенно ждали, когда же постовые уйдут, — они оставались на своих местах. Видимо, сегодня они так и останутся тут, за последней оградой и выбраться за нее мы не сможем. Что-то произошло, почему обычный порядок нарушился.

Время уходило тягостно медленно, но уже шло к обеду. Ясно, что ждать дальше нечего. Мы осторожно вышли из барака, стараясь не выходить из-за него, чтобы нас не видели постовые с наружной стороны. Вдалеке шел полицейский, позвали его. Он подошел, с недоумением смотрел на нас:

— Вы как тут оказались?

— Да мы утром заснули, а проснулись недавно, видим, никого нет.

— Так вы и обед могли бы проспять, — заметил полицейский, открывая снаружи замок на воротах и выпуская нас. — Сыпьте на место, сейчас обед будут давать.

Все еще недоумевая, пошли в свой барак. После обеда узнали, почему постовые не ушли: приехал новый этап, его после обеда погнали в дальний барак, в котором мы напрасно прождали все утро, когда постовые уйдут.

Неудача так расхолаживающе подействовала на нас, что повторять попытку с последним баракком охота у нас пропала...

И время вдруг словно бы ускорилося. После прихода нового этапа в лагере стало уже около двух тысяч человек, — возникло больше если не оживления, — голодным трудно быть слишком оживленными, — то копошения, суеты, всякого столпотворения. У проволочек, разделявших бараки, постоянно собирались и о чем-то судачили толпы. Спрашивали, откуда, нет ли земляков, дру-

зей, однополчан — и бывало, что непредставимыми путями кто-то узнавал о родственниках или друзьях, — слухом в самом деле “полнилась земля”.

Еще новость: утром отбирали по два-три десятка пленных, вели к воротам, где склады. У вещевого склада была “комиссия”: полицейский, немецкий солдат, переводчик. Они осматривали нашу одежду и решали, что надо заменить. У одного забирала окончательно изношенную шинель и давали более крепкую, другому заменяли изношенную гимнастерку или брюки. Всем давали новые фланелевые советские портянки, — мне посчастливилось получить, по ошибке выдававшего немца, даже две пары, чему я был очень рад. В плену каждая тряпка — ценность, из фланелевых портянок можно устроить хороший шарф на шею, если будет холодно, а нас, видимо, готовились отправлять куда-то именно в холодные места. Почти всем выдали новые ботинки — и какие! Я видел такие первый раз в жизни. Подошвы у них деревянные, сантиметра три толщины, вырезаны так, что на месте каблуков есть еще утолщение. Верх — из толстой клеенки или какого-то другого заменителя кожи, внутри, для тепла, тоже фланель, только грубее. Из-за высоты подошвы, такие наверно и сырости будут мало пропускать. Плохо, что обмоток нет, чем портянки укрепить, выше ботинок? Портянки русский человек придумал для сапог или валенок, для ботинок они не годятся. А обмотки некоторые приспособили на шею, вместо кашне.

Надев ботинки на деревянном ходу, мы внесли в нашу жизнь много шума, грохота: в бараках неумолочно раздавался громкий стук подошв о деревянный же пол.

Мы недоумевали: куда собираются нас отправлять? Не в Финляндию же? Там наверно своих пленных, взятых на севере, некуда девать. Глухо мелькнул слух о Норвегии, но ему не поверили: Норвегия казалась почти сказочной, существующей скорее всего только в географии страной, где-то на краю света. И зачем мы там могли бы понадобиться?

Наконец, в середине сентября, утром увидели у платформы за лагерем длинный состав будто игрушечных теплушек узкоколейки. Значит, уезжаем. И верно: после обеда отсчитали человек четыреста и повели из лагеря. Кое-как набились в теплушки, так, что не повернуться. Паровоз запыхтел, опять

зазвонил колокол, — прощай и этот лагерь. Мы так и не узнали, как называются эти места. Где-то поблизости от Алленштейна, в который иногда ездили немцы и упоминали потом в разговорах о нем. Нигде в поле не было ни одной дощечки с названием этого места, — откуда же узнаешь? Да и есть ли свое название у этого поля?

Словно пятясь назад, под звон колокола паровозик дотащил нас до станции, где ждал состав теплушек уже широкой колеи. Перегрузились, тронулись, — куда, не поймешь. День тусклый, серый, солнца нет, трудно сориентироваться, в каком направлении едем.

Мы попали во французский вагон, ветхий то ли от времени, то ли от того, что побывал в какой-то переделке. Сели вместе, широким, у самой двери. Поезд громыхал на стыках, вагон скрипел на все лады, мы внимательно рассматривали его. У двери, там, где снаружи скоба, запирающая дверь, была зачем-то прорезана круглая правильной формы дыра, большая — свободно пролезет рука. Она прикрыта куском доски, попробовали — доска легко отошла. Отрывать совсем не стали, оставили держаться на верхнем гвозде, так, что доску в любое время можно отодвинуть в сторону. Подождали, когда поезд остановился у какой-то станции, постоял, двинулся дальше, — спустя минуту, другую отодвинули доску: едем в поле. Уралец отодвинул доску еще дальше, просунул руку в дыру, снял скобку, потянул дверь — она легко отодвинулась. Из вагона можно было находить.

Дверь опять задвинули, оставили только малую щель, так, чтобы в любую минуту дверь можно было открыть. Еще слишком светло, выпрыгивать нельзя: немцы-конвоиры, сидящие на тормозных площадках, тотчас же увидят, откроют стрельбу и легко перестреляют нас. Надо ждать, когда стемнеет. Поезд идет быстро, здесь дороги сохранились, никто их не бомбил, но выпрыгнуть все равно можно без большого риска. Только бы стемнело.

Уралец снова закрыл дверь, наложил скобку, — мы только щель выглядывали в дыру, проверяя, не стало ли темнее. Но и стенкой вагона, похоже, совсем не темнело. А осень ведь,

должно темнеть! Подождем до полуночи, все равно потемнеет!

Тревожно ждали, — час, полтора, — тьма за стенкой не сгущалась. Скоро ли полночь? Часов ни у кого нет. Куда нас везут, долго ли будем еще ехать? Никто ничего не знает, надо целиком полагаться на судьбу.

Поезд на минуту, другую останавливался на станциях, полустанках, трогался, шел дальше, — а темнее все не становилось. Наверно за тонким покровом туч скрывалась сильная луна и превращала ночь в густые сумерки, когда видно далеко и нет спасительной темноты...

Поезд замедлил ход, опять остановился — и дальше, как видно, отправляться не хотел. Где мы? Станции не видно. Но на складах, пакгаузах вдоль путей большие надписи по-немецки, часто повторяется "штеттише": очевидно, мы приехали в Штеттин. Дальше ехать нам некуда, по крайней мере на поезде. Наверно погрузят здесь на пароход, — напрасно мы открывали дверь.

Посмотрел на своих друзей, — лица у них пасмурные, глаза пустые. Уралец пожал плечами на мой взгляд, будто говоря: значит, не судьба. Когда же она будет, наша судьба, если отсюда завезут на какие-то кулички?

В голове и на душе тоже пусто и смутно, тоскливо. Вспомнилась откуда-то строка: "Уходит пароходик в Штеттин...". А дальше как? Да:

"Остался я на берегу.

Не знаменит и не заметен,

Так больше жить я не могу..."

Тьфу, какая ерунда припоминается. Заметным и знаменитым человеку хотелось быть. С жиру бесились... Чье же это? Агнивцева? Или Кузмина? Забылось. Впрочем, и помнить не к чему...

Штеттин. Куда же дальше?..

Продолжение следует

Г. Андреев

ЗНАЧЕНИЕ К.С. МАЛЕВИЧА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ ¹

Для будущих историков живописной культуры XX-й век останется веком абстракционистской революции, то есть революции в изобразительном искусстве, которое вышло из туника изображения предметов, заслоняющих самое главное, то есть *живописное как таковое*. После четырех столетий академического ренессансного искусства, последним великим представителем которого можно считать Делакруа, в живописи предмет как таковой, сюжет как таковой брал верх, и люди больше не видели в ней ничего другого, кроме описательной стороны. Это привело к торжеству натурализма, помпьеризма или манерного символизма в конце 19-го века. Живопись перестала быть выявлением живописного начала, чтобы стать повествованием литературным, социальным, политическим или философским. Функция художественная исчезла в пользу других функций — гедонистической, нравоучительной, дидактической, иллюстративной или политической.

До сих пор на картины смотрят как на произведения не самодовлеющие, а дополняющие то, что иными способами выражает литература или философия, то есть искусство слова.

1. Эта статья была задумана как доклад, прочитанный в Калифорнийском университете в Беркли в мае 1977. Ограниченность времени в рамках публичной лекции объясняет отсутствие подробного анализа творчества К. С. Малевича после 1917 г. Надо было бы посвятить другой отдельный доклад и педагогической деятельности живописца, и его вкладу в создание советского "дизайна", и его архитектурным замыслам и "метафизической" его живописи конца 20-х — начала 30-х годов и его возврату к импрессионизму перед его смертью в 1935 году.

Именно против такой концепции изобразительного искусства восстали между 1910 и 1917 гг. основоположники так называемого абстрактного искусства В. В. Кандинский, К. С. Малевич и П. Мондриан. Я говорю "так называемое абстрактное искусство", потому что для великого искусства первенствующим элементом всегда было *живописное как таковое*. Как написал современный русский художник парижской школы А. М. Ланской, когда перестанут видеть в картинах девушек, яблоки и скатерти, и увидят живопись, тогда не будет разницы между абстрактным и фигуративным искусством. Посмотрите любую картину Вермеера: разве нас восхищает в ней точность передачи мельчайших деталей, пресловутый голландский реализм? Нет, нас переносит в другие измерения прозрачный живописный ее свет, от которого предметы теряют свой видимый смысл и растворяются во всё победившем цвете.

Малевич — один из тех, кто очень остро осознал подлинную функцию искусства живописи и наблюдая тупик, в котором живопись увязла, коренным образом утвердил ее торжество. Малевич, конечно, не единственный художник, совершавший эстетическую революцию в XX-м веке, но он, пожалуй, зашел дальше всех в своем утверждении нового искусства.

Процесс замены 4-х столетий ренессансного искусства начался уже во второй половине 19-го века с импрессионизма. Но сам импрессионизм не забыл уроков, данных раньше Гэрнером. Антропоцентрическая гуманистическая перспектива видения мира начинает расшатываться импрессионизмом, для которого объективный мир больше не имеет своей кажущейся твердости, своей иллюзорной, обманчивой стойкости.² Эта перспектива уже заменена другой задачей: передачей вибраций дневного света, растворяющего все предметы, которые теряют свои определенные контуры. Здесь, у импрессионистов, цвет, живописное как таковое, начинает расти на холсте — именно "расти", как растение на земной почве³ — здесь предметы

2. См. статью Н. А. Бердяева "Пикассо" в "Софии", № 3, 1914, перизд. в его книге "Кризис искусства", Москва, Г. А. Леман и П. С. Филонов. 1918.

3. Образ о "растущем" на холсте цвете у Клода Моне мы находим в литографированной брошюре К. С. Малевича "О новых системах в искусстве",

начинают терять свою видимую, кажущуюся реальность в пользу другой реальности, скрывающейся за ними. Можно назвать Моне первым, после Тёрнера, который совершил этот поворот в проблеме изобразительности, в проблеме, известной в эстетике под Аристотелевским названием мимесиса. Мимесис понимался вульгарно, как подражание природе, как воспроизведение природы в таком виде, как мы ее видим нашими глазами. Теперь же воспроизведение видимой природы перестает быть главенствующим элементом живописи. Главное — это создание нового живописного мира, где предметы сконструированы не в измерении видимого мира, но в измерении живописном. С Ван Гога вся действительность приходит в движение. Для Малевича творчество Моне, Сезанна и Ван Гога — это три момента в продвижении живописной беспредметности. Из Сезанна вышел вывод кубистический, из Ван Гога вывод футуристический, из Моне — через эти два вывода — вывод супрематический.⁴ Все учение Малевича-педагога после 1918 года (во ВХУТЕМАС, в Уновисе в Витебске, в Гинхуке в Петрограде) до 1927 года было основано на изучении этих трех главных течений, то есть импрессионизма, кубизма и футуризма, в которых художник видел прямых предшественников супрематизма, последнего, "высшего выхода", в котором целиком уничтожается предмет, всякое антропоцентрическое изображение.

До того, как дойти до этого радикального живописного переворота в 1915 году, Малевич прошел все стадии, через которые проходили почти все современные художники. Мы имеем еще мало данных о жизни Малевича, о его творческой лаборатории, чтобы с уверенностью датировать все периоды его творчества. Сам художник в своих писаниях или даже на холстах ставил неточные даты! По-видимому, некоторые импрессионистические картины и рисунки, датированные обычно 1903 годом,

Витебск, Уновис, 1919 (большая часть этого текста была переиздана отдельной книжкой под названием "От Сезанна до супрематизма. Критический очерк". Москва, Изд. Наркомпроса).

4. Сам Малевич говорит в вышеупомянутых изданиях о преемственности кубизма от Сезанна и футуризма от Ван Гога. Преемственность же супрематизма от Моне является моим личным выводом, опирающимся на сравнение подхода Моне и Малевича к живописному как таковому.

были на самом деле написаны в начале 30-х годов.

“Черный квадрат на белом фоне” был, по всей вероятности, написан в 1915 году, а не в 1913 году. На “метафизических” картинах, написанных в конце 20-х и в начале 30-х годов, художник сам написал, что они были сделаны в 1915 году!⁵ Если Малевич сознательно поставил такие даты, это не только потому, что он увлекался, как многие другие художники (напр., Ларионов, Гончарова, Баранов-Россинэ) нарочитой фальсификацией дат, чтобы доказать, что он раньше других пришел к той или иной форме изображения, но, главным образом потому, что для него важен не хронологический процесс, а логический. Таким образом, “метафизические” картины, написанные в конце 20 годов, принадлежат к досупрематической живописной культуре.

Через какие главные творческие периоды прошел Малевич?⁶ До 1910 года творчество Малевича мало известно, как и его биография. Казимир Северинович Малевич родился под Киевом в 1878 году в польской католической семье. Его родной язык был польский, язык края, где он провел детство, украинский. Он говорил на этих двух языках, но писал на них очень плохо. Культурный его язык был русский. Он им пользовался для своих философских трактатов, полемических и критических статей. Он учился в Киеве, Курске и в Москве, но доступные нам документы указывают на его контакты с формирующимся авангардом только в 1910 году, когда он выставился в 1-м “Бубновом Валете”. До этой же даты мы знаем мало его работ. Видно, что он писал в символистском модерн-стиле и, прежде всего, в импрессионистическом стиле. Здесь ничего оригинального нет.

Самобытное творчество Малевича можно отнести к 1909-10-му гг. Этот его период — примитивистский-экспрессионистический. Картина “Аргентинская полька” указывает на сильное влияние нео-примитивизма Ларионова и Гончаровой. Нео-примитивизм явился протестом против эстетизма символизма и модерн-стиля, против изящности, неясности, александрийства

5. См. статью Е. Ф. Ковтуна “Die Entstehung des Suprematismus” in “Von der Fläche zum Raum. Russland 1916-1924”, Köln, Galerie Gmurzynska, 1974.

6. Лучшая существующая книга о Малевиче это: Т. Andersen “Catalogue raisonné of the Berlin Exhibition 1927, Amsterdam, Stedelijk Museum 1970.

сюжетов. Все здесь нарочито грубо, ярко, неутонченно. Самое главное — это экспрессивность и юмор, как в народных картинках-лубках. Наложение контрастных красок и свободная ритмика линий контуров указывает на влияние французского фовизма, особенно Матисса. Как и для всех русских художников XX-го века, коллекции французской живописи Морозова и Щукина сыграли колоссальную роль для Малевича. Несомненно, революция, произведенная Матиссом в создании нового живописного пространства с освобождением линии и цвета от прямого воспроизведения природы, не была забыта Малевичем, который с этого времени утверждает в своей живописи самодовлеющую силу красочных поверхностей, независимо от окружающей природы. После Моне и Сезанна, Матисс является прямым учителем Малевича.

Русский неопримитивизм берет верх в 1912 году. Это грандиозная серия картин на крестьянскую тематику. Никто среди живописцев XX-го века столь сильно не выразил пластическими средствами атмосферы деревни и деревенской работы. "Крестьянка с коромыслом", следуя традиции лубка, решительно игнорирует законы ренессансной перспективы. Акцент поставлен на экспрессивности, а не на воспроизведении бытовой сцены в ее реалистических подробностях. Весь ритм картины дан формой коромысла, которое своим живописным сдвигом на одно плечо крестьянки усиливает впечатление тяжести человеческой ноши. Слегка склоненная голова передает всю скорбь рабочего люда. Как в иконописи, пропорции не соответствуют действительности. Большинство картин этого цикла сочетает примитивизм с экспрессионизмом цвета и очень своеобразным кубизмом конструкции. Если французский кубизм Пикассо и Бракка дробил пространство полотна на кубы, желая при этом передать предметы со всех сторон, не только какими мы их видим, но какими мы их знаем, то Малевич дробит картинную поверхность на цилиндрические единицы. У него есть аналогии с творчеством Фернанда Леже. Дело ли здесь во влиянии или в конвергенции — об этом невозможно сказать с уверенностью. Но это второстепенный вопрос. Даже если есть влияние Леже, оригинальность Малевича в этом цикле столь поразительна, что эти картины никак не могут быть рассматриваемы как подража-

ние или эпигонские перепевы. Сочетание здесь кубизма, фовизма и примитивизма создает новое живописное измерение.

Если сравнить любую кубистическую фигуру Пикассо и "Голову крестьянки" 1912 г. Малевича, то сразу выступает самобытность манеры русского живописца. В кубизме Пикассо есть распластывание предмета, его разложение на составные элементы, реконструированные по чисто композиционным соображениям, тогда как у Малевича главным остается художественная выразительность крестьянского убора и крестьянского лица. Самая заметная деформация — это деформация глаз. Как и у кубистов, предметы не представлены в своем плоском виде, каким они кажутся на первый взгляд обычному зрению. Предмет схвачен симультантно в разных стадиях своих возможных пространственных положений и своих возможных временных состояний. Конструктивным элементом являются здесь не столько части лица, сколько русский платок, обуславливающий образ женщины-крестьянки. "Голова крестьянки" — это переход Малевича от примитивистского кубо-футуризма к следующему этапу его творчества в 1913-14 гг., то есть к этапу алогизма или заумного реализма. В это время Малевич порвал с Ларионовым и Гончаровой и сблизился с буйной группой бюджетлян (с композитором и живописцем М. Матюшиным, с Хлебниковым и особенно с Крученых, который был самым радикальным проповедником "слова как такового" или "буквы как таковой", сводя поэзию иногда к звуковой инструментровке). Именно с ними Малевич создал первый кубо-футуристический спектакль в мире, оперу "Победа над солнцем" на музыку Матюшина, с прологом Хлебникова и либретто Крученых.⁷ Исходя из осознания, что трехмерный наш мир является лишь обманчивым миражем, теоретики зауми (Хлебников и Крученых) или алогизма (Малевич) старались в своих произведениях выявить другие измерения. Алогизм или заумь — это не иррационализм, это антирационализм, то есть отвержение того разума, который создает аксиоматически категории и законы не потому, что эти категории и законы соответствуют истинному бытию, а потому,

7. См. мою статью "La Victoire sur le Soleil ou le merveilleux futuriste comme nouvelle sensibilité", in *La Victoire sur le Soleil*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1976.

что они удобны для устройства жизни. Против кантианства и нео-кантианства начала века, для которого, грубо выражаясь, есть познаваемый мир — феноменальный, и непознаваемый, недоступный разуму — ноуменальный, против такого разделения на два мира восстали везде уже в 10 гг. Мы здесь присутствуем при антирационалистическом бунте (в психологию начинает проникать психоанализ; торжествует Бергсон, мысль которого оказала влияние на интуитивизм Н. О. Лосского; отмечаем и тогдашнее увлечение антропософией Штейнера, теософией и йогизмом (П. Д. Успенский), парапсихологией, оккультизмом и т.п.). Как бы странно ни показалось, на русских кубофутуристов оказал влияние теософ и индуист П. Д. Успенский и прежде всего его книга 1911 года *Tertium Organum*. В этой книге П. Д. Успенский хочет идти дальше *Organon* Аристотеля и *Novum Organum* Бэкона, где логические законы были основаны на восприятии трехмерного видимого мира. *Tertium Organum* описывает а-логические, за-умные законы бесконечного. Он включает в свою систему и 4-е измерение (время) и 5-е измерение (вышина сознания над временем) и 6-е измерение (линия, которая объединяет все сознания мира в одно целое). Утверждение интуиции против разума, бессознательного против логического проявляется у Малевича в ряде алогических картин, где все элементы обыденной жизни перемешаны в кажущемся на первый взгляд беспорядке, указывающем, однако, на другой порядок — уже художественный. В картине 1914 года "Англичанин в Москве" ярко выражено всплытие подсознания. Картина разделена на две части вертикально, горизонтально же пила разрезает фигуру пополам. С одной стороны, весь видимый облик этого человека (фрак, цилиндр, сабля, скаковое общество) — все это указывает на его положение в обществе, — с другой стороны — вся подсознательная сторона с разнородными элементами (христианская символика, свечи, лестница, рыба — свет: желтый сноп, исходящий из головы, и белый являющийся доминирующим цветом (рыба — солнце). Движению сабли соответствует контр-движение красной стрелы, как бы символизирующей прорыв подсознательного в мир видимостей.

В картине "Дама у афишного столба" уже нет символических ссылок: видимый и невидимый мир уже вполне объединены.

Еще остаются части фигуративного изображения, но уже большие геометрические красочные поверхности как будто стирают все видимое. В 1913-14 гг. у Малевича уже возникает идея супрематизма, то есть живописной системы, которая является высшим выводом, высшей точкой, супрематией беспредметности, мира как беспредметности. Уже в декорациях и костюмах к опере "Победа над солнцем" появляется черный квадрат, основной элемент супрематизма. Он еще не имеет в 1913-14 гг. самодовлеющего значения и встречается в алогических композициях. Но уже в 1914 году черный квадрат создан и вызовет скандал на выставке "0-10" в Петрограде в январе 1916 года и возмущение критиков, особенно Александра Бенуа, который ужаснется перед зловещей пустотой черного квадрата, в котором он увидит грядущее царство полной нирваны...⁸

Для Малевича, черный квадрат, это выявление единственного существующего мира небытия, являющегося, однако, полным подлинным бытием. Невозможно в рамках этого доклада говорить о философии Малевича, кот. является одним из выражений мысли нашего века.⁹ Малевич — единственный случай в истории искусства, когда мы имеем дело и с большим художником, и с большим философом. Многие художники от Леонардо да Винчи до Кандинского оставили философские размышления, но ни один из них не оставил, как Малевич, онтологической системы, размышления о сущем и бытии. В этом отношении небольшая брошюра Малевича, появившаяся в Витебске в 21 г. под названием "Бог не скинут. Церковь. Фабрика. Искусство", один из глубоких текстов философской литературы. Супрематизм возник от осознания Малевичем не-реальности предмета. Предмет как таковой не существует, он растворяется в энергии, — возбуждении абсолютного беспредметного бытия. Супрематизм, следовательно, является отрица-

8. О выставке "0-10" и протесте Д. С. Мережковского и А. Бенуа против футуристов см. K. S. Malévitch. *Ecrits II. Le Miroir Suprematiste*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1977 (приложения).

9. Первые попытки анализа философии К. С. Малевича сделаны в следующих работах: J. C. Marcadé. "Une esthétique de l'abîme" in K. S. Malévitch. *Ecrits I. De Cézanne au Suprématisme*. Lausanne, L'Age d'Homme, 1974; Emmanuel Martineau. *Malévitch et la Philosophie (tome I)*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1977.

нием предметного мира, он стремится к выявлению мира без предметов и без предмета, единственного мира, кот. имеет реальное существование. Поэтому Малевич фундаментально антиконструктивист, т. к. для конструктивизма главная задача в утверждении материального предмета, материальной культуры, материального утилитаризма и функционализма. Наоборот, супрематическая экономия Малевича восстает против "зеленого мира мяса и костей", против "харчевой культуры", чтобы их превратить в мир пустыни, в мир отсутствия, в мир повернутый к обнажению бытия. С Малевича живописный акт становится философским действием.¹⁰ Мистическое видение уничтожает посредственный покров, превращает обычное восприятие наших 5и чувств в созерцание мира в своем полном бытии. Через живописное, т. е. через цвет, супрематизм хочет выявить на холсте именно это бытие. Можно различать 3 стадии в супрематизме: статический супрематизм 14-15 гг., основанный на 3-х основных элементах: квадрате, круге и кресте, и на цветовых вариациях. Эти формы не аналогичны формам, существующим в природе, это прорыв небытия, это неинформирующие элементы. До какой степени имела значение для Малевича буддистская мистика, очень трудно сказать. Но, может быть, есть и здесь конвергенция, поскольку мистический опыт может порождать в разных географических пунктах и в разное время аналогичные феномены. Известно, что в японском буддизме Зен молитва выражается живописью, где часто встречается такая же знаковая система минимальных геометрических форм. Тексты Малевича

 10. Многие из слушателей моего доклада в Беркли увидели в этом философском направлении супрематизма противоречие с прежней борьбой Малевича и искусства XX-го в. против всех элементов, чуждых живописному как таковому, в том числе против "мистического" и "философского" элементов в символистском искусстве или в модерн-стиле. Этим слушателям показалось, что Малевич ввел философию в живопись после того, как он сам был противником подобных шедений. Здесь никакого противоречия, по моему, нет, ибо Малевич всегда выступал против иллюстративности искусства. Живопись для него не может быть иллюстрацией литературных, исторических, бытовых или философских тем. Живопись, это выявление живописного как такового, и супрематическое открытие в том, что живописное как таковое — это выявление мира как беспредметного. Следовательно, мы имеем здесь дело с живописью в философском смысле или с философией в живописном действии, но не с живописью на философскую тему.

указывают тоже на мистический процесс, аналогичный исихазму, когда постепенной молитвой весь предметный мир исчезает, все тело становится пустыней, наполненной единственным светом Божьего имени.

После Черного квадрата, — уничтожения всего предметного — Малевич в 15-16 гг. переходит к динамическому супрематизму, где он выявляет все цветовые возможности бесконечного. Ни в коем случае гамма цветов не имеет здесь символического значения как в иконописи или у Кандинского. Для Малевича в бесконечном беспредметном бытии есть 2 лишь цвета, черный и белый. Другие цвета только эманации этих цветовых и световых полюсов. Живопись становится в супрематизме цветописью.

Эта цветопись завершается в 17-18 гг. в белом супрематизме, знаменитым образцом которого является "Белый квадрат на белом фоне". Здесь торжество того, что Малевич называет "освобожденным ничто". "Освобожденное ничто" — это бездна бытия, скрытого Бога, в кот. сгорают все формы. Ощущение этой беспредметной бездны Малевич хотел выявить в своем белом супрематизме. Это, может быть, конец живописи как станковизма, но это не конец живописного как такового, а его торжество. Дойдя до беспредметной бездны, очистив себя от хлама предметности, живописное может преобразить всю человеческую жизнь. Супрематизм не ограничивается преобразованием живописи, он хочет преобразить и экономику, и политику, и культуру, и религию. Супрематизм не гуманизм. Это не торжество человека как центра вселенной, как предмета центробежного или центростремительного видения, а торжество "освобожденного ничто". В свете этой новой перспективы должен строиться мир. И мир строится в муках, т. к. предметное сопротивляется. Поступь мира к своему освобождению от предметной тяжести постоянно в конфликте с антропоморфизмом и с потребностью удобно устроить жизнь.

Живопись в философском действии Малевича является феноменологией в смысле Хайдеггера, т.е. расшифровкой сущего в своем бытии.

И. Маркадэ

Л. ТОЛСТОЙ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ

*Графине Александре Львовне Толстой позволю
себе посвятить эту работу*

Ономатопейя или звукоподражание в художественном¹ творчестве Л. Толстого очень богато представлена. Вообще большие писатели и особенно поэты, будь то Державин или Пушкин, Лермонтов или Бальмонт, часто пользовались звукоподражательными словами и словосочетаниями: "...Гул глухой в глуши гудет". /Державин/, "Шипенье пенистых бокалов", "Как будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье" /Пушкин/ и т. п.

В конце XIX и начале XX века некоторые лингвисты и филологи пытались объяснить и неудачно, происхождение человеческой речи из звукоподражания — эхоизма. Вероятно последней попыткой "эхоизма" служит "Грамматика Сrp.-Хрв. языка", 1940 г. А. Белича и А. Жежеля, изд. в Белграде. На стр. 23 учебника для первого класса ср. школы объясняется происхождение языка из имитации звуков природы: "грррммм" = гром, "шишш" = шум воды и т. п. А. Белич (1876-1960) известный сербский филолог-лингвист, но к 1940 г. уже теория истоков языка в "эхоизме" давно устарела.

В данном разборе я исключаю междометия чувств² (аа, ах,

1. В полемических сочинениях и в дневниках Т. я не нашел ничего нового по сравнению с художественными произведениями. Лишь в дневнике 1891 г. при описании битвы интересно использованы два звукоподражательных слова: "Ганат за рога, винтят хвост, так что хрустят хрящи."

2. О междометиях см. А. И. Германович "Междометия русского языка". Киев 1966. Но в этой несколько сумбурной работе спутаны частицы и междометия и их функции.

их, ох, ух, яу и т. п.), а равно и неясные звукодействия типа: уси-уси, ну-ну. Привожу из произведений Л. Толстого только ясно имитирующие действия: тьфу, тпруси-тпруси и сходные. Для определения происхождения слова как звукоподражания мною использованы, кроме русского и немецкого этимологического словаря М. Фасмера, словари Преображенского, Даля и труды Бернекера и Ильинского. В случае сомнений ставлю знак /?/. Для сокращения вместо Л. Толстой оставляю Г. Цитирую по двадцатитомному изданию произведений Г. (Москва 1960-1965). — Г. наредкость чуток к звукам, к музыке и ко всякому слуховозрительному явлению. Музыка же овладевает им и многими из его героев. Звуки названы своеобразно и порою символически. "С *жирным хорканьем* и особенным дупелиным *вытуклым звуком*³ крыльев поднялся один дупель."⁴ Закованная тишь зимней ночи прорезается "звеня удаляющимся *густым*⁵ колокольцом." Звук может быть и прозрачен: конь Бедуин "фыркая, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста...По доскам моста раздались *прозрачные* звуки копыт."⁶ Но звук имеет и свет в себе: "Звуки темы /песни/ свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно ясным и успокоительным *светом* вдруг *озаряя* внутренний мир каждого слушателя."⁷ Порою один и тот же звук описан двумя ономатопеическими словами, передающими звучание: "Мимо тебя и *дзанкнет* — прибавил он, обращая внимание на звук близко *прожужжавшего* осколка (снаряда)."⁸ Или еще ярче: "Го, го, го! Ха, ха, ха — ! Ух! ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота..."⁹ Прекрасен и Денисов в лихой гусарской мазурке, когда "пришелкнув шпорами останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами."¹⁰ *Щелк, стук,*

3. Из пук, пукать - звукоподражание.

4. IX, 189.

5. V, 313.

6. IV, 192.

7. III, 36.

8. II, 186.

9. IV, 238.

10. V, 59.

грохот, объединены в танце гусара Васьки Денисова. В "Казаках" Оленин слушает в лесу бег вспугнутого оленя¹¹: "...Страшный *треск* послышался в лесу... Равномерный, быстрый *топот* галопа послышался на мгновение, из *треска* перешел в *гул*, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то. Все дальше и дальше, шире и шире *гудел* бег поднятого оленя." Г. охотник, ловец диких зверей, чего стоит одна охота на волка или медведя, очень был чуток по-охотничьи, ко всякой повадке, шуму, звуку животного: "Кабан стал *отдушаться* и *захрипел...захрюкал*."¹²

Звук, пение, шепот, входят таинственно и властно в судьбу героев писателя. Князь Андрей Болконский, после ранения в живот и переезда в крестьянскую избу, слышит ночью странные звуки, сливающиеся со светом свечи: "И пити-ти, и пити..", и т. д. Петя Ростов слушает в полусне, как казак точит ему саблю. Юноше грезится хор и наступает галлюцинация — он управляет хором, управляет, руководит фугой¹³. "*Ожиг, жиг, жиг, жиг — свистела* натачиваемая сабля...Петя услышал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный торжественно сладкий гимн...". Пете и радостно и страшно было внимать его необычайной красоте. "С торжественно победным маршем сливалась песня и *капли капали* и *вжиг, жиг, жиг...свистела* сабля...". Он и гибнет на следующий день в победной схватке с французами. Знаки судьбы, предчувствие ужасного, сливаются в полубред у Анны Карениной. Она едет в поезде после бала и в дреме управляет образами и звуками сходно Пете Ростову: И были "образы и звуки...Потом что-то срашно *заскрипело* и *застучало*, как будто раздирали кого-то."¹⁴ Это будущая ее гибель под колесами вагона. Околдованность музыкой, бессилие преодолеть ее чары, упоминает Г. и в "Крейцеровой сонате", и в дневниках, но сильнее всего и убедительнее в "Войне и мире". Николай Ростов слушает пение Наташи¹⁵: "Из в улыбку сложенного рта поли-

11. III, 241.

12. X, 152.

13. VII, 169.

14. VIII, 122-123.

15. V, 69-70.

лись звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодными, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать... Какие тут проигрыши и Долохов, и честное слово! Все вздор! ... Звуки независимо от всего в мире и были выше всего в мире. Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым”, думает он слушая пение сестры. Русская лихая народная песня роты солдат так живо, проникновенно и осязаемо пластично описана: “Убедившись, что все глаза устремлены на него (запевалу), он как будто бережно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее: “Ах вы, сени мои, сени! Сени новые мои” — подхватили двадцать голосов, и ложечник,¹⁶ несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед.” Все у Г. исполнено звуками, шумами, шорохами то на Кавказе, то в России: “Оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист” снаряда, и шепот и шуршанье тростника, и шелканье и чуханье соловьев, и крик зайца, и ржанье лошади, мычание коров, бляение овец, и наускивание собак — фью! узи! ноо!. Не забыты и хохот чакалки и бречанье артиллерии. Все движется, брякает, звенит, шумит, клохчет, булькает, квакает, пищит, воет, грохочет, гудит. Страстная любовь к земному, к земле, к цвету, свету, облаку и зверю, к человеку и скоту, грохоту грома и стрекоту птицы, звенит, вопит, ноет, ликует в творчестве Г. Живой-то мир, вещный мир, голосист, а в лесу так часто и щебет, и гул, и голк,¹⁷ визг и вой, рев и шум.¹⁸ — Полезно для понимания всего этого богатства звукоподражаний привести их в алфавитном порядке. Для сокращения статьи я не привожу глаголы со всеми их префиксами типа за, на, про и т.п. Так, напр., “Под носом лодки забурчит вода”,¹⁹ или (народ) “взбуровило совсем... весь взбуровился”,²⁰ идет подбурчать и буровиться; отглагольные образования — бульканье, сопенье и под., сохраняются, равно и пра-

16. Солдат отбивавший такт ударами ложек /род кастаньет/.

17. X, 202.

18. Все звуковые слова здесь взяты из произведений Г.

19. X, 82.

20. VI, 167.

вописание Г., напр., "побултыкать", а не обычное побултыкать.²¹

Конечно, богатство звуковой стороны картины, стиль, нарушены сухим перечнем и разделением слов по алфавиту. Несомненно живее и ярче соединение разных звукослов. Прекрасно, напр.: "*Пуф-пуф* — поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь, и *бум-бум* — подтверждали звуки /пушек/."²² Или: "*Баюкает*, припекает. Сама *кряхтит*, а все поет."²³ Однако, такого рода цитаты удевятерили бы размеры статьи, хотя и следовало бы, как в словаре пушкинских произведений, давать и все формы и страницы, и фразы с употреблением всех форм существительных, глаголов и прочего.

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ПО АЛФАВИТУ

Агу, агу! (звукоподр. междометие), ату, атукать (?), ахнуть.
 Бай-бай-баю, барабан, барабанить, бац!-бац!, баюкать, блясть, болтать (говорить), бормотать, брэнчать, брэнчанье, брэхать (? - лаять), брякать, бряцанье, бряцать, брызгать, брызги, бубен, бубенец, бубенчики, бубулькать (о лягушках), бултыкать, бульканье, булькать. бум-бум!, бурлить (-ворчать), буровить (мутить), бурчать. — Вжикать, вздох, вздыхать, вжинь, визг, визжать, вой, ворчать, вскрик, вскрикивать, всплеск, пеныхнуть, выть. — Гаркать, ги! ги! (-понукание), гик, гиканье, гикать, гм! гм!, гнусить, го! го!, гоготанье, гоготать, греметь, гром, громыханье, (по)громыхивать, грохот, гудеть, гуканье (о пийце), гул, гундосить, гутарить. — "Да" (о звуке колокола), джанкнуть, драм да да дам, дам, дам (о барабанах), дохнуть, дребезжать, дунуть, дуть, дух, дыханье, дыхнуть, дышать. Ёкать (?). — Жужжание, жужжать, журчание, журчать. — Завизжать (о неживом), завывание, завывать, задыхаться, зазвенеть (о пистреле), зазвучать, запыхаться, захлеб, захлебыванье, звенеть, знон, звонок, звук -и, звучать, звякать, зыкаться (- зыкать, злучать, мычать, шуметь). — И пити-пити... и ти-ти... и пити-

21. В случаях, где префикс меняет смысл слова, он входит вместе с глаголом в перечень: дохнуть, задохнуться.

22. VI, 259.

23. X, 143.

пйти-пйти (?). — Калякать, капать, капля-и, кашель, кашлять, кваканье, квакать, квахтать (о курах), квохтать (о пчелах!), колоколес (густой!), крехтать (- кряхтеть), крик, кричать (?), крякать, кряхтение, кряхтеть, кудахтать, куковать (о кукушке), кукушка, кх! кх! кха-кха! — Лай, лаять (?), лепет, лепетание, лопанье (гранат), лопать (- жрать), лопотать (- говорить, болтать), лязг, лязгнуть. — Маслянее (? О звуке), молотить (?), мулявить (- поплескивать, шевелить), мурлыканье, мурлыкать, мурчать, мычанье, мычать. — Ныть (?). — Ооооо! (рыдание), ошмурыгаться (из смурыгать, стираться, обрываться). — Перхать (об овце), пищать, плакать (?), плач (?), плеск, плесканье, плескаться, полосканье, полоскать, порсканье, порскать, порхать (и вспархивать), пришепетывать, прихлебывать (о храпе человека), прру (-стой), пуф-пуф!, пыхать, пыхтеть. — Р-ррр!, рев, реветь, ржанье ржать, ропот, ругательства, ругать (?), рыгать, рыданье, рыдать (?), рюмить (-реветь, плакать). — Сверчок, свист, свистеть, свисток, скрежетать, скрип (и скрип), скрипеть, скрипка, скрипка, смех, сморканье, сморкаться, сопенье, сосать, соска, стон, стонать, стук, стучать. — Тикать (о часах), топать, топот, топотать, топтаться, тордоканье (- крик фазана), тпру!, тпруси-тпруси (корове), трапа-па-тап (звук вальков прачек), трап-та-та-тап (о выстрелах), трах-та-та-тах (о стрельбе), трезвон, трель, треск, трескаться, трескотня, трещать, труба, трубач -и, трубить, тулумбас (из "тулум" -медные тарелки и "бас" - пляс, с персидского), тц!, тцыканье. — Улюлюканье, улюлюкать, уханье, ухать. — "Фр...фр...фыркал князь", фыркание, фыркать. — Ха-ха!, харкать, хлебать, хлипать (всхлипывать), хлопанье, хлопушка, хлопнуть (-плакать), хлюсты (-промасленные тряпочки), хныкать (?), хорканье, хо-хо, хохот, хохотать, храп, храпенье, храпеть, хрип, хрипенье, хрипеть, хрускать, хруст, хрустеть, хрюканье, хрюкать, хрящ. — Цапать ("поцапаться по насесту"). — Чаханье (-шелканье соловьев), чивик! чивик! (о воробьях), чик, чикнуть (-шелкнуть о курках), чиликанье (воробьев), чириканье, чиханье, чихать, чмокание, чмокать, чувывание (о жаворонках). — Шарахаться, шарканье, шаркать, шевелиться (?), шелест, шелестеть, шелыхаться (-шуршать в движении), шепот, шептать, ши!, шикать, шипенье, шипеть, ш-ш-ш-шлеп!, шлепать, шлепаться, шлюпать (о звуке

при извлечении устрицы), шмякать, шум, шуметь, шуршанье, шуршать, шушукать (о камыше). — Щебет, щебетанье, щебетать, шкотать (-трещать, о сороке), шелк, шелкать.

Таким перечнем доказывается присутствие *более чем двести пятидесяти* оноματοпеческих слов в творчестве Г. Если же прибавить междометия чувств, то будет около трехсот, и это минимум 10% словаря говора интеллигентного человека.

Р. Плетнев

ОБ ЭПИГРАФЕ ПОЭМЫ "МЦЫРИ"

(ЛЕРМОНТОВ И ЖОРЖ ЗАНД)

До недавнего времени вопрос об эпитафье "Мцыри" не привлекал специально внимание лермонтоведов. В 1964 г., в юбилейном лермонтовском сборнике появилась статья Н. А. Любович "Мцыри" в идейной борьбе 30-40-х годов", где вопрос этот был поставлен. Исследовательница совершенно справедливо отметила: "Поскольку эпитафья не декоративный элемент, а ключ к содержанию, не следует оставлять без внимания источник, из которого заимствованы эти слова".¹

Первоначально в качестве эпитафьи Лермонтовым была взята французская фраза "On n'a qu'une seule patrie" ("Родина бывает только одна"), густо зачеркнутая в рукописи. Поверх нее написано библейское выражение: "Вкушая, вкусил мало меда, и се аз умираю". I-я книга царств.²

Как объяснить эту замену эпитафьи в рукописи? В первоначальном его варианте была резко выражена центральная тема поэмы, тема родины.³ Мысль о родине "изгрызла" и "сожгла" душу героя. В окончательном варианте скорее подразумевается резкий контраст воли и тюрьмы; подчеркнута кратковременность наслаж-

1. Н. Любович. "Мцыри" в идейной борьбе 30-40-х годов. В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. М., "Наука", 1964, стр. 121.

2. Рук. отдел ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 524, оп. 1, № 13, л. 3.

3. Первоначальный французский эпитафья, выбранный Лермонтовым, отдаленно напоминает знаменитую фразу Ламенне из "Слов верующего" (1833), ставшую крылатой: "Il n'y a d'amis, d'épouses, de pères et de frères que dans la patrie. L'exilé partout est seul" т.е. "Друзья, супруги, отцы и братья — только на родине. Изгнанник повсюду одинок" (Oeuvres complètes de F. de La Mennais. Revues et mises en ordre par l'auteur. t. 2. ("Paroles d'un croyant" (1833), ch. XLI) Bruxelles. 1839, p. 510. Но у французского мыслителя понятие "la patrie" наполнено

дения сладостью свободы — тем самым как бы имеется в виду и душная неволя, из которой вырвался на недолгий срок молодой послушник.

В своей работе о "Мцыри" Д. Е. Максимов подчеркнул, что "пафос поэмы — в поэтизации жизни(...), а не в демонстрации гюрьмы-монастыря" — но здесь же счел нужным заметить, что и монастырскую тему поэт стремился провести — в форме ослабленного, пунктирного лейтмотива — через весь текст поэмы".⁴ Это замечание представляется весьма существенным. Монастырская тема интересовала Лермонтова с юных лет, она отразилась в поэмах "Исповедь" и "Боярин Орша", в юношеском романе "Вадим" (рассказ героя о жизни в монастыре). К 1831 году относится запись Лермонтова: "Написать записки молодого монаха 17-ти лет..." Все это говорит о том, что тема монастыря в "Мцыри" далеко не случайна, и позволяет предполагать, что как-то она повлияла и на выбор эпиграфа.

В указанной статье Н. Любович обратилась к соответствующей главе I-й книги Царств (крайне неточно сославшись на нее — не IV, 148, а 14, 43) и довольно подробно пересказала ее.

Первая книга Царств — одна из наиболее известных книг Ветхого Завета. Она содержит массу ярких эпизодов из времен борьбы израильтян с филистимлянами, многие из которых давно уже стали самостоятельными темами в произведениях мировой литературы и искусства. Вошла в поговорку дружба царевича Ионафана с Давидом. Давид, поражающий Голиафа, всем известен хотя бы по скульптурному изображению Микельанжело. История библейского царя Саула (отца Ионафана) также хорошо известна: Саул у Аэндорской волшебницы, Саул и Давид, своей игрой смиряющий тяжелое душевное состояние царя Израиля. Последний эпизод нашел свое отражение и в творчестве Лермонтова — через посредство Байрона ("Еврейская мелодия", 1836).

Лермонтов хорошо знал ветхозаветную историю и даже специально интересовался некоторыми ее моментами. (Как

христианским смыслом. — "La patrie n'est point ici-bas. l'homme vainement l'y cherche..."; идеальное же отечество героя лермонтовской поэмы имеет вполне земное очертание.

4. Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. М.-Л., "Наука", 1964, стр. 189.

известно, в одном из ранних набросков "Демона" действие происходило во времена пленения евреев в Вавилоне). Но значит ли все это, что эпитафия к "Мцыри" он взял непосредственно из Библии? Контекст, в котором царевич Ионафан произносит слова о меде, никак не связан ни с сюжетом лермонтовской поэмы, ни с ее основным настроением.

Слова Ионафана как это случилось со многими библейскими выражениями — "отделились" от текста Библии, стали крылатым выражением — и в таком виде широко употреблялись в литературе. Лермонтову совсем не нужно было перелистывать Ветхий Завет, чтобы разыскать это выражение. Он мог встретить его у писателей, своих современников. Нам, как кажется, удалось установить источник, из которого Лермонтов заимствовал эту библейскую фразу в качестве эпитафии для своей поэмы.

В конце 1838 года — начале 1839 в парижском журнале "Revue des deux mondes", регулярно получавшемся в России, печатался новый роман Жорж Санд "Спиридион"⁵, в 1839 г. вышедший отдельным изданием. В этом романе из монашеской жизни один из героев произносит библейские слова о меде, ставшие эпитафией "Мцыри".

Роман "Спиридион", стоящий особняком в творчестве Жорж Санд и несколько необычный для нее (достаточно сказать, что на всем его протяжении не только не появляется, но даже не упоминается ни одна женщина!) заключает в себе композиционно несколько сюжетов, "водвинутых" один в другой. Основная его сюжетная рама — рассказ молодого послушника⁶ Анжела,

5. Première partie — 1838, t. XVI, pp. 193-233; Seconde partie pp. 298-332; Troisième partie — ib., pp. 437-475; Quatrième partie — 1839, t. XVII, pp. 35-62; Dernière partie — ib., pp. 204-240. В одном из последующих номеров журнала, в редакционном послесловии к публикации неизданной части романа Ж. Санд "Лелия" говорилось: "Спиридион" представляет собой дополнение "Лелии", и доказывает, что отчаяние не является в глазах автора высшей развязкой всякого дела..." ("Spiridion" est le complément de "Lelia", et donne la preuve que le désespoir n'est pas, aux yeux de l'auteur, le dénouement suprême de toute chose." George Sand. Lelia. Partie inédite. — Revue des deux mondes, 1839, t. 19 (quatrième série) Supplément, p. 869.

6. Послушник по-французски — novice. Так же звучит название лермонтовской поэмы в некоторых ее французских переводах. (И. С. Тургенева — П. Мериме, Луи Поме и др.).

ведущийся от первого лица. Действие происходит в итальянском монастыре⁷, в разгар французской революции. Значительную часть книги — добрых три четверти — занимает история монаха Алексея (также изложенная в форме *Ich Erzählung*), который, в свою очередь, рассказывает не исключительно о себе, но и о жизни основателя монастыря, аббата Геброниуса, или Спиридиона — и его ученика отца Фульгенция. Мы сказали — несколько сюжетов, но это не совсем точно — в центре повествования находятся духовные искания его героев; в романе много рассуждений, он сильно философичен. Это объясняется тем обстоятельством, что в период написания "Спиридиона" Ж. Санд находилась под сильным влиянием мистико-религиозного учения Пьера Леру, которому роман и посвящен.⁸ Идеи французского утописта и проповедника религиозной независимости, воплощенные в исканиях Спиридиона и особенно отца Алексея, составляют основное содержание романа.⁹

Но с этими идеями тесно связана и одна из главных тем романа, являющаяся одновременно и фоном, на котором разворачиваются события. Это — жизнь в монастыре, монастырские обычаи, монастырское воспитание. В изображении монастырской действительности сильно сказалась антиклерикальная, антикатолическая особенно направленность мысли Жорж Санд, которая сама в юности воспитывалась в католическом монастыре, и которая вражду к клерикалам разделяла с французскими утопистами. Эта тема в первую очередь и интере-

7. В первом издании романа действие происходит во францисканском монастыре, в последующих — переносится в монастырь бенедиктинцев, которые большее внимание уделяли библиотекам (см. Annarosa Poli. *L'Italie dans la vie et dans l'oeuvre de George Sand*. Paris, Arman Colin, 1960, p. 198).

8. Владимир Каренин. Жорж Санд. Ее жизнь и произведения, том II. Пгр., ки-во "Прометей", 1916, стр. 207-208, 212. Ср.: Л. П. Гедымин. Социальная проблематика романов Жорж Санд 30-40-х годов XIX века. — Уч. записки Московского гор. пед. института им. В. П. Потемкина. т. I, II. Кафедра зарубежных литератур, вып. 2; 1956, стр. 214.

9. Исследователи считают, что второе издание романа, вышедшее в 1842 г., было в значительной части переделано и дополнено самим П. Леру. См., напр., George Sand. *Etude bibliographique sur ses oeuvres*. Par le Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul. Paris, 1914, p. 17; E. W. Schermerhorn. *The seven strings of the lyre. The life of G. Sand. 1804-1876*. London, 1927, p. 150.

сует нас в романе. Обратимся непосредственно к его содержанию.

Начинается роман следующим образом: "Когда я стал послушником в монастыре францисканцев, мне было полных 16 лет. Мой характер, мягкий и робкий, кажется, возбуждал вначале доверие и привязанность, но вскоре я не мог не заметить, как благорасположение братьев обратилось в холодность. Отец казначей, единственный, кто сохранил ко мне какое-то участие, несколько раз отводил меня в сторону, чтобы тихонько сказать мне: если я не буду внимательным к себе, я навлеку на себя немилость настоятеля.

Тщетно я умолял его объяснить мне, в чем дело; он приложил палец к губам и, удаляясь с таинственным видом, вместо всяких объяснений добавил: "Вы сами хорошо знаете, сын мой, что я хотел сказать".

Напрасно я искал, в чем мое преступление. После самого тщательного исследования я был не в состоянии открыть вину достаточно серьезную, которая заслуживала бы наказания. Проходили недели, месяцы, а молчаливое неодобрение, тяготевшее надо мной, нисколько не смягчалось. Тщетно удвоил я усердие и рвение, тщетно следил за каждым своим словом, за каждой мыслью; тщетно был я самым прилежным на службах и самым старательным в работе; я видел, как с каждым днем одиночество расширяет круг возле меня..."

Анжела окружает молчаливая враждебность обитателей монастыря. С ним не разговаривают, к нему стараются не прикасаться даже краем одежды, его избегают как прокаженного. Анжель теряется в догадках, не в силах объяснить себе происходящее. В своем сердце он не находит ни одной грешной мысли, он весь исполнен страстной веры и горячей любви. Измученный, обращается он к своему духовнику и у его ног изливает горькие недоумения. Тот приказывает ему открыться и обнаружить готовность к полному подчинению. Когда ничего не понимающий юноша говорит, что он откровенен, ничего не утаил, духовный наставник отталкивает его, называя презренным грешником, которого ожидает суровое Божье наказание.

Во время этих тяжелых испытаний и нравственных унижений Анжель сходитя с отцом Алексеем. Этот странный монах живет в монастыре на особом положении, почти все свое время он прово-

лит за книгами в своей обсерватории. "Он жил отчасти в миру, поглощенный своими учеными занятиями. Не знаю, был ли он набожным или безразличным к религии; он говорил всегда только о внешнем, видимом мире и, казалось, не очень заботился об ином. Никто не говорил о нем ничего дурного, равно как и хорошего; и когда послушники позволяли себе какие-то замечания на его счет или спрашивали что-то о нем, монахи суровым тоном принуждали их к молчанию".

Анжель решает обратиться со своими недоумениями и страданиями к этому человеку, надеясь у него найти объяснение происходящему. Но отец Алексей приходит в бешенство, заподозрив в молодом послушнике шпиона, подосланного к нему его давним врагом — настоятелем. Чувствуя, что он теряет последнюю надежду, Анжель заливается слезами. Это зрелище трогает сердце сурового монаха-отшельника. "Когда я открыл ему всю мою душу, я рассказал ему о той мучительной тревоге, которая не оставляла меня с тех пор, как меня лишили помощи исповеди, я заверял его в моей невинности, моих добрых намерениях, моем терпении, и горько сетовал на отсутствие хотя бы единственного друга, который мог бы меня утешить и укрепить в этих испытаниях, превышавших мои силы". Слушая его, старый монах качает головой и бормочет про себя о "жертве невежества и обмана". В ответ на страстные признания Анжеля, уверяющего его в чистоте своих помыслов и стремлений, отец Алексей произносит: "*Gustavi paululum mellis et esse nunc magior*", т. е. в переводе с латинского на старославянский: Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.

Пояснение этому библейскому выражению дает сам отец Алексей здесь же: "Вы заблуждаетесь, — сказал он, — если вы хотите быть монахом, если вы хотите жить в монастыре, следует изменить все ваши представления: иначе вы умрете!" Т. е. в монастыре нет места чистой душе, ревностно стремящейся к свету истины; неизбежное разочарование рано или поздно постигнет того, кто думал найти здесь святость и верное служение сверхличным ценностям. Вечное притворство, ханжеское лицемерие и страх — это "первоначальные элементы монашеского воспитания".

Отец Алексей обращается к Анжелю с длинным монологом, обличающим порядки католического монастыря: "...Я хочу дать

тебе совет, чтобы смягчить горечь твоего положения. Я знаю, почему монахи с непрекращающейся злобой относятся к тебе. И здесь, как и везде, они боятся духа справедливости и естественной прямоты. Они чувствуют в тебе человека сердца, чувствительного к обидам, сочувствующего страданиям, врага необузданных и низких страстей. Они чувствуют, что в таком человеке они найдут не сообщника, а судью; и они хотят сделать из тебя то, что они сделали из всех тех, чья добродетель их пугала или чье чистосердечие их стесняло. Они хотят притупить, изгладить в тебе преследованиями всякое понятие справедливого и несправедливого, ослабить бесполезными страданиями всяческую благородную энергию. Они хотят посредством тайного и гнусного заговора, посредством загадок без слов и наказаний без цели приучить тебя жить, не любя и не уважая самого себя, лишенного сочувствия, потерявшего всякое доверие, презиращего всякую дружбу. Они хотят заставить тебя разочароваться в доброте учителя, почувствовать отвращение к молитве, принудить лгать или предавать твоих братьев на исповеди, показывать себя завистливым, притворщиком, сплетником, доносчиком. Они хотят довести тебя до извращенной тупости и низости. Они хотят внушить тебе, что первое из благ — невоздержанность и праздность, что для того, чтобы быть в мире, необходимо все унижать, всем жертвовать, лишать всякое воспоминание величия, убивать всякий благородный инстинкт. Они хотят воспитать в тебе лицемерную злобу, пассивную мстительность, трусость и жестокость. Они хотят, чтобы душа умерла, *вкусив меда...* (выд. мною — Е. В.); одним словом, они хотят сделать из тебя монаха...".

В этом страстном монологе, обрушившемся на самые основы глубоко порочного, по мнению Ж. Санд, монастырского воспитания, сказывается весь отец Алексей — который сам признается, что он монах только по своему одеянию, но не по духу. Недаром Анжель говорит о нем: "Отец Алексей не казался мне верующим в бога исключительно по законам христианской церкви". Он сам прошёл тяжелый путь сомнений, горьких разочарований: ему хорошо знакомы пламенные устремления молодости. Вспоминая один из моментов своего духовного кризиса, отец Алексей рассказывает: "Забыв тогда, что я был монахом и что я решил остаться монахом, я почувствовал себя человеком, и человеком —

исполненным энергии и страстей; я помыслил тогда, что может быть жизнь действия (*la vie d'action*) и, отбросив сомнения, я почувствовал себя вспыльчивым как школьник (*un jeune animal*)..."¹⁰

В романе Жорж Санд есть целый ряд таких мест, которые эмоционально созвучны настроению лермонтовской поэмы, и которые неизбежно должны были привлечь внимание русского поэта—читателя "Спиридиона".¹¹

Но мы хотим особенно подчеркнуть, что сделанное нами наблюдение не позволяет ставить вопрос о "влиянии" "Спиридиона" на "Мцыри". Эти два произведения слишком различны. Герои их слишком непохожи один на другого. Правда, у Ж. Санд отец Алексей предупреждает Анжеля: "Берегись, однако, вернуться в мир, ибо ты — слабое дитя, и если порыв страстей дохнет на тебя, он загасит пламя твоего разума" — и это как бы намекает на судьбу лермонтовского героя. Но сам Анжель жалуется на свой слабый характер, робость духа. Если Мцыри — несь мятежный порыв к свободе, рвущийся

От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы, —

Анжель, жалуясь на жестокое и несправедливое обращение с ним в монастыре, говорит, тем не менее: "Во мне было слишком много веры в мое призвание, чтобы я мог подумать о бунте или бегстве. Я принимал все эти унижения, несправедливости и свою заброшенность как испытание, посланное небом, и как случай для того, чтобы отличиться".

И, однако, при всем внешнем несходстве, герои "Спиридиона" — с их напряженными духовными исканиями — внутренне

10. pp. 358-359.

11. Таково любопытное замечание о том, что отец Алексей предопределение *la fatalité* "понимал на манер мусульман" (p. 63). В роман вставлен эпизод о "молодом корсиканце", оказавшемся случайным гостем монастыря, в котором легко угадывается Наполеон. Отношение к нему героя романа — восторженное, близкое по духу Лермонтову: "Его богом была воля, его идеалом — власть, сгихией его жизни — сила" (p. 364).

близки мятежному, также ищущему пути¹² герою поэмы Лермонтова. Этот роман мог заинтересовать Лермонтова и своим антиклерикальным пафосом, и обличением монастырских порядков. Обращает на себя внимание также сходство формы повествования в этих двух произведениях — от первого лица.

Произведения Жорж Санд широко стали известны в России уже в 30-е годы.¹³ О них часто писалось в журналах, их переводили. У Лермонтова, во втором действии "Маскарада" (1835) баронесса Штраль произносит целый монолог в духе "Жорж-Занда" и с упоминанием имени автора "Лелии".

Роман "Спиридион" на русский язык переведен не был ни в 30-е годы, ни позже, но это не препятствовало тому, что он хорошо был известен в России. А. И. Герцен писал Н. Х. Кетчеру из владимирской ссылки (7 февраля 1839 г.):

"...много очень странных явлений на белом свете, к ним принадлежит современное состояние французской литературы. Во всем множестве выходящих книг ужасная пустота, я разлюбил даже Гюго, одна G. Sand растет талантом, взглядом, формой (попроси для меня у Катерины Гавриловны I № "Revue des deux mondes", там оканчание "Spiridion")."¹⁴

Современник Лермонтова В. С. Печерин, близкий ему по духу, вспоминая свою юность, писал уже в 60-х годах племяннику: "Хотелось бы мне, чтобы ты как-нибудь прочел "Спиридиона" ("Spiridion") Жорж Занда: там ты найдешь историю моей монастырской жизни: я тогда еще ее предчувствовал. Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее..."¹⁵

Очень интересовался "Спиридионом" Ж. Санд кн. В. Ф. Одоевский, с которым как раз в это время особенно сблизился Лермон-

12. Эта важнейшая мысль лермонтовской поэмы убедительно раскрыта в цитированном уже исследовании Д. Е. Максимова ("Поэзия Лермонтова", стр. 219).

13. См.: Вл. Ф. Боцяновский. Жорж Занд в России. Историко-литературная справка. Новый журнал иностранной литературы, 1899, №4, стр. 2-5; М. Елизава. Ж. Занд в русской критике и литературе. — Уч. записки Московского гос. пед. ин-та им. Ленина, т. XXXI, вып. V, 1941, стр. 47.

14. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, М., т. XXII, стр. 10.

15. В. С. Печерин. Замогильные записки. М., Мир, 1932, стр. III.

тов. Известно, что 27 февраля 1839 года А. Башуцкий послал ему этот роман, который он хотел иметь у себя.¹⁶

Наличие довольно широкого круга русских читателей "Спиридиона" (в числе их находим и близкого Лермонтову В. Ф. Одоевского¹⁷) подтверждает нашу гипотезу о знакомстве Лермонтова с этим романом Ж. Санд, и о том, что он использовал в качестве эпиграфа своей поэмы приведенную в нем библейскую цитату. Тот факт, что у Ж. Санд эта фраза приведена на латинском языке, а у Лермонтова — на старославянском, может служить дополнительным доказательством и укрепляет нашу уверенность.

Чрезвычайно важная для исследователей творчества автора "Мцыри" тема "Лермонтов и Жорж Санд" ждет своего дальнейшего изучения.

Е. А. Вагин

16. П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. т. I, ч. II. М., стр. 374 (полстрочн. примечание).

17. Любопытно, что единственная дошедшая до нас записка В. Ф. Одоевского Лермонтову (в которой он сообщает о том, что привез ему "два издания" — какие именно, точно неизвестно) нацарапана как раз на последнем листе чернового автографа "Мцыри". (Рук. отдел ИРЛИ (Пушкинский дом), АН СССР, ф. 524, оп. 1, № 13, л. 14).

ПИСЬМА В. В. РОЗАНОВА

ПИСЬМО В. С. СОЛОВЬЕВУ

Добрый мой Владимир Сергеевич! Вот когда — только когда! — прочел I и VII гл. Вашего "Оправдания добра", и просмотрел все остальные, т. е. план, и останавливаясь особенно везде на анализе стыда и даже мимолетных замечках о браке (моя тема, т. е. размышлений). Знаете, эта тема, т. е. Вашей книги, требовала бы большей pietas, pietas в тоне, изложении, т. е. не допускать нигде и никакой иронии (у Вас — к Шопенгауэру, Ницше, толстовцам — "бродячим праведникам"). Но Вы без шуток не можете, это уже очевидно Ваша природа, и конечно хорошо, что Вы ее нигде не скрываете, хотя в данном случае это помешало теме. Много я прочел — для себя мучительного, напр., ограничение значения традиции (в Предисл.); много поразительно сильного в аргументации: особенно где Вы находите общую ошибку у традиционалистов (я + Тихом.) и толстовцев и говорите, что нужно любить добро в себе самом, его познавать, к нему (неразб. — усиливаться? Д. П.). Но как это трудно, и вот ищешь авторитета: тут может быть я и погрешаю, но погрешаю слабою формою греха, неумелостью выбора. А неумелость — это не Содом, за который "сера льющая" — на голову.

Но вот стыд: повторяю, это моя тема. Представьте, никогда полового стыда я не испытывал. Просто считаю это предметом

Мы печатаем письма В. В. Розанова из архива доктора А. Аронсона, за что приносим ему нашу сердечную благодарность. Публикация проф. Д. Перчонка.

В этой книге мы печатаем письма В. В. к В. С. Соловьеву по поводу "Оправдания добра" и выдержки писем В. В. к А. С. Суворину. В след. книгах мы дадим письма В. В. к Измайлову, Рачинскому, Л. Гуревич и др. РЕД.

гордости. Пишу об этом и готов печатно признаться. Что "habio" (знаете шутку: "Papa nova habet ova") — это составляет для меня предмет даже тщеславия, как бы бабьего, и гораздо более серьезный, чем все мои сочинения. Не могу забыть Моисея: "Скопец и каженник в сонм господен да не входит". Если я человек, то не потому что "je pense donc je suis", но потому что "habeo". Позорно? Но я горжусь! — Что же, я проклят, скотоподобен? "Ни", как говорит Третий Иванович язвительно в предисловии к знаменитому "Сборнику"; "ни", повторяю, но и прямо чувствую в себе Бога. Просто весел, и главным образом "ovis", т. е. тем, что Бог милосердный меня не оставил, но как всякой былинке в поле — вот "дал". Если он мне дал также и 'мысль, то ведь она еще заблуждается, и даже Аристотель исчислил формы заблуждений мысли; легкие, сердце — так себе в значении. Но ova — вот это многозначительно и, главное, совсем не умеет лгать: правдивость genitaliй — поразительно! И никто не дерзнет сказать, чтобы это была правдивость пустого, малоценного, несущегося ветра, который пронесся и нет его...

Но "аще бы и книгу написал" об этом, всего бы не исписал. Принялся мне в книге Вашей, и также в предисловии к "Нрав. основам жизни" — что Вы все более уважаете народное, простое, историческое, все более скидываете с себя интеллигентных одежд (сравниваю мысленно с "Критикою отвлеченных начал"). Человек конечно важнее писателя, а писатель может быть велик только когда под ним великий и большой человек. В стремлении к правде, в усилении к простому благочестию, прямо в боязни шиканить в сортир тот кусок газеты, где есть известие о похоронах — ценнее поэтических страниц книги, ибо есть уже хорошая страница прожитой жизни.

Ну, голубчик, устал безмерно; устал постоянно, всегда. От философии я должно быть давно отошел, п. ч. чистые вопросы, чувствую, меня вовсе не занимают. Пришел только в *старый* острог, прочтя у Вас в примечании о врожденности идей, т. е. психологию со врожденными позывами и способностями инстинктивизма (напр. к еде). Вот то, что можно назвать гениальным в простоте выражения, при несокрушимости аргумента. И начал книгу "О понимании", в сущности безмолвно оспаривая

проф. М. М. Гроицкого и его вечное Бэкониянство; книга эта в коренной мысли своей причина не "чистого", но бестолкового "разума" моего профессора. Я думаю, она покажется Вам совершенно неудовлетворительною по очевидному недостатку у меня сведений по истории философии; и Вы прочтете ее просто как первый труд, как "первую" — самую, правда, чистую "любовь" своего знакомца. Может и напишете мне что-нибудь; только *очень* не браните: просто я равнодушен к той книге, как во-первых, "первой любви", а во-вторых безмерно дорого она мне стоила, т. е. труда и даже денег (1000 руб. я копил все время, как писал).

*

"Где религия истиннее, которой исповедники нравственнее" (см. Введение). Это ужасно ослабляет и понижает понятие религии. "Сила Божия в немощах сказывается"; "Где грех преизбыточествует там преизбыточествует благодать" (приблизительно). Для внешнего наблюдателя открыты "немощь", "грех" — и он не замечал "Силы Божией" и "благодати" — проклинаят и, так сказать, пердит в лужу. Петр отрекся от Спасителя: разве это не поразительно: от Бога уже виденного и ошупанного руками — отперся: как не отпереться Вольтеру и "даме приятной во всех отношениях", когда "все так говорят". Вот до чего слабость человеческая доходит. Мария Египетская — спаслась, а весьма и весьма "благочестивый" "богатый юноша" "отпущен" Спасителем со словами: "Грудно таковым войти в Царство Небесное". Религия "добрых нравов" вводит понятие "снобизма" в религию. Но, опять — всего не договоришь. Мне кажется в словах Псалма: "Грех мой предо мною есть" дана, до известной степени, мера доступной человеку религиозности: *вечное покаяние*. Разве Бейль не был прав в Dict. Lit. et Crit., написав, что с обыкновенной точки зрения — "Давид не только не праведник, но и является уголовным преступником, но по Библии etc.". Этот вот рационализм Бейля и есть полный дефект религиозного понимания. Религия вся в грехе копается, грех преодолевает, из греха сияет. "Погибших овец дома Израилева пришел взыскать" Спаситель. Вообще связь между грехом и

благом более глубока, и, так сказать, не механическая только, не связь предмета и тени, черного, без коего не было бы и белого, но *органическая, живая*. Тут правда мы входим в бездны самого Божества... И опять всего не испишешь.

Никогда я Вас не спрашивал, читали ли Вы мою статью (есть оттиск, и даже у Суворина — "Что выражает собою красота в природе", представляющий критику Вашего взгляда на тот же предмет). Очень плохо (вяло) написана, но нить восхождений мне кажется там правильно прослежена. Говорю это, прочитав Ваши рассуждения в VII гл. о восхождениях царств. Тут я вполне с Вами согласен. "Эволюция есть факт" — это у Вас хорошо. Вообще не нужно ни на минуту, религиозно мысля "отметать факты", или "бороться" с наукою. Но я верю, наука — только поплавок в океане боговедения. Ну, устал.

Ваш В. Розанов.

Не может ли кн. С. Грубецкой в вознаграждение за то, что ругал меня — дать наконец мне прочесть дельное им написанное — "Метафизику в древней Греции".

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ А. С. СУВОРИНУ

(1899 г.?)

Не знаю, как Бога благодарить, и какое горячее сказать Вам спасибо за устроение меня в "Нов. Вр". Ведь я все нервы вымотал с большой семьей на 150 руб. жалованья, когда эти самые "150 р." получал одинокий, в уездном городе, в I-й год госуларств. службы.

Время красивое и живучее (60-70 гг. — Д. П.). Теперь — много скучнее жить. Теперь все пошло в *отстой*: точно наливка: на солнце у трудолюбивой хозяйки: "пускай матушка постоит". Да, совсем другое время, признаюсь, мне не особенно по сердцу. (1900 г.)

Под беллетристическим фельетоном "Декаденты" я вставил другой псевдоним *Старый Провинциал* взамен не нравящегося мне "Ибиса".

(1900 г. №14)

Я почти не пишу частных писем: просто не могу; в статью —

заиграет мысль, и забываешься. А вообще чернильница Горгона для писателя. И рожа у ней черная, скверная. (1901 г. №19, в Вене)

Гражд. брак и даже смешан. браки между евреями и христианами, без перехода еврея-жениха или еврейки-невесты в христианство. В Риме — упразднена уличн. проституция, и — тоже гражд. брак. У нас семью так охраняют, а ее почти нет; там почти разрушилась "христ. семья", а между тем только очистились уличные нравы.

Таким образом, нужно добиваться не свободной любви, но чтобы брак был фактически любящим и основывался на фактах любви...

От чего зависит серьезность семейных, да и всяких нравов? От серьезн. настроения человека. Но довольно справедливо можно сказать, что где чувство Бога — там и серьезность. А где оно, это чувство, в ком? Времена изменчивы, и есть целые поколения безрелигиозные и целые поколения религиозные... Вечно в человеке чувство Бога. Да отчего оно вечно? А оттого — что рождаемся. Откуда-то что-то такое идет, от звезд ли, но кажется более всего от смерти и рождения, но в силу чего мы ощущаем Бога. Бог в нас как искра в камне. Ударило событие — и мы верим, а еще вчера смеялись и нам казалось, что никогда не поверим. Так что страх перед развращенностью людской мне кажется неосновательным. Ведь ничто так не надоедает скоро как разврат: посмотрите, люди 60х годов, как они тихо сидят, и отличные теперь семьянины, и есть даже верующие. А уж кажется, та эпоха совсем покончила и с семьей, и с Богом.

Важно, чтобы семейных людей судили семейные. Ну, образуйте параллельно аскетическому Синоду из протопресвитеров Синод...

Генрих VIII из-за Анны Болейн потрянул католицизм в Англии; мудрые "как змеи" не оценили все-таки урока. Поразительно, что в сфере брака — первые христ. богословы путаются и перестают что-нибудь понимать: Папа проклял Генриха VIII, назвав развратником; он назвал таким же именем и Лютера, женившегося на монахини. Но в воздухе напрасно прозвучали эти проклятия...

Все попытки связать брак с христианством ни к чему не

ведут, не искренни и разрушительны как для христианства, так и для брака. Брак они — оскотворяют; а не выходит этого-то они опотворяют (пол) христианство...

Где же спасение, т.е. поэзия и религия семейной жизни. Выйдя из-под папы и попав в руки гражд. чиновников он (брак) уже начал воскресать. Но есть путь дальше. Какой? Да по точному учению Церкви Иисус есть вторая Ипостась. Второе Лицо. Есть Первое, "Отец-Бог", и еще третье — "Дух Святой". Вот где спасение.

Что мы о них знаем? Где мы их видим? Как мы их чувствуем? Никак. Нигде. Ничего. Бог-Отец-Старец на потолке церкви. Да почему по крайней мере "старец". Он — Стар, "Ветхий деньми", "седяй на херувимах". Старое мира, древнее мира. Где оно? В чем? Да вот образ-пень, из которого вырос зеленый пруттик. Всякое "вчера" есть Бог-Отец каждого сегодня. Преемство времени, поток времени, из дня рождается ночь — из ночи день. (Дальше говорится о том, что Бог-Отец рождает, и что нельзя "все в мире отнести к Иисусу", а Бога-Отца рисовать почему-то старым. Д.П.) Как и о Св. Духе ничего не можем, кроме как нарисовать его в виде "голубя". Не много же... Возвращаясь к Отцу, мы нимало не погрешаем, не выходим из пределов Символа Никейского, и вместе в нас как будто начинает оживать весь древний мир. Вот отчего вопрос о браке, — великий мировой вопрос. В нем начало прозрения на истину иудейства (весь Израиль спасется — слова ап. Павла), на вечность Эллады, на ограничение Европы, которая знала Сына, но отторгнута и от Отца и от Св. Духа.

Не в мои 48 лет и при довольно скромном характере (и вовсе остывших страстях — между нами) заниматься "своб. любовью". Не знал этого в молодости, а теперь и Бог не велел. Ни одной девушки в жизни я не обидел. Государству детей своих на воспитание не сдавал. Но верьте же — тот вопрос мировой. Сказать, что христианство не девственно, значит, потрясти христианство, значит, сразу и одним словом погнать и папство и всех монахов и весь строй церкви — вон. Нет, оно девственно. А тогда, все остается на месте. Но брак как же, и он девственен? Ни один папа этого не скажет, этому засмеются куры. Но он говорит: "Мой — брак. Я — венчаю". Тут-то и начинается огра-

ничение, введение монашества в его естеств. границы. "Никаких вы этих венчать не можете, это уже не ваше, вовсе это не христианское, но не тревожьтесь, и не волнуйтесь — это просто религия Бога-Отца, которого и вы чтите, но не полно и не умело, и вот вам предстоит около себя допустить развиваться второй, Отчей, Апокалиптической церкви, которую Иоанн Богослов предсказал в заключении своего Откровения, и назвал ее "новым Иерусалимом, сходящим с небес". Но что это такое, но как она устроится — это не в первые же ее минуты решать. Будут другие, будут сильные".

(Подлинник этого письма в Рукоп. отдел. Рос. Публ. б-ки в Ленинграде, Д.П.)

(1898 г.)

Крадущийся и недоговаривающийся тон фельетона о Толстом выходит из опасности (даже от цензуры) темы. Вы знаете, что я очень (всегда был) религиозен и по сие время через 1 - 2 недели бываю у себя в приходской церкви; вообще люблю все церковное: итак, это не есть ни легкомыслие во мне, ни преднамеренная и тенденциозная враждебность к установлениям церкви, если я скажу, что в христианстве есть *неполнота*, и в таком пункте, что лишает его силы и даже надежды когда-либо овладеть жизнью. Эта неполнота и лежит в воззрении на семью и брак...

Спасаться не только можно, но и преимущественно можно "друг с другом", "вместе", "репка за репку": с детишками и "потрохами". Меняется теизм и меняется культура. Но я пытаюсь в самом христ-ве найти для этого зацепку: это — Вифлеем, который (как и все в существе таинства) нисколько не разработан в церкви.

(1901 г.)

...Да, если бы больше простора, просто физического, бумажного: я бы мало-по-малу заново поставил вопрос об отношении к католицизму. Ведь мы как решали?

1. Вечная вражда. Ну, что же, сиди и грызи ногти — ничего не получится. Это = 0.

2. Примирение, как отречение католичества от папства и

слияние с нами в качестве простого епископства. Да как же, когда папы *сделали католичество*? Ну, как вы будете мириться с Россией, *исключая из нее Рус. Государя*? Невозможно. Пустые разговоры. Пустые надежды.

3. Примирение как отречение от православия (Вл. Соловьев). Да, но разве можно убить *добрый русский дух*, отразившийся многими добрыми и простыми и мудрыми чертами и на православии. Несправедливо.

Итак, в отношении к католичеству мы до сих пор доработались до 0, *невозможного и несправедливого*.

Мы уткнулись носом в *filioque* и папство, т.е. в непонятную словесную прибавку и в зависть наших архиереев к римск. архиерею, который "обошел их чином" — и тронуться с места не можем. А что за дело русск. народу и до *filioque*, и до зависти наших архиереев? Католичество — великая культурная сила, вот чего нам терять из виду нельзя...

(...) Без Платона и Еврипида не обходился еще ни один народ. Отрицать вовсе *солидарность* народов — невозможно. Дойдем до самого кущего и тупоумного руссизма.

(Конец 1903 г.?)

(Жалобы Розанова на преследования со стороны ред. "Нов. Ирем." Булгакова). Я до последней степени не только измучен, но и оскорблен: он говорит и поступает со мною как Андрей с подручными сторожами. Вы сделали бы большую милость Меньшикову, став в непосредственное к нему отношение, без посредства Булгакова. Прошу и умоляю Вас не отказать мне в этом. Лопнули силы. И зная мою молчаливость он (Булгаков) точно за всех на мне вымещает, совершенно крича, как сторож на сторожей. Не в силах и не в силах больше терпеть. Простите.

(1904)

В разные времена своей жизни я верил или пытался верить в разн. стороны нашей жизни: то в государство, то в церковь. А кончил, казалось бы, самой вульгарной верой — в литературу. Главное тут меня трогает ее *старательность*: чего-чего она *ни видит*, о чем только — ни заботится. Это в сущности превосходный штат не нанятых чиновников.

(1909 г.?)

Не откажитесь мне прибавить жалованье: теперь я получаю 350 р. в м-ц, а мне хотелось бы получать 500 руб.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ А. А. ВЫРУБОВОЙ

Предисловие

Первую книгу воспоминаний я написала сразу же после бегства из России под непосредственным впечатлением всего пережитого. (Писать было трудно: правда была так далека от того, что появилось в печати большинства стран и что, в сущности, было лживой и клеветнической пропагандой.) В течение семнадцати лет у меня были и время и возможность обдумать всё прошедшее перед моими глазами.

Думаю, много еще будет написано, много историков еще будет изучать жизнь царской семьи; мой же долг — еще раз запечатлеть светлое воспоминание о жизни вблизи семьи покойного Государя, воспоминание, которое навсегда останется со мною.

Мою первую книгу ("Memories of the Russian Court", The Macmillan Co, N-Y., 1923, p. 400) постигли различные судьбы в различных странах. Сейчас этой книги уже нет. Она далеко не везде была желанной, и у многих могли быть основания к тому, чтобы последние экземпляры ее не могли быть найдены.

Эти воспоминания покойной А. А. Вырубовой были написаны по-английски в 1937 г. и никогда опубликованы не были. Мы печатаем их в переводе на русский, сделанном К.Г. Линтваревой, с любезного разрешения Г. И. Ганеевой, за что приносим ей нашу большую благодарность. Право печатания этих воспоминаний по-английски и на всех других языках, а также право перепечатки настоящего русского текста принадлежит исключительно Г. И. Ганеевой. Считаю эти воспоминания А. А. Вырубовой документом исторической ценности мы печатаем их без сокращений, изменений и примечаний. РЕД.

Copyright by T. Taneyew, New-York, 1978.

Все те, кто читал мою первую книгу знают, что она не была сенсационной. Такой же будет и эта, вторая.

Кое-что из того, что было рассказано в первой книге, будет повторено и в этой. Я писала о моей семье, традиции которой были тесно связаны с жизнью и традициями царствующего дома.

Жизнь во дворце тесно переплетается с жизнью моей семьи. Всё то, чего я сама не помню, я много раз слышала от моей дорогой матери, с которой я прожила семнадцать лет в этой любимой нами Финляндии до самой смерти матери в прошлом году. Финляндия стала нам родной. Здесь мы жили тихо и спокойно после всех страданий, перенесенных на родине.

Я была бы счастлива, если написанное мною будет полезно историкам для правильного понимания характера нашей несчастной Императрицы. Записанную мною правду подтверждают фотографии, которые мне посчастливилось сделать живя при Дворе.

Эту книгу я посвящаю моим дорогим благородным финляндским друзьям.

Юность и воспитание

В наши дни дети всех слоев общества посещают школы. Полстолетия тому назад домашнее обучение было обычным почти во всех странах. В те дни, когда приближался мой "школьный возраст", много девочек учились дома с гувернантками.

Гувернантку взяли и для меня. Мисс Андерсон, англичанку. Это была настоящая, типичная гувернантка; она хорошо знала свои обязанности: под ее наблюдением выросли и моя мать и моя тетя.

Она была настоящей учительницей; от нее мы почерпнули первые наши знания; она наблюдала за нашим поведением, она заботилась о том, чтобы наши манеры были безупречны. Когда мы начали увлекаться чтением романов, она безжалостно изъела всю нежелательную литературу. Она предупреждала все возможные встречи с другим полом.

Моя младшая сестра часто дразнила ее. Она, бывало, подкрадывалась к телефону (хорошо зная, что мисс Андерсон всегда подслушивала наши разговоры) и разыгрывала сцену беседы с молодым человеком. Она говорила с ним о любви,

вспоминала чудесные минуты пережитые вместе и, в конце концов, рассказывала мнимому ему, как ей удалось провести мисс Андерсон, старого оберегающего нас дракона. Телефон, конечно, не был включен, но мисс Андерсон теряла терпенье, высказывала из своего убежища и грозила, что расскажет всё нашей матери. Однако она скоро успокаивалась, и наш урок продолжался.

Мисс Андерсон любила хорошо поесть и обильно наполняла свою тарелку. Сестра настораживающе поднимала палец со словами: "Вы должны быть осторожны. Помните, что было ночью?". Разумеется, ночью не было ничего.

Кроме мисс Андерсон, у нас были учителя по всем школьным предметам. Особенное внимание уделялось языкам. В среде русской аристократии все говорили по-французски и по-немецки, многие и по-английски. Мы прекрасно изъяснялись на всех трех языках. Много времени уделялось и религии; в моей юности это было обычно для образованных слоев русского общества.

Моя мать внимательно следила за нашим образованием. Она почти всегда присутствовала на наших уроках, чтобы быть уверенной в добросовестном отношении к ним и учителя и ученика. О нашем обучении могу сказать, что мы хорошо усваивали всё, чему нас учили. Учителей моих я всегда вспоминаю с любовью.

Самой привлекательной частью нашего образования была музыка. Наша семья со стороны обоих родителей была музыкальной; в семье моего отца было два композитора: отец и наш дядюшка — двоюродный брат отца Сергей Иванович Ганеев. Для обучения нас игре на пианино и пению были выбраны лучшие преподаватели. У меня было высокое сопрано. Кроме уроков как таковых, мы слушали много хорошей музыки. А ею был богат С.—Петербург тех дней. Отец брал нас с собой на симфонические концерты, а когда мы подросли, он дал нам возможность посещать репетиции этих концертов. В девять утра, часто сонные после вчерашних танцев, мы шли с нотами в руках на репетицию. Сидя в ложе мы усердно следили за музыкой по нотам, стараясь не запутаться в страницах. Так мы изучали теорию музыки. Задремать не было никакой возможности: в ложе напро-

тив обычно сидели отец и Римский-Корсаков; на носу Римского-Корсакова всегда были большие синие очки. Бывали в ложе с отцом и Лядов, Балакирев, Глазунов и другие композиторы. Отец был знаком с большинством знаменитостей музыкального мира тех дней. В нашем доме бывали Чайковский, Никиш, Вейнгартнер, Шаляпин и другие. Чайковский был близким другом семьи и часто приходил ко второму завтраку. Его любимым блюдом были артишоки, которые нелегко было достать вне сезона. Мама не щадила усилий, чтобы раздобыть это лакомство для нашего именитого гостя.

Помню, как однажды Чайковский взял меня за руку и повел в комнату моих больных брата и сестры. Чайковский сказал нам: "Понимаете ли вы, дети, что это лучшее время вашей жизни, теперь, пока вам не о чем тревожиться, когда о вас заботятся ваши родители?". Я никогда не забуду его полного любви взгляда, когда он произнес эти слова. Его глаза были полны грусти и нежности. В то время волосы и борода его уже были седые.

Отец навестил Чайковского незадолго до его смерти. Чайковский со слезами на глазах жаловался, что публика не поняла его последней — Шестой симфонии. Вскоре после этого Чайковский умер, и отец пришел в нашу детскую с этой вестью. "Великий и добрый Чайковский умер", — сказал он.

Через неделю после смерти великого композитора его Шестая симфония была исполнена в зале Дворянского собрания перед зачарованной аудиторией. Портрет Чайковского был задрапирован черным; все присутствующие встали, многие плакали.

*

В наше образование входили и поездки за границу; мы хорошо знали Европу. Во время этих поездок, поскольку это было возможно для молодежи в возрасте до двадцати лет, мы познакомились с жизнью и обычаями населения других стран. Особенно это относилось к музыкальному миру и миру искусств. С большинством выдающихся представителей этого мира мы уже встречались в Петербурге и уже были хорошо знакомы с ценнейшими собраниями картин разных периодов и с музеями нашего города. Теперь, во время поездок в Европу, мы могли

посетить храмы и картинные галереи Италии, Франции и Германии. Особенно восхитили нас Венеция и Рим.

Должна сказать, что главенствующая роль в нашем образовании принадлежала нашим родителям. Самой большой радостью для нас было быть с ними, и они посвящали нам каждую свою свободную минуту. Это они научили нас любить искусство и всё прекрасное. Вера в Бога, посещение церковных служб и набожная жизнь — были основой их существования. Отец старался развить в нас чувство долга; он учил нас следовать голосу совести во всех случаях жизни. Сам он был чрезвычайно предан престолу, и мы, дети, унаследовали это от него, так же как он — от своих родителей и дедов.

Я покидаю детскую для встречи с жизнью

Мой первый выход в свет относится к 1902 году, когда я впервые была на дворцовом балу и была представлена ко Двору. Следующее лето я сильно болела; у меня был тиф с осложнениями на легкие и почки, и воспаление мозга, за которым последовали временная потеря речи и слуха. Когда я начала выздоравливать, моя мать повезла меня сначала в Баден, а затем в Неаполь. Пробыв некоторое время в Италии, я вернулась в Россию уже совсем здоровой. В январе 1903 года я получила от Императрицы шифр с бриллиантами — символ назначения меня фрейлиной. В сущности, это был только титул; так называемых, городских фрейлин было очень много, все дочери высокопоставленных родителей, служивших императорской семье, обычно получали такое звание. Но вскоре я получила и личное назначение служить Государыне. И это было началом близкой и на всю жизнь дружбы с нею, память о которой я буду свято хранить до смерти.

*

Хочу коротко рассказать о моем первом дворцовом бале, похожем, конечно на сотни балов до и после него. Готовиться к нему начали за две недели. Тот, кто бывал в дворцовой кухне, мог быть свидетелем кипучей деятельности. Сотни поваров и их помощников в белой одежде и колпаках сновали взад и вперед.

Не меньше трех тысяч человек было приглашено на бал, и всех надо было накормить и напоить.

Но приготовление пищи было только незначительной частью работы. Огромные высокие залы Зимнего дворца — такие высокие, что, стоя на полу, трудно было увидеть потолок, — должны были быть украшены цветами и гирляндами. Украшали залы не еловыми и сосновыми ветвями, а прекрасными редкими тропическими деревьями и цветами из царских оранжерей. Вдоль великолепных лестниц и зеркальных стен были расставлены бесконечные ряды пальм. Как велик был бал, можно представить себе по тому, что на протяжении двух недель больше восьмисот слуг были заняты приготовлениями.

В приглашениях указывалось, в какие двери вы должны войти; один вход не мог пропустить всех многочисленных гостей. Когда наступил знаменательный вечер, вся огромная площадь перед Зимним дворцом была запружена экипажами. Медленно продвигались они через толпу любопытных к назначенному входу. Мы поднялись по лестнице и через большой вестибюль вошли в Николаевский зал. Грудно описать великолепие, открывшееся нашим глазам. Здесь были молодость и красота, здесь были блестящие военные, здесь сияли бесценные тиары, жемчужные ожерелья и бесчисленные украшения неисчислимой стоимости. Великолепным было и сияние, отбрасываемое на собравшихся гигантскими люстрами и канделябрами.

Дирижер оркестра стоял на возвышении, обитом красным; его рука с дирижерской палочкой была поднята. Несмотря на огромное количество людей царила полная тишина. Все ожидали Императора всея Руси и Императрицу.

Но вот церемониймейстер стукнул трижды о пол тростью (stuff) из слоновой кости, двери широко раскрылись, и под звуки полонеза рука об руку вошли в зал Государь и Государыня. На императоре была форма полковника с блестящими на груди орденами. На Императрице было светлое шелковое платье, украшенное бледно-голубой Андреевской лентой. За ними парами шли Великие князья и княгини. Медленно, в такт полонеза, проходили они через толпу собравшихся. Гости приветствовали царственных хозяев поклоном и отходили в сторону.

Под второй полонез танцевали Император и Императрица, великие князья и княгини и дипломаты. В первой паре был Государь с маркизой Монтебелло, женой французского посланника. За ними — Государыня с турецким посланником, смешным толстяком маленького роста в красной феске на голове. Государыня была значительно выше своего кавалера и рядом с ним казалась грациозной лилией. Честь танцевать с Императрицей принадлежала старейшине дипломатического корпуса; им оказался на этот раз турецкий посланник с двойным подбородком.

Началась первая кадрили. Государь и Государыня танцевали друг против друга с членами дипломатического корпуса. У меня было удачное место, и я хорошо видела Государыню. Я, конечно, видела ее уже много раз, но еще никогда не видела окруженной таким великолепием. На ее груди, на платье и в волосах сияли драгоценности. Было бы лишним спрашивать: кто в этой толпе Императрица. Но она не жила в этом танце. Ее лицо казалось то холодным, то грустным, и только когда она встречалась с нами взглядом, ее глаза оживали. Эти большие голубые глаза, казалось, улыбались, и выражение лица становилось более радостным и дружеским. Теперь мы поняли, почему еще девочкой, дома, ее называли "Солнышком". Позднее вечером Государыня говорила с нашей матерью и с похвалой отозвалась о наших бальных платьях и наших танцах.

На следующем балу я уже была в качестве фрейлины Императрицы. Это был мой первый бал в этом звании. Рядом с Николаевским залом находился концертный зал, где Государыня принимала желающих быть ей представленными. Около ста дам высшего общества стояло вдоль стен зала. Обергофмастерина, старая княгиня Мария Михайловна Голицына, шла рядом с Государыней и представляла ей каждую в отдельности, называя ее имя.

Платье Государыни было из замечательного тяжелого белого шелка, который мог бы стоять сам собою; на Государыне была Андреевская лента. Большая драгоценная диадема сияла всеми цветами радуги. Императрица была величественна и в то же время казалась очень скромной; при каждом приветствии она

краснела — краской покрывалось не только ее лицо, но и шея и руки, обнаженные над длинными кружевными перчатками.

Представление продолжалось довольно долго. После него Государыня, в сопровождении фрейлин взошла на возвышение в Николаевском зале. Мы, фрейлины, стояли за ней.

По комнате разлилась прелестная мелодия вальса, и пары величаво заскользили по блестящему гладкому полу; мы же, фрейлины, должны были стоять недвижимо на своих местах. Это было совсем не интересно; в те дни я так любила танцевать! Как чудесно было быть одной из танцующих. Но стоять ровно и неподвижно за Императрицей было моей обязанностью. Я не могла сдержать слез, набегавших на глаза. Впервые в жизни я почувствовала тяжесть исполняемого долга. Вероятно, я выглядела очень несчастной. Вдруг кто-то взял меня за руку. Я оглянулась и оказалась лицом к лицу с Великим Князем Константином Константиновичем. Может быть, я должна упомянуть, что он, сам поэт и музыкант, был большим ценителем искусств и наук. Мы, дети Танеевы, были товарищами игр его сыновей.

— Думаю, вы любите танцевать? — спросил он.

— Да, ужасно! — ответила я со слезами, стекавшими по моим щекам.

Великий Князь подал мне руку и повел меня в вальсе по залу. Великий Князь был высокий и красивый. На нем была Андреевская лента. Когда вальс закончился, он поднял меня, как ребенка, и опустил возле Государыни. Она понимающе улыбнулась, а я захлебнулась от волнения и танца. Глубоким реверансом поблагодарила я моего царственного кавалера.

Во время концертов Николаевский зал превращался в огромный парк. Посетители сидели за украшенными цветами столиками в тени пальм. Царская семья ужинала на возвышении, так что все могли видеть ее. Гостеприимный хозяин, Государь, всегда ходил от стола к столу, иногда присаживаясь для короткой беседы с одним из друзей. Собеседник Государя сейчас же вставал, но Государь обычно просил вставшего сесть.

Конечно, каждый удостоившийся чести говорить с Государем был в восторге. Это было событием, которое потом вспоминали годами и рассказ о котором переходил от поколения к поколению. Царь был не только исключительно вежлив, но

и всегда дружелюбно настроен. Кроме того, он обладал счастливым даром легко вести разговор с каждым, всегда в круге интересов собеседника.

После ужина танцевали мазурку. Однажды я танцевала с очень высоким уланом. Мы летели в сказочно-быстром темпе мазурки; такая мазурка возможна была только в Польше или при русском Дворе. Теперь мазурку танцуют медленно. Медленная мазурка, да еще с кавалером в штатском — полное ничто. В тот вечер случилось нечто ужасное. Каким-то образом шпоры моего партнера сцепились, и он упал, потянув меня за собой. Хуже всего было то, что это случилось как раз перед возвышением, на котором находилась царская семья во всем своем великолепии. Мы буквально скатились к царским ногам! Мой партнер был так поражен и смущен, что первое мгновение не мог подняться. Только грозный оклик Великого Князя Михаила Николаевича — “Косолапый, сейчас же помогите даме встать!” — заставил его вскочить на ноги.

Во время одного из балов почему-то — вероятно, мои обязанности не дали мне возможности присоединиться к танцующим — у меня не было партнера. Я стояла за креслом прелестной молоденькой княжны, целиком поглощенная чудесной мазуркой. И вдруг я увидела Великого Князя Михаила Александровича, родного брата Государя, направляющегося ко мне. Думая, что Великий Князь приглашает ее танцевать, княжна склонилась перед ним в глубоком реверансе. Но его рука протянулась ко мне, и он повел меня в направлении царских мест.

Это было чем-то совершенно необыкновенным для молодой девушки, и я не берусь описать чувств, охвативших меня. Мне было бесконечно жаль юную княжну — я видела по ее лицу, что ее самолюбие было больно задето; но, должна признаться, что основным моим чувством в этот момент было огромное удовольствие. Не каждый день случается быть приглашенной Великим Князем. И он выбрал именно меня — одну из тысяч хорошеньких девушек, находившихся в зале.

В Великом Князе Михаиле Александровиче было что-то беззаботное, почти детское. Его голубые глаза светились сердечной добротой; несмотря на длинные белокурые усы, он казался очень

молодым, почти мальчиком. Я хорошо не помню всего, о чем мы говорили. Помню только, что он очень откровенно рассказывал мне о своей и его сестры жизни в Гатчине. Впрочем, к удовольствию обычно примешивается оттенок горечи, и когда был подан ужин, Великий Князь должен был занять свое место у стола, где сидели его кузены с женами, а мне оставалось только смотреть с грустью, как эти дамы завоевывали сердце моего рыцаря, уже не оглядывавшегося на меня. Казалось, он забыл о моем присутствии. Вскоре, однако, ко мне подошел Великий Князь Борис Владимирович и заговорил со мной. Он был молод и очень красив, и он нравился женщинам. Таким образом у меня оказался новый кавалер, и я была счастлива его приятным и дружеским отношением к глупенькой девочке.

Следующим танцем была мазурка. Я танцевала ее с Борисом Владимировичем. Мне казалось, что Михаил Александрович раздосадован этим; на протяжении всего вечера он не обмолвился с нами ни словом. Этот бал был в своем роде историческим: на нем впервые была исполнена кадрили (Lancers). Танец начала Государыня.

На одном из вечеров в Эрмитаже церемониймейстер сказал мне, что Государыня сооблаговолила пригласить меня участвовать в кадрили в ее карэ. Я танцевала с Государыней. Из других пар я помню только Великую Княгиню Ксению Александровну, сестру Государя, и греческую княжну Марию Георгиевну. Я была тогда еще очень молода и страшно застенчива, но дружеский взгляд Государыни скоро ободрил меня. Никогда раньше я не была настолько в центре всеобщего внимания: естественно, что все взгляды были обращены на карэ Государыни.

Зима 1903 года была полной блеска. Кульминационной точкой сезона был знаменитый костюмированный бал: все были в костюмах времен царя Алексея Михайловича, царствовавшего в 17-ом столетии. Это был первый бал в Эрмитаже, большой картинной галерее, соединяющейся с Зимним Дворцом. Успех бала был так велик, что его повторили дважды: один раз в Концертном зале Дворца и потом в большой бальной зале Шереметевского дворца. Мы с сестрой были в числе двадцати молодых девушек, приглашенных танцевать с двадцатью

кавалерами старинную Русскую. Ее нужно было репетировать не меньше, чем балет. Такие репетиции были большим событием в обществе; присутствовали матери всех участниц, часто заходила и Государыня, интересовавшаяся происходящим не меньше любой из нас.

На самом балу Императрица была в платье из золотой парчи, сплошь усеянном прекрасным жемчугом и изумрудами. В тот вечер она, казалось, совсем рассталась со своей застенчивостью, с интересом оглядывая костюмы гостей. То, что представилось взглядам в бальном зале, превосходило всякое воображение. Боярские костюмы, собольи шапки были к лицу большинству костюмированных, хотя некоторые выглядели очень комично.

Двадцать пар медленно и грациозно вошли в зал под звуки старинного танца, все в костюмах 17-го века. На мне был бледно-голубой сарафан и высокий, украшенный жемчугом, кокошник; волосы были заплетены в две длинные косы. Мой кавалер был в красном кафтане и высокой шапке. Он танцевал как бы застенчиво, спокойно, а я вся была в ритме танца. Весело поворачиваясь на каблучках, я ударяла ими об пол и помахивала шелковым платком высоко над головой. Я чувствовала себя счастливой и гордой. Я знала, что танцую хорошо и что далеко не все восхищенные взгляды обходили меня. Хочу признаться, что этот бал был одной из высших точек моей жизни. Даже теперь, когда я закрываю глаза, я снова живу в этом танце, происходившем больше тридцати лет тому назад.

Царствование Александра III было временем расцвета жизни русского Двора. Правда, этого периода я сама не знала, но моя мать часто рассказывала о нем. В дни царствования Николая II дворцовые балы бывали далеко не так часто; Николай II не мог стать на уровень своего отца, замечательная личность которого была ядром всего его царствования. Александра Федоровна тоже не обладала светским блеском супруги Александра III, но, несмотря на это, описанный бал был, вероятно, одним из самых замечательных в Европе этой эпохи. Очень возможно, что традиционное великолепие русского Двора обеспечивало эту возможность. Между прочим скажу, что для дворцового вальса был установлен ряд правил; выбор костюмов

фрейлин был подчинен строгим и неизменным принципам. Даже Государь не мог изменить их.

У меня сохранились самые лучшие воспоминания о балах, на которых я имела честь присутствовать в юности в качестве фрейлины Императрицы. В большинстве своем это были очень веселые балы и часто они заставляли ускоренно биться девичье сердце. Да и могло ли быть иначе, если девушка принимала участие в жизни, о которой другие могли бы только мечтать. И никогда не было разочарования; наоборот, только счастье.

Пробуждение к жизни

Выше я пыталась описать великолепие дворцовых балов. Жизнь моя не была несчастливой, но я замечала, что другие придворные девицы сторонились меня. Они завидовали мне и всячески старались — не открыто, конечно, — уколоть меня, показывая, что им не по душе мой успех. Несмотря на это, я была счастлива, и я благодарна Императрице за ее внимание ко мне.

Дворцовые балы вскоре прекратились, и жизнь всего общества приняла иное направление.

Я никогда не интересовалась политикой, особенно в те дни. Я слышала, правда, что на Дальнем Востоке, что-то около семи тысяч миль от Петербурга, дела не шли гладко, что отношения между Россией и Японией были натянутыми. Но слухи входили в одно ухо и вылетали в другое, они не имели ничего общего с миром, в котором я жила. Если бы тогда какая-нибудь гадалка сказала мне, что события, происходившие так далеко, отразятся на судьбе всей царской семьи и даже изменят течение моей скромной жизни — я не поверила бы.

В феврале 1904 года я узнала о начавшейся войне между Россией и Японией. Для меня это не имело никакого значения, и, я думаю, что большинство девушек моего возраста восприняли это точно так же. Но вскоре я заметила, что происходит нечто небывалое. Полк за полком отправлялись на Дальний Восток, и Государь давал свое благословение каждому из них. Вне этого, события привлекали мало внимания; все были уверены, что наши войска скоро вернутся, хорошо проучив варваров.

Только когда я услышала об отмене дворцовых балов и увидела, что большие приемные залы Зимнего Дворца и Эрмитажа были превращены в мастерские, работавшие под наблюдением Государыни, я поняла, что далеко не всё в порядке. Отныне не было и мысли о танцах или праздниках. Везде был слышен стук швейных машин, куски полотна разрезались на бинты. Много раз в течение дня Императрица проходила вдоль комнат, внимательно наблюдая за работой каждого и давая советы. Сама она была искусна, чего нельзя сказать о всех тех, кто теперь впервые сел за швейную машину.

Государыня обычно была в бархатном платье, отделанном мехом. За ней, как тень, следовал негр Джимми, один из абиссинцев, охраняющих вход в личные апартаменты во Дворце. Обязанностью Джимми было нести за Государыней корзину с разными нужными для работы принадлежностями. Он выглядел очень хорошо — в белом тюрбане, обшитой золотом куртке и алых шароварах.

Во время своих обходов Государыня часто приглашала нас в свою личную мастерскую. Мы помогали ей шить белье на машине.

Как раз в то время Государыня ожидала рождения наследника престола. Она казалась очень похудевшей, только легкий румянец проступал на ее запавших щеках. Как мы любили и как жалели ее! Перед уходом она целовала мою сестру и меня и кивала другим присутствующим.

Отчету о русско-японской войне не место в моих воспоминаниях. Я хотела бы только упомянуть, что эта война длилась восемнадцать месяцев и что она принесла России большое разочарование и много горя. Многие знакомые храбрые офицеры погибли в боях. Окружающая атмосфера становилась всё более мрачной. Помню страшный удар, каким была судьба "Петропавловска". Это большое военное судно с сотнями моряков пошло ко дну, с ним погиб адмирал Макаров; многие считали его лучшим русским морским экспертом. Только четыре человека уцелели в этой ужасной катастрофе, между ними был Великий Князь Кирилл Владимирович и молодой офицер Вырубов.

Не удивительно, что мрак царил в правящих кругах и что

война всё больше занимала внимание всей страны. События следовали одно за другим с фантастической быстротой. Первым — была сдача Порт-Артура. Потом, 14-го мая, в девятую годовщину коронации, убийственная весть о Цусимском бое, в котором, в сущности, наш флот был уничтожен.

Незадолго до этих событий и во время их, в связи с болезнью княжны Орбелиани, я временно была назначена дежурной фрейлиной Государыни. Здесь я должна сказать об обязанностях, возложенных на меня этим ответственным званием.

Фрейлина (их было три) дежурила целую неделю. Во время дежурства фрейлина не должна была отлучаться, так как в любую минуту она должна была быть готова к вызову Императрицы. Она должна была присутствовать при утреннем приеме, должна была быть с Государыней во время прогулок и поездок, короче — быть с Государыней везде, где Государыня бывала. Фрейлина должна была отвечать на письма и посылать поздравительные телеграммы и письма по указанию или под диктовку Императрицы. Она также, помимо всего прочего, должна была читать царице.

Можно подумать, что всё это было просто — и работа была легкой, но в действительности это совсем не так. Надо было быть полностью в курсе дел Двора, надо было знать дни рождения важных особ, дни именин, титулы, ранги и т.п. и надо было уметь ответить на тысячу вопросов, которые Государыня могла задать. Малейшая неточность могла повлечь за собой массу осложнений и неприятностей. Рабочий день был долгий, и даже недели, свободные от дежурств, фрейлина должна была выполнять обязанности, которые не успевала выполнить дежурная.

Каждая фрейлина имела свою квартиру во дворце: гостиную, спальню, ванную и комнату для горничной. Был еще лакей, который прислуживал за столом, коляска, пара лошадей и кучер. Ни повар, ни кухня не были нужны, так как еду приносили с царской кухни.

В свободное время фрейлина могла принимать гостей, всё угощение предоставлялось Двором. Ежедневная пища была превосходна. Утром приходил лакей с бланком для заказа; туда вписывались вина — обычно три сорта, — фрукты и сладости. Я

никогда не выпивала больше бокала вина за столом, но каждый раз открывалась новая бутылка.

Кроме всего этого, дежурная фрейлина получала жалованье — 4.000 рублей в год. Расходы были тоже немалые. Много денег приходилось расходовать на туалеты; надо было их менять три раза в день. Даже дома фрейлина не могла одеваться, как хотела. Ее туалет всегда должен был соответствовать ее рангу, и к обеду декольтированное платье было обязательным. То же самое платье не надевалось, конечно, много раз. Должны были быть в гардеробе и дорогие платья не для балов, а, скажем, для посещения церковных служб, свадеб, похорон, дней рождения, именин и т.п.

Дежурные фрейлины были в ведении обер-гофмайстерины, у которой не было специальных обязанностей при Царице, но она отвечала за работу фрейлин и других должностных лиц Двора. Благодаря своему высокому положению обер-гофмайстерина, конечно, занимала соответствующее место на официальных приемах и при различных церемониях. Кстати, я ни разу не получила упомянутого жалованья — 4.000 рублей, — потому что была назначена дежурной фрейлиной только временно и, кроме того, я была другом Императрицы.

Именно в это время я вышла замуж за лейтенанта Вырубова, одного из четырех чудом спасшихся при гибели "Петропавловска". Брак ничего, кроме горя, мне не принес. На состоянии нервов моего мужа, вероятно, отразились все ужасы пережитого, когда тонул "Петропавловск", и вскоре после свадьбы у него появились признаки тяжелого психического заболевания. Сначала я думала, что это только временное состояние и тщательно скрывала болезнь мужа от моей матери. Но, в конце концов, мой муж был признан ненормальным, был помещен в лечебное заведение в Швейцарии, и я получила развод.

Жизнь нанесла мне первый тяжелый удар. Пережитое за год состарило меня по крайней мере на десять лет. Всё вокруг казалось пустым и бессмысленным. Я не знала, что делать с собой, и моим единственным утешением стали молитва и религия.

Впрочем, скоро я получила новое назначение, и моя деятельность украсила и обогатила мою жизнь. Государыня опять

призвала меня служить ей, вернее, предложила мне жить при Дворе, так как официальной должности у меня не было. Я жила при Царице как неофициальная фрейлина и была ее близким личным другом. Она сказала: "Хоть один человек есть, который служит мне для меня, а не за вознаграждение".

Ежедневная жизнь царской семьи

Как я уже упоминала, когда говорила о дворцовой мастерской, Императрица тогда была в ожидании. Ко времени моего возвращения во Дворец Наследнику было уже около шести месяцев. Рождение Наследника было очень счастливым событием и на время наполнило радостью все сердца, несмотря на разочарования в связи с русско-японской войной. Наследник родился в августе 1904 года. У царской четы уже было четверо детей — все дочери: Ольга (родилась в 1895 г.), Гатьяна (родилась в 1897 г.), Мария (родилась в 1899 г.) и Анастасия (родилась в 1901 г.). Когда я стала фрейлиной Государыни, старшей дочери ее было восемь лет, а младшей четыре года. Государыне исполнился тридцать один год, а Государю — тридцать шесть. Это был расцвет их жизни. Дочери Государыни были здоровыми, красивыми, очаровательными детьми.

Маленький Наследник занимает особое место в моих воспоминаниях. Вначале он был хорошеньким, хорошо физически развитым мальчиком, и мать с гордостью говорила, что и родила его легко. Но вскоре оказалось, что ребенок был далеко не здоровым; врачебное освидетельствование показало внутреннее кровоизлияние. Сначала думали, что это только временное явление, но скоро врачи констатировали, что у царевича ужасная наследственная неизлечимая болезнь — гемофилия. Ею не страдают женщины, но эта болезнь ими передается из поколения в поколение по мужской линии.

Даже здоровая кровь Романовых — так как вообще Романовы крепкий и здоровый род — не могла преодолеть этого наследственного недуга, и он поразил Наследника престола. Правда, Государь был слабый и худощавый. Когда он сидел, казалось, что он хорошо сложен, в действительности же он был ниже среднего роста из-за коротких ног. Всё же ему удалось

закалить свой организм спортом и упражнениями на свежем воздухе, и он был достаточно силен. Болезнь Наследника была ужасным ударом для Государя и Государыни. Я не преувеличу, если скажу, что горе подорвало здоровье Императрицы, она никогда не могла избавиться от чувства ответственности за болезнь сына. Сам Государь за год состарился на много лет, и близко его наблюдавшие не могли не заметить, что тревожные мысли никогда не покидали его.

Я вспоминаю красивого, похожего на херувима ребенка с золотистыми волосами и прелестными разумными глазами; но при малейшем ушибе его тело покрывалось синяками. Наследника оберегали как только могли, что далеко не всегда помогало: ребенок был подвижной и после каждого ушиба он горько плакал ночи напролет.

Помню, как волновалась Государыня, когда ожидали какого-либо видного иностранного гостя и как она старалась, чтобы Наследник выглядел здоровым. Вначале болезнь держали в секрете — всё надеялись на выздоровление.

Однажды, накануне приезда Кайзера, не помогли никакие предосторожности: мальчик упал, и на лбу его появился большой синяк. Кайзер, конечно, сейчас же понял, что с ребенком, так как два или три сына его брата, принца Генриха, страдали тем же недугом.

Мы, приближенные Государыни, были погружены в глубокую печаль, наблюдая ее всё возрастающую грусть. И раньше она была застенчивой и сдержанной, даже казалось порою — несчастной. Теперь же все эти черты ее характера выступили еще ярче. Война с Японией и ее мрачные последствия не могли облегчить забот Государыни. Ее здоровье ухудшалось, она постоянно чувствовала себя усталой и больной, и только огромным усилием воли ей удавалось скрывать свои недуги целые годы, чтобы о них не узнали в дворцовых кругах.

Первый год Императрица скрывала болезнь сына даже от меня. Я случайно узнала о ней. Однажды — это было в Царском Селе — мы с Государыней играли в четыре руки. Наследник сидел возле нас на складном стуле со столиком, какие обычно бывают у маленьких детей. Неожиданно кто-то пришел, и Императрица оставила меня с мальчиком. Я встала, чтобы взять его на руки, но он сначала расплакался, а потом стал кричать,

как раненый зверек. Государыня прибежала с криком: "Оставьте его, оставьте, его нога застряла в стуле!". Я не могла понять, в чем дело. "Я сейчас объясню вам", — сказала Государыня. Понемногу ей удалось успокоить сына, но я заметила, что ножка Наследника посинела и опухла. Царица в слезах рассказала мне об ужасной болезни.

Здоровье Государя не пошатнулось, и он искал утешения в работе. Он был занят с утра и до ночи, не ложась часто до часу. Я не имела никакого непосредственного отношения к обязанностям Государя и ничего не могу сказать о его работе; но я была близка к его семье, была чуть ли не ее членом, всюду сопровождая ее.

Попробую описать ежедневную жизнь Государя, Государыни и их детей. Это описание будет поневоле отрывочным. Каждый знает, что нет возможности последовательно рассказать о жизни семьи.

Начну с Государыни. И здесь нельзя не сказать нескольких слов о Вдовствующей Императрице, хотя бы для сравнения.

Государыню Александру Федоровну называли немкой; особенно это привилось во время войны. Это делали, чтобы подорвать доверие к ней. Надо сказать, что хотя Государыня была действительно принцессой Гессен-Дармштадтской, но после смерти матери — принцессе тогда было пять лет — она жила в Англии у своей бабушки королевы Виктории. Таким образом, Государыня воспитывалась и получила образование в Англии и, как и ее мать, принцесса Алиса была больше англичанкой; ее родным языком был английский, а не немецкий. Когда умер ее отец, она была уже взрослой и взяла в руки дом младшего брата Эрнеста, герцога Гессен-Дармштадтского, еще не женатого. Супруга Александра III — Мария Федоровна — была Датской принцессой Дагмарой, — она приехала в Россию молодой, вышла замуж за наследника престола больше чем за десять лет до того, как стала императрицей. Она приехала в Россию в возрасте, когда всё воспринимается особенно легко; у нее было достаточно времени, чтобы освоиться с жизнью Двора. Она узнавала Россию и знакомилась с жизнью Двора со всеми его интригами постепенно и основательно.

Хотя и нельзя отрицать, что во время царствования Александра III, когда она была Императрицей, Россия тоже

переживала трудные моменты, но, вообще говоря, Александр III считается одним из счастливейших русских царей, царем-миротворцем. Правда, он жил в постоянном страхе покушения на его жизнь, что не могло не отражаться на его семье, но всё это не сравнимо с царствованием Николая II.

Приезд в Россию Императрицы Александры Федоровны произошел при совершенно других условиях. Она вышла замуж вскоре после смерти Александра III, и свадьба ее казалась чуть ли не продолжением похорон. Государыня говорила мне, что, вспоминая обе церемонии, она не могла разграничить их, так они были близки во времени. Александра Федоровна должна была немедленно принять на себя обязанности Императрицы, у нее не было времени подготовиться к этому. Когда умер Александр III, его вдове было всего сорок семь лет; она, таким образом, была в самом расцвете жизни. Овдовела она неожиданно, болезнь царя длилась всего около шести месяцев, а перед тем он был воплощением здоровья. Понятно, что Вдовствующая Императрица не могла не влиять на жизнь Двора, которую она так хорошо знала и понимала. И если можно говорить об ошибках Александры Федоровны, то самая большая из них была в том, что она не сблизилась со своей *belle-mère* с самого начала. Препятствия к их сближению чинили и всякого рода интриганы, заинтересованные в том, чтобы между этими двумя женщинами не установились дружеские отношения.

Я уже говорила, что мои первые дни при Дворе совпали с событиями исторической важности. Всё было мрачно вокруг, залы Зимнего Дворца, видевшие так много замечательных балов и празднеств, теперь превратились в мастерские. Тогда же был убит Великий Князь Сергей Александрович. Об этом я еще буду говорить.

Царская семья не любила жизни в столице, если ее присутствие в Ст.-Петербурге не вызывалось необходимостью. Царское Село было гораздо более привлекательно, с его свежим чистым воздухом, прекрасными парками с искусственными озерами и вьющимися в разных направлениях аллеями. У Государя было одиннадцать больших собак — длинношерстных шотландских овчарок; для них вблизи от Дворца было выстроено специальное помещение. Выходя на прогулку, Государь свистом звал их. В самом начале моей службы при Императрице я однажды

встретила Государя на одной из узких дорог Царскосельского парка. Я очень испугалась собак. Они не набросились на меня, но очень подозрительно обнюхивали. Государь издали крикнул: "Не бойтесь, они вас не тронут". Император всегда старался воспользоваться перерывом между двумя приемами, чтобы хоть пятнадцать-двадцать минут подышать свежим воздухом, и у него не было времени останавливаться для разговора. Была у Государя одно время собака, Иман, она жила в его покоях. Когда этот пес пропал, Государь не хотел заменить его другим, он слишком был привязан к этой собаке. Вообще, когда одна из собак околевала, Государь грустил по ней.

Меня связывали с Государыней религия и любовь к музыке. Мы часто играли в четыре руки или пели дуэты. У Государыни был красивый низкий голос, у меня же, как я уже упоминала, было высокое сопрано. Государыня была чрезвычайно музыкальна. Она могла петь и играть с первого взгляда на ноты. Профессор Ирецкая говорила, что Государыня могла бы хорошо зарабатывать на жизнь своим пением. Государь был тоже музыкант, но утверждал, что музыка хороша в свое время и на своем месте; он готов был только лишь слушать ее. Особенно он не любил музыкальных экзерсисов, и в Петергофе мы часто уходили в малый дворец, чтобы Государь не слышал нас, так как в большом дворце рояль стоял близко к его рабочему кабинету. Да и вообще он не любил, когда Государыня пела.

Третьим связующим звеном между Государыней и мной были ее дети. И когда, после развода, я вторично получила назначение ко Двору, самой большой радостью для меня было посещение детской. Я служила Государыне не для заработка, я возьму на себя смелость сказать, что была для нее чем-то между ребенком и младшей сестрой; мы стали очень близкими друзьями. Разница между ее и моим возрастом была в двенадцать лет.

*

Но надо, в конце концов, начать говорить о жизни императорской семьи. В сущности, эта жизнь была очень непритязательной. Государыня не любила, больше того — ненавидела, и, конечно, избегала какой бы то ни было помпы, показного. На первом плане у нее были муж и дети, и всё возможное время она

посвящала им. Счастливейшие часы Государя были тоже те, которые он проводил в кругу своей семьи. Он был верным и безукоризненным мужем и любящим отцом.

В будние дни Государь и Государыня обычно вставали между восемью и девятью утра. Их будила прислуга стуком деревянного молоточка в дверь. Так было в первое время моей жизни во Дворце. Когда здоровье Государыни ухудшилось и врачи нашли, что сердце ее ослабело, она оставалась в постели до одиннадцати, читая полученные письма и отвечая на них — иногда она писала, иногда диктовала.

Одевшись, царская чета завтракала в малом кабинете. В последующие годы, когда здоровье Государыни ухудшилось, Государь пил утренний чай один. После чая он шёл в свой рабочий кабинет. У Государыни тоже был свой кабинет, так как в ее ведении был целый ряд установлений. В своем кабинете Государыня знакомилась с корреспонденцией, полученной от подведомственных ей организаций, и давала письменные или устные указания моему отцу или другому своему подчиненному. Государыня была больше чем только матерью своей семьи. У нее была трудная задача, поглощавшая больше времени и внимания, чем обычный женский труд.

Второй завтрак подавали в час. Детей стали приводить к общему столу в возрасте между тремя и четырьмя годами. Единственным посторонним за семейным столом был лежурный адъютант Государя. Очень редко бывал за вторым завтраком кто-либо еще — министр, у которого было спешное дело, или один из членов царской семьи, гостивший в это время во Дворце.

После второго завтрака Государыня работала два или три часа или же, если она могла раньше освободиться, ехала на прогулку, иногда играла с детьми.

У Государыни на столе был звонок с тремя кнопками: бриллиантовая — в детскую, жемчужная — к прислуге, рубиновая вызывала лакея. Когда Государыня нажимала бриллиантовую кнопку сейчас же слышались шаги наверху, и дети сбегали по лестнице, ведущей из детской, через ванную государыни в её кабинет.

Во время чая, к которому не бывало приглашенных, но всегда присутствовали дети, Государь постоянно был чем-то

занят; например, перед ним лежала стопка телеграмм, которые надо было прочесть. Он никогда не делал заметок — у него была замечательная память. Стол к чаю накрывался в кабинете Государыни, здесь же стояла большая корзина с детскими игрушками. Дети извлекали их из корзины и играли, как хотели, часто очень шумно. Государя и Государыню этот шум не беспокоил. Государыня сидела на диване, разливая чай; место Государя было против нее, всегда то же самое большое кресло, обитое розовато-лиловым шелком. Когда часы показывали шесть, Государь возвращался в свой кабинет, детей забирали наверх в детскую, и Государыня бралась опять за свою работу.

Обед сервировали в восемь. Гости к обеду бывали очень редко, но адъютант Государя присутствовал всегда. Иногда приглашали одну из статс-дам. Обед обычно длился полтора часа, до половины десятого; после обеда Государь возвращался в свой кабинет. Его рабочий день был значительно длиннее, чем шесть часов; даже восемь часов работы были для него редким исключением. Когда здоровье Государыни ухудшилось, она часто лежала во время семейной трапезы. Вечерами она вызывала меня, и я ей читала, обычно что-либо на религиозные или философские темы.

У Государыни была огромная библиотека религиозных и философских трудов. В ней было несколько сот томов, и она постоянно пополнялась. Государыня всегда знала о новых книгах из газет и журналов. Обязанность пополнения библиотеки была возложена на дворцового библиотекаря Щеглова.

Все книги были в кожаных переплетах: английские — в бледно-фиолетовых, русские — в красных, французские — в зеленых и немецкие — в голубых. Тогда я была очень молода и, должна признаться, мне совсем не интересно было читать эти увесистые трактаты о индийской или персидской философии или на другие такие же малопонятные мне темы. Иногда во время таких вечерних чтений появлялся Государь, но тогда книгу для чтения выбирал он. Государь любил художественную литературу; любимым его писателем был Гоголь. Иногда Государь читал нам вслух. Это всегда было очень интересно, читал он превосходно.

Я упоминала о царских трапезах. Многие, без сомнения, хотели бы знать, что подавалось на стол. Утренний и полуденный чай бывали очень скромны. На столе были чай, подсушенный пшеничный хлеб, масло, английские бисквиты. Такая роскошь, как торт, пирожные или конфеты появлялась редко. Во время войны еда была особенно простая. Государыня — убежденная вегетарианка — никогда не прикасалась к мясу или рыбе. Яйца, сыр и масло она обычно ела; иногда выпивала бокал вина с водой.

В жилой части царскосельского Александровского дворца не было собственно столовой. Накрытый обеденный стол и стол для закусок вкатывали в одну из комнат помещения Государыни или, когда она бывала больна, в ее кабинет. Официальные обеды сервировали в большом царскосельском Дворце. В Петергофе была столовая, но маленькая. Туристы, оглядывая дворцы, редко обращают внимание на то, что большинство комнат было предназначено для официальных функций. Очень немного осталось для жизни в них.

Перед дневным завтраком и перед обедом подавали закуски на нескольких небольших блюдах. Они всегда стояли на отдельном столике. Обычно это были закуски чисто русские, как осетрина, икра. Перед вторым завтраком Государь обычно выпивал рюмку водки. Во время закусок Император беседовал с гостями; все ели стоя. Государь не любил деликатесы, икра была ему противна. Государыня к закускам прикасалась редко; она обычно стояла или сидела разговаривая с одной из своих дочерей.

Второй завтрак состоял из двух или трех рыбных и мясных блюд. К ним подавали несколько сортов вина. На обед после закусок подавали суп с пирожками и еще четыре блюда: рыба, мясо, овощи и десерт. Государь любил только здоровую пищу и никогда не интересовался изысканными блюдами. К рыбе он прикасался редко. Такие же меню бывали и на царских яхтах — "Штандарт" или "Полярная звезда" во время летних плаваний.

Вся декоративная работа в личных апартаментах во дворцах была исполнена Мельцером. Всё было в английском стиле: ситец, безделушки, фотографии.

Официальные обеды были чудом искусства шефа-повара,

француза Кюба, и состояли из бесчисленного количества разнообразных блюд. Меню предварительно обсуждалось с Государыней и с церемониймейстером, графом Бенкендорфом. Редкие и дорогие сорта мяса привозили со всей территории России и даже иногда из-за границы.

Официальные обеды бывали также и на яхтах. Кюба, который, кстати, во время исполнения своих обязанностей всегда был в полной форме шеф-повара — был тогда полностью в своей стихии. Он мог появиться перед Государем во время закуски и посоветовать отведать то или другое особое лакомство — грибы в сметане, один из многочисленных видов крабов или раков и т.д.

Формальная сторона официальных обедов была установлена еще при Екатерине II, и даже Государь ничего не мог изменить в ней. На таких обедах всегда прислуживали ливрейные лакеи — в обшитых золотым позументом фраках, бриджах и шелковых чулках — и всегда были налицо три курьера, хотя, надо сказать, им делать было совершенно нечего; этот обычай, видимо, восходил к давно прошедшему времени, когда у царя не было другой возможности дать распоряжение или приказ во время трапезы.

Во время семейных обедов Государь сидел против своей супруги, фрейлина по правую руку Государя, адъютант или кто-либо из редких гостей — по правую руку Государыни. Дети могли выбирать себе места, где хотели, но уже после того как рассядутся взрослые. Садясь за стол, все присутствующие осеняли себя крестным знаменем, так же, как и вставая из-за стола.

Насколько я помню, официальные обеды всегда протекали гладко, порядок ничем не нарушался. Лакеи двигались совершенно беззвучно.

Семейные обеды тоже проходили спокойно, за исключением одного трагикомического случая, который сохранился у меня в памяти. Это произошло в Царском Селе. В этот день я впервые была за царским столом как фрейлина Императрицы. Мое место было возле Государя. Перед каждым из нас поставили тарелку с цветной капустой. Вдруг я заметила на моей тарелке две большие гусеницы. Инстинктивно я взглянула на тарелку Государя. Ему повезло так же. Я растерялась, не зная, как посту-

пить. Привлечь внимание Государя к гусенице было, безусловно, невозможно. В то же время мне совсем не улыбалось есть капусту с гусеницами. Еще меньше я хотела, чтобы так поступил Государь. К счастью, Государь заметил гусениц, и взяв свою и мою тарелки, вернул их лакею со словами: "Отдайте это Кюба".

После семейного обеда подавали крепкий кофе. Его обычно пили стоя, в кабинете Государыни. Государь часто выпивал во время обеда один или два бокала портвейна. Папиросы и сигары появлялись вместе с кофе. Государь был завзятым курильщиком и почти всегда держал папиросу в зубах, особенно когда обдумывал что-либо. Во время послеобеденного кофе он настойчиво угощал папиросами присутствующих. Сам он, как я уже сказала, курил почти непрерывно, часто бросая в пепельницу наполовину недокуренную папиросу. За этими недокуреными папиросами охотились Великие Княжны, чтобы потянуть раз или два. Великие Княжны, кстати, любили покурить, просто так, для забавы. Но Наследник к папиросам не прикасался никогда.

Царская семья обычно проводила за обеденным столом полтора часа. Этот обычай был заимствован у Датского королевского дома. Александру III этот порядок был по душе, так же, как и Николаю II. Государыня же, не привыкшая к таким долгим трапезам, предпочитала проводить меньше времени за столом и вначале часто сетовала на потерю времени. Из-за стола вставали по знаку Государя.

О чем говорили за обедом? На этот вопрос мне так же трудно ответить, как трудно это сделать каждому, кого спросят, о чем говорили дома за столом. Могу только с уверенностью утверждать, что о политике не говорили никогда, ни за столом, ни вообще в семейном кругу.

Всё, что хоть отдаленно относилось к политике или назначениям, можно было обсуждать с Государем или Государыней только во время работы. Для разговоров за семейным столом или даже в более официальной обстановке было много других интересных тем: бега, теннис или другие виды спорта, маневры, наука и искусство, музыка и т.д. Впрочем, во время официальных обедов можно было беседовать только с ближайшим по столу соседом. Но даже и тогда обычно темой не была ни

политика, ни иные деловые вопросы. Речи, конечно, были совершенно исключены.

После чая Государь часто рассказывал о своих путешествиях. Юношей он много ездил по Европе, бывал и в других частях света, и его рассказы бывали интересны — он обладал редкой наблюдательностью. Например, при посещении какой-либо выставки Государь время от времени останавливался для беседы с одним из художников или профессоров. Можно было оценить его исключительную наблюдательность хотя бы по тому, что, казалось, он замечал всё. Например, Государь упоминал о какой-нибудь небольшой картине, на которую никто другой не обратил внимания. Необыкновенная его наблюдательность проявлялась не только в этом. Он хорошо запоминал и людей. Одной встречи ему было достаточно, чтобы надолго запомнить и человека и его имя. Через несколько лет Государь еще помнил, когда и при каких обстоятельствах эта встреча произошла. Поэтому понятно, что рассказы Императора о его путешествиях были полны различных подробностей, особенно интересных благодаря умению всё красочно передать. Государь мог бы быть прекрасным лектором.

Боюсь, что я слишком увлеклась описанием жизни в стенах Дворца. Царская семья проводила на свежем воздухе столько времени, сколько позволяла работа. Государь занимался почти всеми видами спорта. Особенно он любил верховую езду и стрельбу [в цель]. Он был стрелком-чемпионом.

В детстве Государь часто болел и не мог соперничать в телосложении с другими Романовыми, рост которых достигал без малого шести футов. Императрица-мать была сама невысокого роста, и ее не тревожил рост ее детей. Для нее самым главным были здоровье и выносливость. И она старалась воспитать в своих детях привычку к простой жизни на открытом воздухе. Так она сама была воспитана при Датском дворе.

В юности Государыня Александра Федоровна была хорошей наездницей. Она была хорошо сложена. В первые годы жизни в России она постоянно ездил верхом, но после рождения Наследника ее ослабевшее сердце лишило ее этого удовольствия. Она также должна была прекратить далекие

прогулки и стрелковый спорт, а это было ее любимым времяпрепровождением

Лето на Финляндском Архипелаге

Когда я вспоминаю Двор, волей-неволей мрачные мысли охватывают меня. Память моя полна теми ужасами, через которые прошли Государь и Государыня. Но мое настроение меняется и, сидя в своей комнате одна, я начинаю улыбаться, когда мои мысли обращаются к летним каникулам, проведенным с царской семьей на Финляндском Архипелаге. Впервые я посетила Финляндию в 1905 году на царской яхте "Полярная звезда". Мы пробыли в Коивисто около двух недель. Именно в это время началась моя дружба с Государыней, дружба, которая длилась двенадцать лет. "Полярная звезда" принадлежала Вдовствующей Императрице, и многим, несомненно, эта яхта казалась великолепной, хотя по сравнению с роскошными яхтами американских миллионеров это было очень скромное судно. Следующие девять поездок в Финляндию, когда я сопровождала Государя и Государыню, мы совершили на царской яхте "Штандарт". Эти плавания были более продолжительны, чем первое; обычно они длились около двух месяцев.

Жизнь на "Штандарте" никак нельзя назвать неофициальной. "Штандарт" был гораздо больше "Полярной звезды" и представлялся плавающим дворцом. Команда состояла из двухсот человек. Весной 1918 года — это была весна гражданской войны в Финляндии — обе эти яхты стояли в Гельсинках.

На яхте у Государя и Государыни были свои апартаменты. Это был почти комфортабельный дом. У Государыни была спальня и ванная комната и небольшой кабинет, стены которого были затянуты ситцем. У Государя были кабинет и спальня с ванной комнатой. Между комнатами Государя и Государыни была так называемая зеленая гостиная, она же и музыкальная комната. Детские были в противоположном конце коридора. Большая столовая с длинным столом находилась на верхней палубе. Эта столовая могла легко вместить сорок человек. Государь всегда сидел во главе стола.

Порядок жизни на "Штандарте" мало чем отличался от

обычной жизни на суше. Впрочем, официальная сторона была сокращена до минимума. Конечно, Государь не мог не давать время от времени аудиенций, и два раза в неделю ему присылали для ознакомления различные донесения. Мы с Государыней наблюдали с верхней палубы, как Государь разрезал конверты, бросая их потом в море. Государя сопровождало лишь несколько должностных лиц, он хотел дать семье возможность полного отдыха.

Государь и его супруга любили порой сойти с яхты на сушу. Маленький паровой катер перевозил царскую семью на берег — на материк или один из островов, и там они полностью отдыхали от официальной стороны жизни.

То, что кажется обычным постоянному жителю Финляндского архипелага, для нас было полным интереса. Мы слушали грохот волн, ударявшихся о скалы, бродили по лесам, собирали дикие ягоды и цветы, а потом устраивали пикники. Государь унаследовал любовь к Финляндии от Александра III и Марии Федоровны, которые бывали там каждое лето.

Александр III был азартным рыболовом и Ланжинкоские пороги были любимым местом для этого спорта. Николай II рыболовом не был, не любил он и рыбу для еды, и, насколько я помню, на Ланжинкоских порогах мы были только один раз. Там мы провели замечательный день.

Государь очень любил море, любил и плавание, любил и остановки между островами. На архипелаге он также занимался стрельбой. Император был хорошим пловцом и каждый свободный момент посвящал этому виду спорта. Из всей семьи только Государыня не могла плавать из-за своего слабого сердца.

Государь любил далекие прогулки; бывало он ходил по два часа кряду, выбирая самую трудную для ходьбы местность.

Я хорошо помню различные детали этих летних поездок. Помню мой первый утренний чай на императорской яхте. Помню Государыню — в маленькой белой соломенной шляпе и в белой английской блузке с воротником завязанным черным бантом, большими бриллиантами серег и бриллиантами колец — разливающую чай и весело разговаривающую с Государем. Государь всегда называл ее "Солнышком", тогда это особенно подходило ей. Она обращала свой нежный сверкающий взгляд

на детей и говорила о них с Государем. На яхте Государь становился другим человеком. В белом кителе морского офицера он выглядел здоровым и счастливым.

Когда царская семья сходила на берег в России — ее сопровождала охрана. Имя каждого, кто обращался к Государю, подходил к нему — регистрировалось. Если это был человек неизвестный, отмечались его характерные черты, чтобы можно было установить его личность.

В Финляндии всё было по-другому. Правда, местность, где Государь останавливался, предварительно подвергалась тщательному осмотру, но постоянная и всегда неприятная охрана, бывшая правилом в России, особенно в столице и ее окрестностях, была в Финляндии совершенно излишней.

Царская семья могла так же беспрепятственно наслаждаться природой на Финляндском архипелаге, как и простые смертные.

Когда яхта приставала к побережью или к одному из островов, Государь и Государыня любили зайти в ближайшее село и часто беседовали с крестьянами. Население Коивисто и восточного рукава Финского залива кое-как могло изъясняться по-русски; в этой местности бывало много приезжих из Ст.-Петербурга. Большое количество сельскохозяйственных продуктов шло отсюда в Петербург, а жители этой части Финляндии часто ездили в русскую столицу за покупками. Это сближало две или три тысячи прибрежных жителей с русскими, и Государю и Государыне было легко общаться с ними.

Однажды во время прогулки Государыня с детьми зашла в небольшой чистенький коттедж; там они застали старую женщину за прялкой. Бедная старушка была очень удивлена этому посещению. Государыня погладила ее по голове и заинтересовалась ее работой. Старая женщина скоро поняла, кто ее гости и, улыбаясь, стала приседать в реверансах. Она приготовила кофе для Государыни и детей и подала к нему домашний хлеб.

Государь тоже часто разговаривал с крестьянами и рыбаками. Он любил беседовать со своими простыми верными подданными, но совершенно не переносил дипломатических разговоров.

Часто мы посещали и другие части Финского залива и Балтийского моря, доходя на "Штандарте" до Риги. Бывало, что

на этой яхте совершали и более дальние плавания — доходили даже до берегов Англии и Франции. "Штандарт", обогнув Европу, был и в Ялте, на берегу Черного моря.

Случилось однажды на "Штандарте" и неприятное происшествие. На борту яхты всегда присутствовал финский лоцман, также нас сопровождал постоянно капитан Либек. За "Штандартом" следовала паровая яхта "Элакоон", принадлежавшая Финляндскому лоцманскому институту. В тот день мы были в архипелаге Ганко. Погода была замечательная, и все мы сидели в большой столовой за чаем. Играл духовой оркестр. Вдруг мы почувствовали ужасный толчок. Казалось, что судно подскочило в воздух и упало опять на воду. Потом оно остановилось и левый борт его стал крениться. Всё произошло мгновенно. Посуда и вазы с цветами оказались на полу.

Государыня в ужасе вскрикнула, испуганные дети дрожали и плакали; Государь же сохранял спокойствие. Он объяснил, что мы натолкнулись на риф. Послышались звуки набата, и вся команда из двухсот человек выбежала на палубу. Матрос огромного роста, Деревенко, занялся Наследником. Он был нанят, чтобы оберегать маленького Алексея от возможных ушибов. Деревенко схватил мальчика и побежал с ним на нос яхты. Он сообразил, что котлы находятся как раз под столовой и первой может быть повреждена эта часть судна. Мы же все стояли на палубе. Левый борт яхты опускался всё ниже; в конце концов передвигаться по палубе стало невозможно. К счастью, строение рифа затормозило крен: левый борт яхты уперся в скалу. Но бок судна был пробит, и вода хлынула внутрь. Если бы яхта оторвалась от скалы, вероятно, мы потонули бы. С помощью "Элакоон'а" нас всех переправили на угольщик "Азия". Вещи, которые удалось спасти, мы завернули в простыни.

"Азия" была большим судном, на ней было несколько кают, которые заняла царская семья. Правда, каюты эти были далеко не роскошны. Помню, как около полуночи мы собрались для довольно жалкого обеда — Кюба подал его в кают-компании. Сам Государь принес таз с водой, чтобы вымыть руки. Следующие две недели мы провели на маленькой, но удобной яхте "Александрия" в Риилаhti (Riilahti). По поводу аварии было проведено тщательное расследование. Ничего не знаю о его результатах. Знаю

только, что адмирал Нилов, Гахагин, капитан "Штандарта" и капитан Либек были отданы под суд. Император помиловал всех.

*

Государь любил бывать в Финляндии. Я совершенно уверена, что он не желал ничего плохого финнам и их родине. Он был введен в заблуждение своими приближенными. Финляндия составляла всего лишь одну шестнадцатую Империи, и, совершенно естественно, Государь мало мог знать о положении в этой стране.

Я могу ручаться, что в царском семейном кругу о Финляндии всегда говорили очень сердечно. Когда Наследник подрос, он постоянно спрашивал, когда он сможет опять поехать на Финский архипелаг на "Штандарте". Государыня много раз говорила мне, что с Финляндией у нее связаны воспоминания о счастливейшем времени ее жизни. Я не сомневаюсь в правдивости ее слов; ее жизненный путь далеко не был устлан розами.

Государь всегда приезжал в Финляндию с улыбкой и в хорошем расположении духа, а когда он Финляндию покидал, у него на глазах бывали слезы. Когда-то он, шутя, сказал мне: "Это первые слезы, которые вы видите на глазах вашего Государя".

Обычно Государь и его супруга бывали на берегах Финляндии каждое лето, и теперь, когда после семнадцати лет жизни в этой стране я записываю то, что сохранилось в памяти, я понимаю, что они инстинктом не могли не чувствовать чистоты и честности этого края. Красота его суровой природы не могла не затронуть их страдающие сердца. Они возвращались из Финляндии освеженные, и здоровье Наследника там улучшалось.

Великий Князь Сергей Александрович и жизнь при Дворе во время русско-японской войны

В 1905 году мы, в Зимнем Дворце, шили белье и приготавливали бинты для раненых. Моя мать ведала всем отделением. Однажды, когда мы сидели погруженные в работу, пришла весть об убийстве Великого Князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Я уже упоминала о близких дружеских отношениях с Великим Князем и его семьей. Моя мать переписывалась с Вели-

ким Князем, они были друзьями с детских лет. Я провела много счастливых часов в Ильинском, имении Великого Князя. Там я познакомилась с Великой Княгиней Марией Павловной, позднее вышедшей замуж за Шведского принца Вильгельма, и с ее братом Димитрием.

Когда я думаю о высоком и худом Великом Князе Сергее Александровиче, мне кажется, что лучше всего можно себе представить его, вспомнив знаменитого Сервантесова Дон-Кихота.

Великий Князь всегда был очарователен и дружески настроен по отношению к нам, детям. Он горячо любил свою жену, сестру и осударыни. Но его прошлое всё было покрыто мрачными тенями. Его обвиняли, и не без оснований, в Ходынской трагедии. (На Ходынке — поле под Москвой — было народное празднование по поводу коронации Николая II.) Говорят, Государя должны были предупредить, что способность Великого Князя Сергея Александровича удержать в порядке миллионы собравшихся в Москве на торжества коронации — была под сомнением. Первые два дня прошли безупречно. Погода стояла великолепная, и празднование протекало превосходно. Когда начало смеркаться, около пятисот тысяч человек собралось на народное гулянье на Ходынском поле, окруженном незначительным количеством полицейских. На рассвете толпа прорвалась через полицейский кордон, и началась давка.

Ходынское поле было окружено окопами, так как на нем обычно происходили стрелковые маневры. Перед торжествами эти окопы были закрыты досками, и они, конечно, не могли выдержать огромной тяжести толпы; во время панического бегства были задавлены тысячи людей. Погибло по крайней мере пять тысяч человек.

Государю советовали прервать торжества. Но ничего не было сделано. Ходынская трагедия была воспринята как страшное предзнаменование для начинающегося царствования. Каждое упоминание о коронации воскрешало в памяти всё связанное с этим днем.

Я знаю, что Сергей Александрович был хорошим и добрым человеком. Он никому не желал зла, но, говорят, он не мог справиться со своим высоким назначением.

Помню народное празднование в Ильинском, устроенное по поводу именин Великого Князя 5-го июля. Был очень жаркий день. Из Москвы приехала толпа длинноволосых студентов и старшеклассниц. Они все стояли недалеко от Великого Князя и его гостей и глумливо смеялись. Великий Князь обратил на них внимание и велел своим адъютантам угостить эту молодежь холодными напитками, так как было очень жарко. Адъютанты бросились выполнять распоряжение Великого Князя. Настроение студентов моментально изменилось; они сняли фуражки, и адъютанты доложили Великому Князю: "Ваше высочество, они пьют за здоровье вашего высочества и просят принять их благодарность".

Мы встречали Великого Князя, когда бывали за границей. Однажды в Неаполе он говорил моей матери, как огорчила его женитьба его брата Павла Александровича на разведенной жене генерала Нистолкорс. Жена Великого Князя позже была известна под именем княгини Палей. Сергей Александрович очень любил своего брата Павла и его первую жену Александру Георгиевну, дочь греческого короля, которая умерла в Ильинском, родив сына Димитрия Павловича. Помню день смерти Великой Княгини, она скончалась в муках. На похороны приехали многие ее родственники, между ними мать Александры Георгиевны, греческая королева Ольга, следовавшая за катафалком вся в белом. После смерти Великой Княгини Великий Князь Сергей Александрович был назначен опекуном детей покойной — Марии Павловны и Димитрия Павловича. О лучшем опекуне невозможно было мечтать; Великий Князь любил племянников, как можно любить только родных детей. У него самого детей не было. Его жена, Елизавета Федоровна, ее называли тетя Элла, заботилась о детях, но не была так близка с ними, как ее муж. Она всегда чувствовала свое несчастье — бездетность.

*

Теперь я должна рассказать о самом убийстве. Великая Княгиня знала, что ее муж постоянно подвергался опасности покушения на его жизнь. Поэтому она всегда настаивала, чтобы он не отлучался из Кремля без охраны. Обычно она сама сопровождала его. Но в трагический день 4-го февраля 1905 года Великий Князь

был в подавленном настроении и вышел из дворца не предупредив свою жену.

Послышался ужасный взрыв, все окна дворца задребезжали, смертельно испуганная Великая Княгиня закричала — "Это Сергей". Она не ошиблась. Экипаж Великого Князя был разбит вдребезги. Взрыв бомбы не оставил от тела ничего. Великая Княгиня сама собирала всё, что осталось от ее мужа на снегу, и положила его останки в детский гробик.

Великая Княгиня Елизавета Федоровна была очень религиозна. Ее любимыми словами были "Прощайте и вам простится".

Террорист был арестован, но не был осужден без суда. Несмотря на свое ужасное горе, Великая Княгиня жалела несчастного, заключенного в одиночной камере в ожидании суда. Это было характерно для нее. Она навестила убийцу и сказала, что прощает его. Опустившись на колени на каменном полу камеры, она молилась вместе с ним.

Читатели этих записок могут заподозрить, что это фантазия, но я утверждаю, что это правда. Сама я, должна признаться, не могу понять Великую Княгиню.

*

Это было время, когда я начала свою службу при Дворе. По сравнению с предшествовавшим периодом атмосфера была мрачной. Двор был в трауре после убийства Великого Князя. Все офицеры носили черную повязку на рукаве, а дамы были одеты в черное. Мрак усиливался далеко не обнадеживающим положением на Дальнем Востоке.

С самого детства моя жизнь была связана с жизнью Двора. Теперь служба Государыне стала смыслом моей жизни. Я была тесно связана с Императрицей, и я видела только лучшие стороны жизни Двора.

Во время поездок на яхте, где жизнь была свободна и легка, я всё же не могла не обратить внимания на некоторые стороны дворцовой действительности. Моим глазам стала открываться неискренность и только показательная почтительность по отношению к Государю и Государыне. Часто случалось, что стоило им выйти из комнаты, как те, кто особенно низко кланялись и льстили, собирались в группы и критиковали их. Даже моя скромная лич-

ность далеко не была безупречной. Тогда я еще недостаточно хорошо владела французским языком, и дворцовые дамы посмеивались надо мной. Случалось, что мне давали и нарочито неправильные указания относительно того, как надо быть одетой в том или ином особом случае.

Как же проходила жизнь царской семьи в те зимние месяцы?

Конечно, веселые празднования прекратились. Остались только официальные и религиозные торжества. Официальные приемы и церковные службы бывали в дни именин и дни рождений Государя и Государыни, но больших обедов и великолепных военных парадов во время русско-японской войны уже не было. Конечно, дни именин и рождений праздновались, но лишь в семейном кругу. Подарки, золотые и серебряные предметы, игрушки для детей всегда расставлялись в комнате Государыни. Центральное место, как это принято в Германии, занимал большой торт.

На шестнадцатый день рождения держава даровала Великим Князям бриллиантовое и жемчужное ожерелье. Государыня, с врожденной немецкой экономностью, дарила дочерям один бриллиант и один жемчуг каждый день рождения и каждые именины. Таким образом к шестнадцатилетию у каждой Великой Княжны было достаточно бриллиантов и жемчугов для ожерелья.

На Рождество в Царском Селе бывало три елки: одна внизу, в большой гостиной Императрицы, вторая наверху в детской и третья — тоже наверху, в коридоре, — для дворцовых слуг. Первой зажигали елку в детской, тогда же дети получали подарки. Подарки бывали и очень ценные, но царские дети никогда не думали о их денежной стоимости. Они радовались и небольшой кустарной вещице и недорогой игрушке, так же, как и дорогому подарку. Ценными подарками они могли пользоваться только на официальных торжествах.

Алексею часто дарили оловянных солдатиков, миниатюрные пушки и т.п. Он играл с ними, а Анастасия, на три года старше его и большая шалунья, — дразнила брата, сбивая ряды солдатиков и становясь в позу победителя на поле сражения. Сначала Алексей очень огорчался, но вскоре перестал обращать внимание на шалости сестры.

Однажды на Рождество Алексей получил в подарок заводной

поезд. Он часто играл этим поездом с отцом, останавливал его между двумя станциями, устраивал крушения и т.п.

Второй зажигалась елка для слуг. Они тоже получали подарки — сувениры и деньги. Позднее вечером Государь и Государыня шли в большую гостиную, к своей елке. Они всегда получали много подарков, главным образом от родственников как в России, так и из заграницы. Государыня посылала подарки и миниатюрную украшенную елочку своим фрейлинам.

Кончалось празднование церковной службой. Государь и Государыня брали детей или в Ст.-Петербург, в церковь Аничкового Дворца, резиденцию Вдовствующей Императрицы, или же в Гатчину, если Вдовствующая Императрица находилась там.

На следующий день зажигалась елка в царскосельском манеже для полков, охраняющих Дворец. Каждый рядовой получал подарок серебром; офицеры получали ценные подарки. Подарки раздавали Великие Княжны.

Пасха праздновалась торжественно. Перед войной в Зимнем Дворце бывала церковная служба, после которой устраивался торжественный прием. Когда царская семья находилась в Царском Селе или в Крыму служба бывала в дворцовой церкви. Государь с семьей начинали поститься за шесть недель до Пасхи. На пасхальном столе были куличи, сырная пасха и, конечно, много крашеных яиц.

После пасхальной службы и в пасхальные дни по русскому обычаю все целуют друг друга — христосуются. На Пасху, где бы ее ни праздновали — в Царском Селе или в Крыму, Государь христосовался с солдатами. Помню, как мы стояли за большой застекленной дверью и любовались церемонией, происходившей в малом дворе живописного дворца в Ливадии, в Крыму. Государь, маленького роста, должен был подниматься на цыпочки, чтобы поцеловаться с рослым гвардейцем, а тот бережно нагибался к Императору. Некоторые застенчиво засовывали красное пасхальное яичко в руку Государя; он же дарил солдатам фарфоровые яйца со своими инициалами.

Государыня была занята в другом месте. Она христосовалась со школьницами и дарила им пасхальные яйца со своими инициалами.

Христосовались и во Дворце. Государь и Государыня целовались со всеми своими подчиненными.

Со мной Государь впервые похристосовался, когда я играла с детьми в детской. Он вошел в комнату и похристосовался со всеми. Те, кто не знает, с каким почтением относились к Императору в России тех дней, не сможет понять, какой огромной честью казался царский поцелуй. Я была потрясена.

Жизнь в Крыму

Царская семья провела много счастливых дней в Крыму, в Ливадии, где Александр II купил дворец для своей туберкулезной жены. Александра III перевезли в Крым во время его болезни с надеждой, что знающие врачи и замечательный крымский климат окажутся чудодейственными для его больных почек.

Крым — это рай на земле. Трудно описать его красоту. Там осенью приходит весна, и на кустах вновь завязываются почки. Крымские долины и равнины — это сплошной сад, крымские виноградники можно сравнить только с французскими. Вина в России изготовлялись из крымского и кавказского винограда. Крымское шампанское почти не уступает французскому. И я до сих пор помню замечательное сладкое крымское вино.

Царская семья любила Крым. Когда вся Россия бывала покрыта снегом, в Крыму стояла прекрасная летняя погода. Крым был местом отдыха и развлечений как для семьи Императора, так и для русских состоятельных людей. Здесь было излечено много простуд и других болезней. Врачи обычно посылали в Крым выздоравливающих. Когда я состояла при Дворе, дворцовым врачом был Евгений Боткин. Боткиных было два брата, оба — врачи, и оба жили в Ст.-Петербурге.

Когда стоял вопрос о назначении дворцового врача, выбор Государыни остановился на Евгении Боткине, а не на его знаменитом брате, профессоре Сергее Боткине. По ее мнению, обыкновенный врач заслуживал больше доверия, чем модный и известный.

Кроме замечательного климата, Крым привлекал и своими фруктами, они тоже помогали восстановлению здоровья. Каких

только фруктов не было в Крыму! Яблоки, вишни, груши, персики, сливы, миндаль — и это еще далеко не всё. Восхитительный аромат цветов и фруктов наполнял всю царскую дачу. Большие вазы с цветами и фруктами стояли на всех столах во всех комнатах.

За прекрасными садами гордо высились горные вершины, круглый год покрытые снегом. Они были чарующим фоном для плодоносных и цветущих долин и равнин, расстилавшихся у их подножья.

И все эти чудеса природы завершало море, голубое, как небо, и спокойное, как солнечный день.

Крым населяли татары. Мужчины — рослые и стройные, женщины под стать им, и часто красавицы. Татары — магометане, и даже в те дни, когда мы жили в Крыму, татарки закрывали лицо чадрой. И мужчины и женщины были одеты в живописные национальные костюмы. Мужчины — в круглых меховых шапках, вышитых куртках и облегающих белых панталонах. Женские костюмы — яркие, с развевающейся чадрой, руки все в браслетах. Они красили волосы в вишнево-красный цвет и носили на головах маленькие шапочки.

Хоть крымское население и было не русским, его живо интересовала жизнь царской семьи. Могу заверить моих читателей, что население Крыма любило и царя и его семью.

Пасха в Крыму была всегда замечательной. Все фруктовые деревья в цвету, в воздухе — аромат. Пасхальные дни — лучший сезон в Крыму.

Царская семья причащалась в Страстной понедельник. Войдя в церковь, Император и его супруга подходили к алтарю и кланялись на все четыре стороны. После этого они прикладывались к образам. Несмотря на свою худобу и бледность, Императрица в белом платье и белой вуали на голове была очень красива. К концу службы она бывала так утомлена, что стать на колени и подняться было ей почти не по силам. Алексей трогательно помогал ей, поддерживал ее.

Когда мы впервые приехали в Крым, так называемый Крымский дворец был скромным дачным домом с большой верандой. Комнаты были большие, но темные и неприветливые. Только столовая была солнечная, просторная и действительно

удобная. За столом Государь должен был быть и хозяином и хозяйкой; здоровье Государыни часто не позволяло ей выйти. Государыня страдала от сердечных припадков, при которых у нее синели руки и она задыхалась. Как я уже говорила, сначала ей удавалось скрыть болезнь, но в конце концов она должна была обратиться за медицинской помощью. Верный Боткин, назначенный самой Государыней, был очень внимателен. Позднее он добровольно последовал за царской семьей в сибирскую ссылку; верность его не имела границ, и он разделил участь Государя и его семьи. Из-за состояния своего здоровья — слабость сердца — Государыня не могла много двигаться. Она часами лежала в саду или ее возили в кресле: иногда она ездила в небольшом экипаже, запряженном пони. Лошадь вел под узцы грум.

Государь проводил много времени на свежем воздухе. Я играла с ним в теннис и раньше, в Крыму же мы играли почти каждый день с Великими Княжнами и офицерами из команды "Штандарта". Офицеры приезжали для участия в игре из Ялты, где стояло судно.

Государь любил далекие прогулки, и прогулками он мог насладиться в Крыму вволю. Когда дети еще были маленькие, а Государыня уже была больна, Государь время от времени брал меня с собой. Мы проходили в среднем пять верст в час. Я была тогда здорова и хорошо закалена и попевала за Государем. Во время этих прогулок я могла убедиться, как царь любил природу. Он всегда замечал всё, что нас окружало, показывал мне растения и животных и обращал мое внимание на пейзажи.

Когда мы жили в Крыму, царь, чтобы испытать обмундирование рядового, надевал солдатскую форму, брал солдатский ранец и ходил так целый день в горах. Он мог пройти гораздо большее расстояние, чем это требовалось от рядового, и возвращался свежим и бодрым. Однажды после такой прогулки, когда царь возвращался в солдатской форме, часовой не узнал его; пришлось телефонировать дежурному по охране офицеру. Царь наградил часового за хорошую службу часами.

Царской семье не полагалось делать покупки ни в Ст.-Петербурге, ни в Царском Селе. В Крыму же, особенно в дождливые дни, когда на улицах города было не много людей, царица с

детьми ехала в Ялту (четыре или пять верст от Дворца), они оставляли экипаж на одной из боковых улиц и шли на набережную, где были магазины. Однажды в лавке Сембинского, который торговал старыми картинами, рамами и пр., Государыня поставила мокрый зонтик в углу, где сложен был всякий хлам, и начала рассматривать выставленные товары. Вдруг Сембинский воскликнул: "Мадам, как вы смели поставить мокрый зонтик на мои товары!". В это время он повернулся к окну и увидел большую толпу, собравшуюся возле лавки; люди старались заглянуть внутрь магазина и с интересом наблюдали за каждым движением Государыни и детей. Бедный Сембинский понял, кто была его покупательница, и побледнел. Государыня рассмеялась. Мы с трудом протиснулись сквозь толпу, которая, не обращая внимания на дождь, не расходилась в надежде увидеть царицу и детей. По дороге к экипажу Государыня и дети пожали много рук. Нашлись и любители сувениров: пуговиц от пальто Государыни, кусочков носового платка.

Царские дети не знали стоимости денег. Своих денег у них вообще не было, разве что во время экскурсий, подобных описанной. Помню, как они удивились, что лавочник дал сдачу. Они хотели знать, почему он не взял себе всех денег.

*

Мы не раз — то на лошадях, то пешком отправлялись в горы, величественные цепи которых всегда привлекали нас. Большим удовольствием было навестить простых горцев. Часто мы заходили в горный коттедж, принадлежащий Императрице, где освежались свежим или кислым молоком.

Сырую и мрачную дачу, приобретенную когда-то Александром II, Государь и его супруга заменили Крымским дворцом. Это был замок из белого мрамора, построенный по проекту архитектора Краснова. На протяжении двух лет Краснов совершил чудо. Прекрасный Дворец в стиле итальянского Ренессанса был настоящей жемчужиной; такое архитектурное творение можно было встретить только в Италии. Дворец и окружающие его постройки, из соответствующего материала и в

соответствующем стиле, составляли одно гармоническое целое. Это был как бы миниатюрный город.

Рядом с дворцом была построена и белая дворцовая церковь. Апартаменты их величеств были на втором этаже. Слева от входа была столовая, гостиная, кабинет Императрицы, светлая угловая комната и балкон с открывающимся замечательным видом на Ялту. Следующая за кабинетом комната вела на балкон нижнего этажа, где была спальня Государя и Государыни. Большой кабинет Государя находился над угловой комнатой Алексея — это была его комната для игр; все детские спальни были на том же этаже, что и комнаты Государыни, и все они выходили на большой белый балкон. Когда я вечером шла к себе, Государь часто желал мне спокойной ночи, махая газетой из своего окна, находившегося как раз против моего. Государыня по вечерам следила, есть ли свет в моем окне; мне не разрешали принимать гостей поздно вечером. Если Государыня видела свет, она звонила мне и велела ложиться спать. Государыня была очень строгой с Великими Княжнами, им не разрешался даже самый легкий флирт.

В Крыму и вдоль побережья Черного моря было много имений и дач русских аристократов. Мы часто ездили в гости в эти имения, и Государь и Государыня принимали ответные визиты. Во дворец приезжали и видные иностранцы и члены семьи царствующего дома. Хотя жизнь в Крыму была менее официальна, чем в столице и в Царском Селе, всё же ее нельзя сравнить с простотой жизни на Финляндском архипелаге.

Крым, без сомнения, ничем не уступал знаменитым курортам континента. В Крыму у Императора и Императрицы постоянно бывали гости. Перечисление их имен заняло бы слишком много места, даже если бы я и могла вспомнить их. Ограничусь упоминанием только некоторых.

Одним из наиболее оригинальных гостей, появившихся за царским столом, был старый князь Лев Голицын. Его поместья в этой части страны были широко известны. Он часто приезжал засвидетельствовать свое почтение Государю. Костюмы князя Голицына всегда были эксцентричны, и за столом он смешил всех собравшихся.

Я уже говорила, что из-за стола вставали только по знаку

Государя и что обед длился полтора часа. Второй — дневной завтрак тоже часто затягивался, особенно в Крыму.

Все застыли на своих местах, когда однажды за официальным вторым завтраком князь Голицын обратился к Государю: "А не время ли уже встать из-за стола?" Царь не был ни мало обескуражен, он простил князю его эксцентричную выходку и поднялся со своего места. Его примеру последовали гости.

Одно из поместий князя Голицына, вблизи Феодосии, называлось "Новый свет". Однажды князь, явившись с официальным визитом к Государю, сообщил, что он хотел бы подарить ему часть этого имения. Государь принял подарок и поблагодарил.

Тем же летом Государь решил посмотреть на это имение. Мы все отправились туда на "Штандарте". Оказалось, что новое поместье Государя было большой голой горой — ни былинки нельзя было найти на ней. Государя очень рассмешил этот принятый им с благодарностью подарок.

Другой раз мы были у князя Голицына, чтобы посмотреть на его имение. С нами были тогда Великий Князь и Великая Княгиня Гессен-Дармштадтские. Князь Голицын потчевал гостей замечательными винами из своих погребов.

Бывал во дворце еще Эмир Бухарский. Этот магометанский князь считался сказочно богатым и был чрезвычайно щедр, он осыпал драгоценными подарками царскую семью.

Поездки с царской семьей за границу

Из всех поездок за границу хочу остановиться на поездке во Францию и в Англию в 1910 году. Франция торжественно встречала Императора; по всему пути царского поезда — от границы и до Парижа — был выстроен караул. В это посещение Франции царская чета занимала апартаменты Марии Антуанетты и Людовика XVI. Императрице был преподнесен прекрасный портрет Марии Антуанетты, который потом всегда, до самого конца ее царствования, занимал почетное место в ее покоях.

В 1912 году царская чета вновь была за границей. В этот раз Государь и Государыня жили недалеко от Бад-Наугейма, в

Германии, где Государыня проходила курс лечения по предписанию доктора Боткина.

Царская семья жила в старинном замке, принадлежавшем герцогу Эрнесту Гессенскому, брату Императрицы. Замок находился вблизи водолечебного института, который царица посещала ежедневно. В тот же период времени мой отец лечился в Гомбурге, недалеко от Бад-Наугейма, и я часто навещала Императрицу в Фридбургском замке. Этот старинный замок был замечателен своими садами и замысловатой архитектурой. В замке жила тогда и вся семья Герцога Гессен-Дармштадтского. Однажды, когда я была у Императрицы, Государь передал мне приглашение Великого Герцога Гессенского провести в замке несколько недель. Во время моего пребывания там было несколько больших семейных обедов и ужинов, но Государыня могла присутствовать только на немногих — ей был предписан полный покой.

Каждый день мы предпринимали далекие поездки на автомобиле, а вечером взрослые и дети играли в прятки на всей территории огромного замка. Эхо старинных покоев откликалось на наш шум и смех. Наигравшись вволю, мы рано расходились по своим комнатам. Государь тоже направлялся в свои апартаменты.

Большим удовольствием для Государя и его детей было посещение магазинов. Государь купил целый ряд предметов, которые нельзя было достать в России. В разных частях Германии продавались сувениры — местные кустарные изделия, трубки, альбомы для фотографий и пр.

Однажды Государыня сообщила мне по телефону, что Государь с дочерьми направляется в Гомбург за покупками. Царская семья оставила автомобиль в парке, где я встретила их, и мы пошли вдоль главной улицы, останавливаясь почти перед каждой витриной.

Государя забавляла возможность расходовать деньги — дома он ничего не покупал, и у него никогда не было денег в карманах.

По улице ехал огромный фургон, нагруженный большими ящиками с почтой. Вдруг один из ящиков упал на мостовую.

Государь бросился помогать рабочим поднять ящик. Несмотря на свой небольшой рост, Государь был сильным.

Я спросила Его Величество, почему он так поступил, ведь было достаточно людей, чтобы поднять ящик. Государь объяснил свой поступок желанием показать детям, что нет недостойной работы и что они ничем не лучше других людей.

Нас скоро узнали и вокруг нас собралась толпа. Откуда-то появился фотограф. Пришлось спешно ретироваться.

Но вернусь к семейным обедам в Фридберге, на которые съезжалось много родственников. На первом таком обеде я сидела между Государем и Великим Герцогом Эрнестом. Стол был очень узкий. Против меня сидел принц Генрих, брат кайзера. Он был известен своей резкостью. На этом обеде он сначала делал язвительные замечания по адресу своей жены, а потом стал очень внимательно рассматривать меня и через некоторое время обратился к своему соседу по столу: "Я не поверю, что эта женщина может быть предана дорогой Аликс. Она интриганка". Я чуть не потеряла сознания, но Великий Герцог Эрнест незаметно для других сжал мою руку и прошептал: "Не обращайтесь на него внимания. Он всегда такой".

Весь следующий день я чувствовала на себе бледный, но пронизательный взгляд принца Генриха, и была совершенно сражена, когда он оказался за столом опять на том же месте, против меня. Он сразу же повернулся ко мне и сказал: "Я внимательно наблюдал за вами весь день и пришел к заключению, что вы по-своему, просто и честно, привязаны к царю и царице. Вы верны им искренне и бескорыстно. Теперь я расскажу вам о себе". И он рассказал, что он — адмирал и что на него, как на адмирала возложено руководство немецким флотом, что все улучшения и нововведения во флоте его личная заслуга. Завистливый кайзер, по его словам, всеми путями старается досаждать ему и препятствует его деятельности, стремясь приписать себе всю честь модернизации флота. Я до сих пор не могу понять, как этот сухой человек, не зная меня близко, мог говорить со мной так откровенно.

Семья принца Генриха, как я уже упоминала, тоже страдала гемофилией. Один из его сыновей умер ребенком, упав со стула.

Другой был болен. Его жена, скромная принцесса Ирена, была всегда со всеми очаровательна.

Приемы при прусском Дворе отличались от приемов русского Двора тем, что статс-дама (Пленкер) всегда присутствовала на них. Эта дама и камергер принца рассказывали мне, как скучно и однообразно протекала жизнь принцессы Ирены в Киле. Принц — постоянно в море, а правила этикета гораздо строже ограничивали, чем этикет русского Двора. Больше того, по их словам, дворцовая жизнь в Германии была невыразимо скучна, и самыми скучными были вечера, проведенные с кайзером Вильгельмом. Кайзер обычно читал вслух газеты или же чисто техническую литературу, которые никому не были интересны. Императрица должна была сидеть и слушать, умеряя скуку вязаньем, которое, впрочем, она никогда не доводила до конца: связанное сегодня, она завтра распускала. Все остальные, сидя на почтительном расстоянии, должны были быть тихи, как мыши. Всеобщее молчание нарушалось только, если кайзер задавал кому-нибудь вопрос или подзывал к себе.

Впервые в видеала крон-принца на балу у Великого Князя Михаила Николаевича. Я танцевала с ним вальс и котильон.

Жену крон-принца Сесилию я знала давно. Еще детьми мы играли с ней в Биаррице, на берегу Бискайского залива. Она была дочерью Великой Княгини Мекленбургской Анастасии Николаевны, дочери Великого князя Михаила Николаевича. Великая Княгиня была знакома с моими родителями и приглашала нас к своей младшей дочери.

Ее старшая дочь, теперь Датская королева, была тогда как раз обручена. Помню, как без всяких церемоний, Великая Княгиня познакомила нас, сказав: "Это моя старшая дочь Адина".

Предполагали, что Сесилия выйдет замуж за Михаила Александровича, брата Государя. Она даже изучала русский язык. Но брак не состоялся, против него возражала Вдовствующая Императрица Мария Федоровна; она считала, что молодые люди слишком тесно связаны кровными узами. Принцесса Сесилия была красива и талантлива. С принцем Вольдемаром, старшим сыном принца Генриха и принцессы Ирены, я

встречалась несколько раз во время поездок в Прибалтику. Он тоже страдал гемофилией, но его болезнь проявлялась не очень остро.

Герцог Эрнест, брат Государыни, был очень талантлив и был большим знатоком искусства. Государыня была к нему очень привязана. Его первый брак с принцессой Викторией Гобургской был несчастлив. Они развелись, и принцесса Виктория вышла замуж за Великого Князя Кирилла Владимировича.

У Герцога Эрнеста и принцессы Виктории была одна дочь — принцесса Элизабета, милая девочка. Царские дети очень любили ее. Когда герцог получил развод, он приехал в гости к Императрице и охотился в Черновицком замке в Польше. Замок был окружен большим лесом, в котором водилось много разной дичи и лоси, дикие медведи, даже буйволы. Герцог привез с собой дочурку, она любила гостить у всегда баловавших ее кузин.

В этот приезд маленькая принцесса смертельно заболела. У нее поднялась высокая температура. Болезнь была непонятной — это или был вид кори, или брюшной тиф.

Нет слов, чтобы описать горе всех родственников и населения Гессена. Государыня от слез занемогла и проболела несколько недель. Разведенные супруги встретились у гроба дочери. В Дармштадте был поставлен памятник с выгравированными на нем словами: "Одним цветком на земле меньше, одним ангелом в небесах больше".

Несколько слов о русско-японской войне

Русско-японская война проходила в 7 000 километров от Ст.-Петербурга, но она сыграла роковую роль в дальнейшей истории России.

Во время беспорядков 1905 года я была с родителями в Париже. Мы тогда не могли разобраться в причинах происходящего. Мы знали только, что события несут трудности Государю и всей царской семье. Меня охватило желание вернуться к Государыне, я знала, как она страдала. После долгих драматических переговоров и дискуссий октябрьским манифестом 1905 года России была дана Первая Дума. Император не

хотел подписывать манифест. Он не был уверен в зрелости русского народа для парламентской системы управления. Государь знал и опрометчивость русских и их склонность к политическому теоретизированию. Вдовствующая Императрица тоже была против манифеста (об этом скажу дальше). В конце-концов Государь сдался и манифест подписал.

Императрица рассказывала мне, что она и Великая Княгиня Анастасия (жена Великого Князя Николая Николаевича) сидели в соседней комнате, когда Великий Князь Николай Николаевич принес Государю манифест для подписи; у них было такое чувство, будто младенец должен был появиться на свет в комнате рядом. Император не мог решиться поставить свою подпись под документом, пока Великий Князь не потерял терпенья и не сказал, что он готов застрелиться.

На первом заседании Думы в Большом Тронном зале Зимнего Дворца Император произнес речь. Я до сих пор помню его чистый звенящий голос. Речь Государя была встречена дружными аплодисментами, но этим его участие в Думе и ограничилось. Одна старая дама, стоявшая возле меня, сказала: "Сейчас мы хороним Россию".

Буржуазия представляла себе, что взяла контроль в свои руки. Если бы она полностью осознала ошибочность этого, Россия не стала бы тем, что она есть теперь. Интеллигенция всё еще тешила себя надеждой, что может управлять народом России с помощью этого народа.

Дума заседала два месяца перед тем, как Государь воспользовался своим правом распустить ее. Ничего конструктивного за эти два месяца сделано не было.

Лето 1906 года было летом революции. После роспуска Думы ее члены занялись "просвещением" провинции. И они действительно "просветили" провинцию: крестьяне жгли помещичьи дома — пожары разлились по всей России. Самый страшный вред был уже причинен. Виноградники и фруктовые сады уничтожали, скот били, дома сравнивали с землей, никто не пожинал никакой пользы. В этой обстановке царь назначил премьер-министром Столыпина, и Столыпин начал наводить в России порядок. Он действовал бесстрашно и непреклонно.

Столыпин был не только исключительно сильной

личностью, он был государственным мужем с исключительно острым пониманием нужд страны. Зная, что Россия страна сельскохозяйственная, он уделял особенное внимание сельскохозяйственным реформам.

Своими мудрыми реформами Столыпин открыл перед каждым крестьянином возможность выйти из общины ("Мира") и приобрести и возделывать, с помощью правительства, собственную землю. Созданием широкой сети зерновых элеваторов, принадлежавших Государственному банку, он дал крестьянам возможность хранить зерно и, с помощью достаточных государственных кредитов, продавать его за выгодную цену. Очищенное и сортированное в элеваторах зерно было достаточно высокого качества и для экспорта.

Но, конечно, Столыпин был нежелателен для сеющих недовольство среди населения левых кругов. В первый же год его пребывания на посту премьер-министра в дом Столыпина была брошена бомба. В результате взрыва двое его детей остались калеками на всю жизнь. На жизнь Столыпина были покушения, но он не сдавался. Ему удалось восстановить порядок, промышленность начала развиваться и финансовые круги были удовлетворены.

Столыпин был настойчив, уверен в себе и непреклонен. Он не был лично близок с Государем. Окружение старалось поколебать доверие Императора к премьер-министру, и, я помню, однажды во время чая Государь заметил: "Столыпин был бы рад занять мое место". Но, в общем, Столыпин ему нравился. Помню, как Столыпин приезжал в Финляндию и подолгу дружески беседовал за столом с Императором и Императрицей. Он приезжал ненадолго и по государственному делу. Я сфотографировала его тогда. Мои родители были в дружеских отношениях со Столыпиным и его семьей. Я помню, как царская чета с энтузиазмом реагировала на знаменитую речь Столыпина в Думе, когда он, обращаясь к левым партиям, воскликнул: "Вам нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия". Однажды Столыпин пригласил меня в свой вагон в поезде между Петергофом и Ст.-Петербургом. Специальный министерский вагон прицеплялся к концу состава поезда, и из его большого окна можно было видеть убегающие вдаль рельсы. Мы сидели за

столом, и он, просматривая бумаги, говорил со мною о наших семьях. Тогда его правая рука была повреждена, и писал он с трудом.

Столыпин был убит в Киеве 14-го сентября 1911 года. Можно сказать, что с этого дня Россия вошла в новую фазу своей истории. В последний раз мы видели Россию во всей ее силе в день 300-летия дома Романовых. Но и эти торжества уже не вдохновляли.

Центром празднования был Мариинский театр в Ст.-Петербурге. Состоялись большие приемы и в Зимнем Дворце, и в Москве. На этих приемах уже чувствовался холодок в отношении к Императору и Императрице. Из Москвы царская чета направилась к Волге, где была встречена народом с огромным энтузиазмом. Население городов и сел, стоя на коленях в воде, приветствовало следовавших вдоль берегов могучей реки Императора и его супругу. Государь и Государыня путешествовали на пароходе "Мешем", обновленном для этой цели.

Период времени, о котором идет речь, был одним из самых беспокойных за всю историю России. Но всё же это было мирное время, и его я провела с царской семьей. По тихому течению семейной жизни императорского дома невозможно было предугадать силу бури, нависшей над страной.

Я часто читала и слышала, что царь должен был в эти годы принять решительные меры, которые предупредили бы надвигающуюся революцию. Легко быть мудрым постфактум. Я уверена, и мою уверенность подтверждают знающие люди, что в российских правящих кругах многие понимали невыносимость положения. Но знать о положении или знать, что именно следует предпринять — разные вещи. История подобна камню, пушенному под откос; он безостановочно катится вниз, пока каким-то образом опять не достигнет состояния равновесия.

А. А. Вырубова

О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Как только хватило храбрости придти к большому человеку, поэту, мыслителю, ученому в его кабинет на Арбате? Или же это гнала фильская тоска? Я была стриженная, замерзшая, угрюмая и — дерзкая. Помню первый визит в квартиру Вячеслава Ивановича. При разговоре присутствовал Иван Моисеевич Дегтяревский, верный оруженосец поэта и его подголосок. В дальнейшем устроитель пушкинского семинара в своем доме (Староконюшенный, 4), известного, как студия Гунста. Разговора не помню. Впоследствии Вячеслав Иванович говорил мне: — Вы имеете обыкновение не нравиться сразу. Я тоже подумал тогда — "что-то странно"... Но потом ... потом ...

Я стала бывать в Большом Афанасьевском. Как-то хорошо, легко получалось входить в эти двери, непринужденно завязывалась беседа. Доверчиво, щедро рассказывал В.И. о своей покойной жене Зиновьевой-Аннибал, об ее необыкновенном даровании постигать человека. Вспоминал о ее тяжелой смерти — она задохнулась, заразившись скарлатиной, волновался, ходил по комнате. Я с замиранием сердца смотрела на большой портрет сильной, властной женщины, висевший в простенке. Позднее мне стало известно о посмертном общении поэта с умершей возлюбленной. Гершензон говорил, что Лидия Дмитриевна была не менее одарена, чем ее гениальный муж. Она умела находить общий язык с деревенской старушкой и равно с представителем высшей культуры. Она была автором книг

О ВЯЧ. ИВАНОВЕ

“Трагический зверинец”, “Грицать три урода”, “Кровь и кольцо”.

Я не могла во-время познакомиться с ее произведениями, а затем они пропали с книжного рынка совсем. Но то, что мне довелось прочитать, пугало каким-то необузданным протестом, экзальтированностью, вызовом. Характерны для нее запомнившиеся строки:

— Я б устроила в бане бал.

— Я Зиновьева-Аннибал.

Впрочем, тогдашнее мое суждение был незрелым. Думается, что она принадлежала к авторам более талантливым в жизни, чем в произведениях.

Настало теплое время, стаяли снега. Моя бритая голова оделась кудрявой шевелюрой. В.Ив. был нежно-внимателен и участлив ко мне. Он удивлялся моей интуиции, угадыванию мыслей. Так я чутьем узнала о его пристрастии к Городецкому. Об этом кратковременном взрыве взаимного влечения.

В ту весну и лето я посвящала В. Ив. стихи. Не всё уцелело. Были строки:

Как страстно я запомню это лето,
Где царственным вниманием согрета
Я в ласточку менялась из совы.
О, древнее лукавство жизни,
Приоткрывающее путь к отчизне,
Зеленый цвет травы!

Война, потрясения, бесхлебица, неустроенность — всё преодолевалось тогда силами молодости, встречей с гением, безгранично душевно-богатым.

К этому лету относится также моё признание.

— Через меня послана

Белая роза,
Роза бездонного мира
Поцелуем глубин благовонных,
Веяньем звездного неба
Навстречу сиянию в Боге
И вечной живости веры
Даром любви.

Прочитав врученный ему листочек В. Ив. взял меня за руку и

долго, долго безмолвно смотрел в глаза. Мне даже стало неловко.

Об этом посвящении Гумилев впоследствии говорил: — Отголосок символизма. Идет певец по дороге и поет. А женский голос следует за ним, прячется в кустарнике и подпевает...

Году в 20 (?) Вячеслав Иванович уехал в Баку в поисках лучшего устройства жизни. От очень любил свою семью и всемерно о ней заботился. Расставанья не помню. В 1924 году Вячеслав Иванович с Лидой и Димой вернулся в Москву и остановился в Доме ученых. Намечался скорый отъезд его в Италию при содействии Луначарского. Религиозному философу не находилось места в нашей стране. Он спрашивал обо мне, посылал знакомых съездить за мной на Фили и наладить встречу.

В Арбатском переулке в помещении школы Маяковский читал доклад о рифме, а Вячеслав Иванович сидел в Президиуме в качестве оппонента. Гуда я пришла для встречи с ним. Во время доклада я захотела переменить место и встала со стула. В.И., думая, что я уйду, вышел из-за стола, подошел и шепнул:

— Не уходите, я хочу с вами поговорить...

Так началось наше второе знакомство.

Он допытывался о моем семейном положении, я отвечала уклончиво. Он сердился. Он прелестно сердился. Жалел, что жизнь так неустроена.

— С некоторых пор я замечаю, что мысль о вас сопровождается музыкой...

Смотрел на фото и говорил: — Прелестная девушка, в которую я влюблен...

— Надо поставить маяк внутренний и внешний...

Я спрашивала: — Кто к вам ходит? — Ко мне ходят только поэты.

— Расскажите о себе...

— Я как принц в построенной башне. Мир в основном уже познан...

Одного из проходящих поэтов я встретила. Маленький человечек, чуткий и пугливый, как зверек среди людей. Не знаю, что он писал, но сам был фантастическим персонажем гофмановских сказок.

— Всё плачешь ты

О мертвом женихе...

говорил В.Ив. по поводу моей печали о Гумилеве. — Он Вас отметил и умер.

— Лермонтовски-гумилевский темперамент.

Постоянным посетителем В.Ив. был Юрий Верховский. Приходила Александра Чеботаревская, покончившая с собой в тот год. Писали портреты художники.

— Мир держится молитвами тайных старцев...

В. Ив. узнал, что ко мне на Фили'ходит некий поэт, с очень дурной репутацией. Он был всюдошный и вездешний, претендовал на роль духовного руководителя. Впоследствии его сослали и в ссылке он погиб. Мне он жестоко повредил, прекрасно разобравшись в моей неопытности, бескорыстии и беззащитности. Пошло талантливый и пошло-бездарный, он имел у многих скандальный успех.

В.Ив. решительным разговором разорвал это знакомство. — Простите, что я поступил без вашего согласия ...

А я и не сердилась. Вопрос был накрепко решенный.

Одно из посвящений мне этого духовного провокатора я всё же приведу:

Смотрю, забыв сближения,
 Какходишь ты на путь,
 Как в мерности движения
 Крылато дрогнет грудь.
 Такие же высокие
 И отдых и покой,
 У ангелов Вероккио,
 Идущих в сад святой.
 Но мироненавистнику
 Мне радостен и люб
 Подобный остролистному
 Обрез горящих губ.

Мы расстались с В.Ив. наскоро. Гон прощанья с его стороны был раздраженный. Уезжая, он увозил с собой спутницу жизни О. А. Шор. Перед отъездом он написал мне предисловие к предполагаемому сборнику стихов. Это и был поставленный мне маяк — внутренний и внешний.

По общему утверждению Вячеслав Иванович удивительно выиграл в наружности к возрасту седины. В зрелости он был рыж и массивен. Это ушло и осталась соразмерность фигуры, тонкость черт лица. Не одни "Жены мироносицы", как ехидно называли его поклонниц, восхищались каждым жестом, каждой позой великого артиста. Даже не вникая в суть его высказываний можно было на собеседованиях любоваться многообразием оттенков, которыми весь он переливался. Женственность, младенческая беспомощность опущенных рук, что-то от птицы, от камня, от колебанья ветвей. Лицо ученого, мудреца, провидца. Изящество каждого слова и каждого шевеленья. Как милостиво и сдержанно принимал он пищу. Голос его не имел сравнения по своему музыкальному звучанию — выверенный звук, легко взлетающий, прозрачный, серебряный. Великолепное знание людей и умение властвовать ими. Говорили, что еще в гимназические годы он умел усмирять юношей-кавказцев, которые бросались друг на друга с кинжалами во рту.

Эпитет "необыкновенный" приходится повторять многократно, постоянно.

Не удержусь сказать: "Необыкновенное душевное богатство". "Вячеслав Великолепный" — назвал свою статью о нем Лев Шестов.

Всем известно пристрастие В.Ив. к древней Греции. Аполлон и Дионис были вехами его мировосприятия. Он как-то сказал мне, что в Греции его привлекает то, что он считает руководящим — чувство меры. Но мера его была мерою снежных горных вершин. Обычное человеческое — упреки, жалобы, досада, раздражение — отступали от него прочь. Он был очень деятелен в жизненной борьбе, не поддаваясь "житейскому волнению".

Я знаю только одно имя, которое можно сопоставить с В.Ив. — Генрих Ибсен. Та же многогранность ума, горный воздух, неизменяющее равновесие изящества. И — познание пещерных лабиринтов со всеми трудностями хождения во мраке.

Вячеслав Иванович кончил своего "Человека" молитвой "Царю Небесный", как Гете кончил Фауста.

МОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

“Как виноградная лоза
Змеен,
Как юность первого дня
Древен”...

Залетным переливом соловья
Он высылал вперед себя свой голос,
Порою остр с оттенком лезвия,
Но чаще звук был светел, нерасколот.
Затем весь облик выступал ясней:
Извилистая длинных губ улыбка.
Высоты мудрой седины, пенснэ,
Движений женственная зыбкость.
Завесы пурпур, жезлы, рамена,
Подземный храм, сплетенные ехидны,
Зал малахитовый под диском дня
На будничной земле казались очевидны.
Чудесное чудовище пещер
В ученнейшем скрывалось человеке.
Страны других весов, особых мер,
Куда текут не возвращаясь реки.
Томим безмерной давностью времен
Он, не желая, слишком много помнил,
Древнейшее не проходило в нем
Как после пира вяжущая томность.
Но почему его тончайший слух
И гений, словно свет мгновенный,
Дар превращенья, устремленный дух
Не овладели властью поколеньей?
В нем есть вина. Пещеры тайный мрак
Скрывал порой не россыпи алмазов,
В нем различает напряженный зрак
Сомнительную двойственность соблазнов.
Но за вину кем может быть судим
Чудесный образ, близкий Леонардо?
Не виноват ли больше перед ним
Род неотзывчивый, неблагодарный?

Былое восхищение храня,
Мы все забвению не уступаем
Заливы рек, блаженные моря
Которые его, лелея, обтекали.

1939 год.

О. А. Мочалова

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТИХАМ ОЛЬГИ МОЧАЛОВОЙ

Искусство наших дней не знает общей, прямой, ровной дороги. Вразброд торят пионеры нехоженые пути, забираясь порой в невылазную глушь, и не всем легко и по сердцу пробираться за ними звериной тропой.

Такова и лирика О.М. Не всем сразу прозвучит она полным и внятным голосом; зато не раз и вознаградит прислушивавшихся и вникавших интенсивным просверком жизненной правды и своеобразной, причудливой красоты.

Ночь — и небесный всадник развернул "свиток точных звезд". Летний зной и "колонны воздуха перепилены алмазным журчанием птиц". Зима — и "белкой на землю прыгнул снежок". О воде — "нет женственнее переходов — возвращаться и умирать". О вечере — "Богородица кротких рук". О котенке: "обрывочком пиратских грез котенок мой живет"! И еще "шелковинка моя, водопадик, забавный до искр паяц, суматоха моя, котенок, потеха, посмеха, кот". "Столько нанюхался леса, заподозрел ведьминых грез, что рубин пред тобою безволен, женщина несильна".

О жизни: — "Итальянский мальчик". О сирени: "Как страсть гениальной старухи, протягивает руки изысканна и страшна".

О душе: "Из обломков радуг моих построй человечью душу".

Любимый "прием" поэтессы, проще сказал бы — оригинальная особенность — парадокс воображенья.

Поэзия ли это? Но как назвать иначе сжатую в немногих с налета, но не случайно схваченных словах, такую встречу души и жизни, когда последняя неожиданным поворотом и выраженьем

лица как бы проговаривается и выдает что-то о себе первой. А эта мгновенно ловит вырвавшиеся просверком полупризнания и делает из этого лишнее слагаемое своей дружбы и вражды, влюбленности в мир и ненависти к миру? Поистине, это схватыванье чуждого и нечаянного в изведенном и обычно-замкнутом, это целостное изживанье в типичном явлении его внезапно усмотренной разоблаченной единственности и вместе общности с отдельным и чужеродным — составляет индивидуальную основу поэзии, как творчества образов.

Искусство ли это?

Да, если не победу гармонии и высоты, незыблемых, как прежде мы зовем ныне искусством, но и отчаянно-дерзкую игру с прибором хаоса на крайних отменях разумного сознания. Необычайная по быстроте и остроте сила узрения, представляющая новыми и невиданными знакомые вещи и отношения, давно была примечена мною в первых поэтических опытах М. Ради этой силы и прошаю их дерзкую и вместе застенчивую, злую и ласковую дикость, их невыдержанность и беззаконность. В ее глазах лирическое зеркало, искажающее линии и пропорции вещей, как искажает и сдвигает всё новое искусство, но сосредоточивающее в предмете, как в некоем фокусе, их душу. И еще за то я мирюсь с ее варварской музой (волчья Беатриче), что в ее стихах поет лесная хищная кровь под холодную маску гордой и резкой мысли, за то, что она не любит интонаций душевной убедительности и, определяя или изображая вещи и ощущения, больше скрывает, чем выражает сердечное чувство (признак глубокой страстности); за металлически-звонкий и уверенный тон ее приговоров, тем более звонкий и холодный, чем мучительнее заключенное в них признание, за рассчитанную сухость определений, за алгебру отвлеченных понятий, раскрывающих только внутреннему зрению цветущий образ, — за надменную скупость слов и мелодий, за сдержанный в наружном проявлении и в глубине неукротимый душевный пыл. Галант жесткий и хрупкий. Она похожа на Гумилева, в стихах которого по ее словам "стройный воздух" — духом его вольности и вызова и сталью духовного взора — и напоминает порой Маллармэ (которого не знает) приемом сочетанья

абстрактного с чуждым конкретным для обозначенья другой, не названной конкретности, как и парадоксами синтаксиса.

Начало творческой деятельности М. многое обещает и ко многому обязывает, но поручиться за нее ни в чем нельзя. Гордая, она по-лермонтовски несвободна, потому что не находит в себе воли — веры, нужной для выбора пути. То строго-пытливо, то дерзко-жадно вглядывается она в лицо жизни, но песня не ставит ее выше жизни, не освобождает. У нее самостоятельная оригинальная манера при относительной слабости техники (стихи ее различишь среди тысячи) и великолепный поэтический темперамент, сочетающийся с необыкновенною силой узренья, но еще нет окончательно сложившегося лица.

Вячеслав Иванов

Москва, 27 августа,
1924 г.

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ

Эти записи требуют некоторого объяснения. Я знал Бунина примерно в течение тридцати лет, сравнительно часто встречал его, когда зимние месяцы он проводил в Париже, раз-другой посетил и его летнее жилище в провансальском Грассе. Но потом так вышло, что под его крышей я провел свыше четырех лет, может быть, наиболее жутких, не только в моей, но и в его жизни. В конце трагического сорокового года, после поражения Франции я был демобилизован с опозданием и очутился в одном из городков средиземноморского побережья. Я не знал, куда приткнуться. Единственный человек, проживавший по близости и адрес которого я знал, был Бунин. В Ницце я рассчитывал найти друзей и там сообразить, что предпринять. Я написал Ивану Алексеевичу, что по дороге хочу известить его.

В назначенный день я появился на "Жанетте", вилле, которую тогда снимал Бунин. Приехал туда в грязной военной шинели и весь мой багаж состоял из двух рубашек, зубной щетки и безопасной бритвы. Опущу описание моих злоключений и только добавлю, что поднявшись на "Жанетту", я рассчитывал провести там одну-две ночи, а покинул ее уже после освобождения Франции, то есть, осенью 44-го года. Добавлю еще общеизвестную истину: одно дело быть с кем-нибудь знакомым, хотя бы в течение нескольких десятилетий, и совсем другое прожить с тем же человеком под одной крышей четыре года.

Я теперь горько сожалею, что в течение нашей "зимовки на Фраме" не вел дневника систематически и только в самом начале моего пребывания в Грассе делал кое-какие записи, которые считал утерянными. Но совсем недавно, при разборке погреба, я в одном из сундуков нашел мои грасские записи, да и то не все.

В свое оправдание скажу, что я перестал записывать мои разговоры с Буниным по веским причинам: во-первых, постоянно общаясь с человеком, даже выдающимся, постепенно притупляется впечатление от его высказываний, не только он повторяется и записывать слышанное уже не охота: во-вторых, время было грозное, а Бунин всегда побаивался возможных обысков; однажды даже случилось, что когда я отсутствовал из Грасса, он самовольно сжег кое-какие мои письма и бумаги, хранение которых считал опасным.

Я не обучался стенографии и за дословность всего того, что я записал,

ручаться не могу. Скажу только, что я всегда вел мои записи "по живому", по мере сил стараясь в них передать интонации Бунина. Возможно, что кое-что из того, что записано мной, было записано и другими его собеседниками. Я ничего не сверял. Могу только отметить, что кое-что из того, что появилось в печати, как за рубежом, так и в Советском Союзе, мне представляется своего рода мифотворчеством.

Мои записи делались в беспорядке и я не хотел их систематизировать ни по темам, ни хронологически.

*

Чуть ли не в первые дни моего пребывания на "Жанетте" Бунин припомнил, как в какой-то южно-русский провинциальный городок приехала на гастроли еврейская драматическая труппа. Городок украсился плакатами, рекламирующими постановку новой пьесы — "Дер запаснер солдат". Эту афишку он запомнил, как запоминал все мелочи, резавшие его ухо.

Так как за неимением других туалетов я долгое время ходил в солдатских брюках, которые мне удалось перекрасить, он стал называть меня "Дер запаснер солдат".

Когда я запаздывал к завтраку, торжественно возвещавшемуся гонгом, что так не вязалось со скудостью трапезы, он смеясь спрашивал: "Куда запропастился лев Сиона?", а если я спускался в столовую до него неизменно приговаривал: "А, газель Сиона уже здесь".

Потом, чтобы утешить меня, утверждал, что он — старый охотник, вероятно, львов не боялся бы. Впрочем, добавлял он, до них я никогда не добирался. Ниже Ассуана не спускался, а там они еще не водятся. Вот змеи и всякие пресмыкающиеся с детства вызывают во мне такое отвращение, что при их виде я готов вопить благим матом, и прихожу в панику даже если на моей дороге ворочается вполне безобидный уж. Недаром он породил слово "ужас"!

Зато я не раз присутствовал при его единоборстве с огромными крысами, иной раз забиравшимися в наш погреб и при одном виде которых вопить был готов я.

*

Обычно до завтрака он не одевался и появлялся в столовой в

потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневый мундштучок папиросой во рту. Эта самая ермолка и грошёвый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой книг.

Я тоже принялся за поиски "беглецов". В его большой комнате, из пяти окон которой в ясную погоду вдали виднелось море, серовато-синее в это время года, и точно стоявший на посту Антибский маяк, я неловко грохотал креслами, лазил под кровать, перебирал исписанные его таким ясным и молодым почерком большие листы бумаги. Ермолка не находилась, мундштук не давал о себе знать. Он иронически наблюдал за моими поисками и вдруг, посмотрев на меня, почти со злобой процедил:

— А Гёте ненавидел людей с очками...

— Спасибо.

— Да ведь у меня у самого две пары. Это я так, к слову пришлось!

Но вообще какое-либо сопоставление с Гёте, указание на совпадение каких-либо чёрточек, на биографические параллели для него слаще меда. Пожалуй, это ему больше льстит, чем всякие наивные сопоставления с другими великими предшественниками, хотя, если только вдуматься, Гёте, по существу был ему совершенно чужд, да едва ли он его хорошо знал.

В связи с этим вспоминается, как перед самым отъездом Алданова в Америку мы поехали в Ниццу, чтобы попрощаться с ним. Сидели втроем в большом и в ту пору весьма унылом кафэ, в которое Бунин по старой памяти любил забегать. Предстоящее расставание с Алдановым его угнетало и он был крайне грустен. На прощание мы выпили по рюмке коньяку, который Бунин заботливо принес в своем кармане в каком-то пузырьке зная, что в этот день спиртное не подавалось. Напоследок он стал рассказывать Алданову, что работает теперь с огромным, уже много лет не испытанным увлечением, запираясь с утра до вечера в своей комнате, а иногда работая и по ночам, работает над циклом любовных рассказов, местами настолько

откровенных, что не знает, сможет ли он их когда-нибудь напечатать. "Пора же, наконец, и нам называть вещи своими именами, добавил он, мы выросли из детского возраста!".

— А знаете, заметил Алданов, ёрзавший на стуле, в Прусской Государственной библиотеке хранятся рукописи Гёте. Среди них большой запечатанный пакет с эротическими новеллами, которые Гёте писал на склоне дней, в последний веймарский период своей жизни. До сего дня этот пакет, несмотря на смены режимов, никому не выдавался и эти рассказы так и остаются неизданными. Я всегда утверждал, что в вас кое-что от Гёте!

Бунин был на седьмом небе, услышав этот комплимент — очень для Алданова характерный.

*

Коридор на "Жанетте" погрузился в тьму, что-то приключилось с выключателем. В потемках я долго возился с проводами, конечно, ничего не починив. На следующее утро Бунин сам все кое-как наладил и горд был этим необычайно, по-мальчишески.

— Я гениален, смеясь, кричал он на весь дом, чем не Леонардо да Винчи. Вот увидите, я еще что-нибудь из рук вон выходящее изобрету, дайте только сообразить, чего на земле не хватает!

*

Мне очень нравились его рассказы последнего любовного цикла, над которыми он работал, не зная перерывов. Домашние предлагали для будущего сборника различные заглавия, сам он еще ничего не мог придумать, но потом пришел к завтраку радостный и сказал, что лучше, чем озаглавить весь сборник по одному из рассказов — "Темные аллеи" и не придумать.

А затем, обращаясь ко мне:

— Вот погодите, я еще напишу рассказ о ваших предках-филистимлянах, это нынешние бедуины, какой-нибудь особенно похабный рассказ и посвящу его вам.

Потом я неоднократно приставал к нему:

— Ну, как же моя филистимлянка?

— Нет, не могу, честно хотел выполнить обещание, но ничего не выходит. Не знаю достаточно хорошо их быта и не могу влезть в шкуру такой женщины. А как же тогда писать?

*

Давать на прочтение свои ненапечатанные вещи не любит. Приходится его подолгу упрашивать, а когда он согласится, непременно добавит: "Голько потом спрячьте, никому не показывайте, чтоб никто не видел".

Я уже несколько дней прошу его дать мне прочитать последний его рассказ, только что начисто переписанный на машинке Верой Николаевной. Он и сам подзадорил мое любопытство, спросив: "Вот вы не читали мой последний рассказ, еще ничего о нем не знаете. Называется рассказ "Генрих". Расскажите мне, каким вы себе этого Генриха представляете. Это интересная игра, хотя игр терпеть не могу".

На сей раз он долго упрямится, отговариваясь:

— Да вам и неинтересно... Вы — сноб, вы ненавидите "сказал он", "сказала она". Впрочем, ненавижу это и я, а попробуйте обойтись.

И, как это уже было не раз, рассказа сразу не дал, но принес его, когда я уже лежал в постели — "Вам на сон грядущий полезно!".

*

Как будто невзначай:

— Наши предки хороши. Невообразимые шубы до полу, аршинные шапки до облаков, какие-то нелепые собольи воротники, парча — словом, идолы. Слава Богу, что во мне не чистая русская кровь...

*

Он очень тщательно и на мелкие клочки разрывает свои черновики, методически засовывает их в камин, от которого не отходит, пока последний листочек не превратится в пепел.

— Не хочу, чтобы кто-нибудь любовался потом моим пищеварением. Вот Голстой сохранял свои рукописи и теперь все, кому не лень, копаются в его грязном белье. Черновики обязательно надо уничтожать. Да заодно и письма.

*

На его письменном столе много папок и тетрадей, в твердых переплетах. В них он заносит всякую всячину, материалы для будущей работы, выписки из книг. На толстой холщевой тетради крупными каллиграфическими буквами наклейка с надписью: "Копилка" и ниже "Земля и люди".

*

— Что вы знаете об Антигоне?

— Это была дочь Эдипа, которая...которая...которую за что-то присудили к смерти...

— Это-то и я знаю. Постарайтесь мне назавтра обнаружить ее биографию.

У меня нет под рукой Софокла, да и где его в Грассе достать. Я роюсь в каких-то английских словарях, благо "Жанетта" принадлежала какому-то английскому филологу-богослову и в библиотеке были кое-какие словари классической древности. Перед обедом в нескольких словах передаю ему трагическую жизнь софокловой героини.

Потом выясняю, что один его очень вольный рассказ, первоначально озаглавленный "Анекдот", он переименовал в "Антигону".

— Заглавия рассказов не должны ничего объяснять, говорит он, это дурной тон. С какой стати давать читателю сразу же ключ, пускай он хоть немного поломают себе голову над заглавием.

Все же впоследствии он прибавил две-три фразы, как бы поясняя ими смысл заглавия.

*

Иной раз, преимущественно под вечер, он приглашал меня пройтись с ним, хотя почему-то был уверен, что гуляю я неохотно и в связи с этим придумал на мой счет комичную фразу, которая очень его потешала и которую он не раз повторял. "На природу он смотрел свысока", произнес он, глядя на меня и точно сам обрадовался своей "находке".

А между тем, я очень любил ходить с ним вдвоем на эти

прогулки. Обычно мы подымались вверх по Наполеоновой дороге, той самой, по которой вернувшись с Эльбы, шел на Париж низложенный император во время "ста дней". Бунин облюбовал какую-то площадку, над которой в летнее время летало видимо-невидимо "люсиолой", своего рода светлячков. Следить за их фосфорическим полетом было его страстью. Мы усаживались на широкий пенёк и когда на него "находило", он охотно повествовал о своих былых любовных победах, признавался, что в юношеские годы в отцовской усадьбе, несмотря на разорение, он все еще почитался "барчуком" и это открывало ему многие двери, но тогда по неопытности он инициативу проявлять не умел. А потом, когда его известность начала расти и, по его словам, женщины льнули к нему, он неизменно проявлял робость и страшился осложнений. Кстати, он утверждал, что в женщине его необычайно привлекают дефекты речи — картавость, неправильное произношение какой-нибудь одной буквы делают для него женщину неотразимой!

А однажды после долгого разговора о том о сём он довольно неожиданно, как бы ставя на них ударение процитировал слова Байрона, сказавшего, что "часто бывает легче умсреть за женщину, чем жить с ней". Было вполне очевидно, что эту фразу он где-то случайно прочитал, однако почему эти по-байроновски парадоксальные слова его не терпевшего парадоксов, взволновали и в его интонациях можно было ощутить подлинно трагический оттенок?

*

Я с увлечением читал в те дни "Сагу Форсайтов" Голсуорти.

— О чем же эти сотни страниц? — не без усмешки спросил Бунин.

— История английской буржуазной семьи конца прошлого и начала нынешнего веков.

— А, собственно, какое мне до этой семьи дело...

Тут же я рассказал ему, что Голсуорти в одной из своих критических статей, вошедшей в сборник "Замки в Испании", пишет, что если б ему задали вопрос, какой лучший роман во всей мировой литературе, он не задумываясь ответил бы...

— "Война и мир", — прервал меня Иван Алексеевич.

— Да, Голсуорти так и говорит.

— Угадал-таки, почувствовал, ах, какой молодец... Так о чем, говорите вы, эти самые "Форсайты"... Расскажите подробнее!

*

— Вы как-то утверждали, что каждый человек в течение своей жизни хоть один раз имел намерение покончить с собой или по крайней мере носился с назойливой мыслью о самоубийстве.

— Да, но это не мои слова. Я вычитал их у Голсуорти и мне показалось, что это неоспоримо.

— Может быть... хотя я не вполне уверен, толком так и не знаю. Но вот какой случай был когда-то со мной. Очень давно это было — в самые допотопные времена, поздней осенью в Ялте. Это было в "чеховскую" эпоху, в пору моей дружбы с ним. Я был молод, свободен, в расцвете сил и едва только становился известен. Какие-то общие знакомые представили меня очаровательной, совсем еще юной барышне — красавице грузинского типа, настоящей Тамаре с огромными, живыми чёрными глазами, с длинными-длинными ресницами, с еле заметным пушком над верхней губой. Обладала она прекрасным, здоровым молодым телом с каким-то сиреневым отливом, который меня и тогда поражал. Я с места в карьер стал за ней ухаживать, проявляя большое и свойственное моему тогдашнему возрасту упорство. Я долго ходил за ней буквально по пятам, но все было тщетно, ничего не выходило. Красавица моя была непреклонна. Это меня еще больше распаляло и я изнемогал...

Однажды под вечер, после очередного поражения, я в мрачном настроении вышел из моей гостиницы. Хотелось побродить по городу, подышать морем, а вероятнее всего — цели никакой не было, просто оставаться одному стало не вмоготу. На набережной я неожиданно встретил одну элегантно одетую даму из категории "эффектных женщин". До того я с ней раз-другой сталкивался в какой-то холостой компании и знал, что она выступала в каком-то одесском кафешантане, но определенной профессии не имела. В этот злосчастный вечер не-

преклонность моей Тамары меня настолько бесила, что я искренно обрадовался встрече. Я галантно подошел к полужнакомой даме, для виду поговорил с ней о погоде и пригласил ее пойти поужинать в "Городской сад", бывший излюбленным местом встреч тогдашнего курортного общества. С горя было выпито много водки и шампанского. Утро застало меня в постели веселой и легкомысленной одесситки.

Конечно, в ресторане многие меня видели. К тому же Ялта была так мала и так мало было тогда происшествий, что в пансем, падком на сплетни, кружке сразу же начались всяческие персусуды, которые я обнаружил только впоследствии.

После этого ночного приключения прошел день-другой и я о нем и не думал. потому что с удесятеренной энергией стал волочиться за большеглазой Тамарой. Наконец, ухаживания мои увенчались успехом: она трепетно пала в мои объятия. Мне стыдно теперь признаться, что сейчас я не помню даже ее имени, хотя, может быть, она и вспоминает иногда свой первый эпизод.

Миновал еще день. Гуляя снова по набережной, я повстречал схавшего на своих рысаках старого приятеля, доктора А. Он сделал знак кучеру, остановился, подозвал меня пальцем и сказал:

— Слушай, Иван, по дружбе я вынужден разоблачить одну врачебную тайну. Бог простит меня за это несоблюдение врачебной этики, но дело слишком серьезно. В "Городском саду" тебя видели в обществе одной дамы. Предупреждаю тебя: она больна...

Я думал, что небо свалилось мне на голову. Я считал себя последним из подлецов. Образ очаровательной молодой девушки маячил перед моими глазами. Что было делать? Я твердо решил стреляться — другого выхода я не видел.

В тот же час, ни с кем не прощаясь, не упаковав чемоданов, я, как безумный, умчался в Москву, чтобы как-нибудь наспех ликвидировать дела и расчеты с жизнью.

По дороге я все же чуть остыл и брату удалось уговорить меня сперва обратиться к специалистам. Я обошел всех наиболее знаменитых. Никто ничего не нашел. Я недоумевал.

Прошло несколько лет и я почти забыл об этой истории. На каком-то званом обеде моим соседом оказался мой ялтинский

приятель-доктор, которого я не видал с того злополучного дня. Увидя меня, он саркастически улыбнулся, а после обеда, улучшив минуту, подошел ко мне и назидательно пробурчал в свою торчащую лопатой бороду (с тех пор ненавижу эти благородные бороды!):

— То-то же, молодой человек, это я вас тогда умышленно напугал. Пусть это послужит вам уроком. Впредь будете осторожнее в выборе знакомств.

Я стоял рядом с ним, как немой.

А как трагически могла кончиться эта дурацкая шутка.

*

А несколько дней спустя он напомнил мне о нашем разговоре.

— Знаете, поведал он, я вчера на ночь перечитывал томик Тютчева и какое странное совпадение — наткнулся на эти забытые мной строки:

”И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений
Самоубийство и Любовь!”

Он прочел их вполголоса, но у меня словно мороз по телу пробежал. Потом добавил:

— Знал что-то старик... какая умница... Нет, Толстой ошибся, говоря, что ”умнее Фетушки человека нет”. Куда уж тут ”Фетушка”...

*

— Я не знаю ничего более прекрасного, чем медное звучание латыни. Но ведь только в зрелом возрасте, имея прочный фундамент, можно по-настоящему восторгаться Вергилием. А какой может быть интерес у гимназиста к какому-нибудь Саллюстию или Корнелию Непоту или узнавать подробности о каких-то вездесущих ”лазутчиках”. Зато, как должно быть упоительно читать латинские тексты так, как мы с вами читаем русскую книгу, вот хотя бы того же Тютчева.

*

— В елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем русского языка был одно время Василий Васильевич Розанов. Я не успел его застать, закончив, как вам известно, мое образование четвертым классом.

Но однажды, уже будучи молодым литератором, я посетил Елец и был приглашен на какой-то гимназический вечер. Я был почетным гостем, бывшим питомцем гимназии, окруженным ореолом славы. Старичок-директор все еще был на своем посту. Беседуя с ним, мне захотелось расспросить его о Розанове, который всегда меня интересовал. Директор замахал на меня руками:

— Ну, что вы хотите — сумасшедший... Преподавая свой предмет, он обращался к ученикам: "Вы меня понимаете? Нет; ну, это очень хорошо, это прекрасно — настоящая мудрость именно в том, чтоб не понимать...".

*

— Как-то под вечер — это было во время одного из его последних наездов в Москву — я зашел к Чехову. Он сидел один, грустил и видимо искренно обрадовался моему приходу. Мы долго говорили. Становилось поздно и я несколько раз пытался уйти, но Антон Павлович не отпускал меня.

"Давайте теперь посидим и немного вместе помолчим", сказал он.

Чувствовалось, что ему неуютно оставаться одному. Я остался. Часу в третьем ночи раздался звонок, и Ольга Леонардовна точно впорхнула, веселая, надушенная, щебечущая.

— Дусинька, ты не один, вот это отлично...

Ей подали закусить и она с аппетитом стала разгрызать какую-то холодную птицу. Чехов глядел на нее почти с ненавистью.

Когда потом в его записной книжке я наткнулся на фразу: "Когда я вижу, как бездарная артистка жрет куропатку — мне жаль куропатки", я невольно вспомнил этот московский вечер.

А за всем тем, как к женщине, его неизменно влекло к Книппер.

— Это в свое время очень в России практиковалось, мы ведь во многом были чуть провинциальны: какая-нибудь анонимная поклонница пошлет вам многостраничную исповедь с таким обилием деталей, что порой при чтении краснеешь, а к концу добавит — научите как жить или что такое жизнь... Много я на своем веку получал такого рода посланий. А почему я обязан знать, что такое жизнь?

А Чехов говорил: "Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: а что такое морковь? Морковь это морковь и все тут".

*

— Антон Павлович рассказывал, что у него издавна было страшное искушение назвать какого-нибудь бедного, захудалого чиновника "Матвей Сортирович".

*

— Вы когда-нибудь думали над изречением — "Ленность — мать всех пороков"? Вы думаете, это правильно? Нет, не ленность, а глупость... И представить себе невозможно, до чего может довести человека глупость. Никакая фантазия не угонится.

— Я уже писал об этом, но вы ведь моих книг не читаете... Толстой рассказывал, что у него был приятель — человек очень бедный, считавший каждую копейку. И вдруг на последние деньги купил он затейливую заводную канарейку. Все судили-рядили — к чему? И никто не догадался, что это просто по глупости...

*

— Надо быть очень умным, чтобы понимать глупости. А если б вы знали, как трудно бывает их сочинять. Нужны были такие умницы, как Алексей Толстой да Жемчужников, которого я лично знал — породистого вида барин с душистыми баками, чтобы написать Козьму Пруtkова.

*

— Отличный человек был покойный Юшкевич — прекрасный семьянин и верный друг. Но я очень любил дразнить его. Помню, встречаю его однажды в Светлое Воскресение.

— Семен, у тебя сегодня плохой день...

— А что такое?

— Христос воскрес!

Он огрызался... Одно время он полюбил совершенно некстати вставлять в свою прозу какие-то мистические нотки. Ему, вероятно, казалось, что это последний крик моды, а у него была маленькая слабость: как бы не прозевать "современности".

— Семен, что это у тебя за метерлинковщина пошла? Ты же "биндюжник", тебе это все не к лицу, пиши просто, как всегда писал.

— Что? Что такое? Что такое "биндюжник"? Это ты разменял свое перо на мелочи — и при этом он своими двумя мясистыми пальцами делал какой-то презрительный жест, похожий на кукиш, а я — я создал эпопею, э-по-пею... Леон Дрей станет таким же нарицательным именем, как... ну как Пер Гюнт!

*

— Сколько за свой долгий век я успел навидаться, как от громких и пышных литературных и прочих "слав", казавшихся незыблемыми, и следа не осталось. Носили на руках, а если я вам сейчас назову иные имена, вы не будете знать, что за люди такие. Из-за них ломали копья, их книги казались событиями, а история литературы едва уделит им три строчки. Будь я Леонидом Андреевым, я сказал бы, что смерть с чрезмерным тщанием просеивает в свое решето популярность и земную славу.

Вы, например, слышали что-нибудь о Шеллер-Михайлове, о Терпигореве, человеке талантливом, написавшем очень неплохую книгу "Оскудение", об Альбове, которого Шмелев по некультурности произвел в "русские Прусты"? А среди моих коллег по Разряду Изяшной Словесности были такие разные люди, как Златовратский и Боборыкин.

Народник Златовратский на рубеже веков был настолько знаменит и популярен, что в литературной среде его иначе, как "Гриумфальными воротами" или даже "Иверской" не называли. Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Это тогда было необычайно и смело! У меня недавно лежали старинные комплекты "Отечественных записок" и я

пробовал пересмотреть кое-какие его вещи... не мог, нет сил — все плоско, лубочно, фальшиво. Всюду какой-то шаблонный мужик Масей Масаич или Псой Псойч — где он только такие имена находил? — а сын у него непременно богатырь и железный революционер-народник. А при этом Златовратский деревенской жизни вовсе не знал, всёгда жил в городе. Он, конечно, не чета Глебу Успенскому. Успенский был и умен и талантлив и его и теперь интересно перечитывать. Впрочем, еще интереснее Николай Успенский, двоюродный брат Глеба, человек с по-русски трагической судьбой, которого грех забывать.

Златовратский однако пережил расцвет своей славы, она от него отхлынула еще при его жизни. Вспоминаю его на закате дней, вечно недовольным, окруженным писателями "из народа". Он шагал по комнате в каких-то бесформенных засаленных штанах, заложив руки за спину и угрюмо бурчал:

— Декаденты, говорят, какие-то появились. За ними еще марксисты какие-то идут. Не знаю, батюшка... это все чепуха, это все пройдет...

Таким он в моей памяти и остался.

А Боборыкин был совсем из другого теста. При жизни Тургенева Стасюлевич считал своим долгом открывать январскую книжку "Вестника Европы" каким-нибудь новым тургеневским романом. Это был, так сказать, новогодний подарок читателю. С 1883-го года это почетное место в журнале досталось Боборыкину. Вот как он тогда расценивался, а вы сейчас нахально улыбаетесь, молодой человек...

Следующее за этим поколение уже Боборыкина презирало, шуточно окрестив его "Пьером Бобо" и так этот ярлык на нем до конца его жизни и остался. Двадцатый век с ним серьезно не считался. А ведь очень умный был человек, только большим талантом Бог его не наделил.

По образованию он был химиком, но вместе с тем был каким-то всеведущим, эрудиции необычайной, прочитал, кажется, все, что только возможно.

У него была какая-то природная, не деланная барственность. Всегда чистенький, аккуратно одетый, холеный, всегда в белоснежной, туго накрахмаленной рубашке, а по вечерам

неизменно в смокинге. Литературную Москву это тогда поражало.

Он подолгу жывал за границей, из года в год вел в толстых журналах очень дельные обзоры французской жизни и литературы. Иностранными языками владел в совершенстве. В парижской литературной среде он был своим человеком, на равной ноге с Гонкурами, Флобером, близко зналал начинающего Мопассана... Он его иначе как Ги и не называл.

— Да, знаете, шептал он мне на ухо, молодой человек имел бо-о-льшие способности. Много обещал. Отчасти он, конечно, эти обещания оправдал, только — но это между нами — неуч был страшный!

Или рассказывал еще:

— Встречаю как-то Флобера в фойе Большой Оперы. Разговор случайно зашел о Карфагене. Я и говорю ему: "Вы бы, Флобер, прочитали то-то и то-то, это вам очень пригодится, а то документация ваша недостаточна". Он меня не послушал, видно поленился, вот и Карфаген его вышел театральным.

Жил Боборыкин и в Риме и даже был принят Папой в личной аудиенции. Это ведь очень большая честь. Его "Вечный город" (вы, конечно, об этой книге понятия не имеете) любопытнейшая книга. Ведь о Риме конца века Боборыкин был осведомлен не хуже Зола. У них вообще есть немало общего. Ненавижу такого рода сравнения, но все же скажу — Боборыкин, это русский Зола. Если вам нужно ознакомиться с каким-нибудь модным течением в купечестве, в литературе, в буржуазной или рабочей среде, с ее тенденциями, увлечениями, с дамскими нарядами или криками моды, вообще с любыми мелочами эпохи восьмидесятих-девяностых годов, непременно почитайте Боборыкина. Он все передавал очень старательно и материал это вполне добротный. Все же, вероятно, лучшее, что он создал — а томов у него бессчетное количество, полки не хватит — нашумевший в свое время роман "Василий Геркин".

А в беседе он был много более блестящ нежели в своих писаниях и поговорить любил до смерти. При нем нельзя было ни одного слова вставить. Говорят, из-за этого он никогда нигде не появлялся вместе со своей женой — бывшей артисткой, женщиной исключительно обаятельной, но тоже любившей не в

меру поговорить. Они друг другу мешали и потому выезжали самостоятельно...

Вспоминаю еще, как он мне, слегка грассируя, рассказывал о своей беседе с Толстым.

— Толстой мне все опрощение проповедывал. Я ему и говорю: Да, да, Лев Николаевич, это вам свои грехи надо замаливать и о будущем думать. А мне-то что, я не курил, не пил, с женщинами не знался. Я умру спокойно и постучусь в ворота Рая. Апостол Петр и спросит: "Кто там?". Я отвечу: "Это я, Боборыкин!". Он тогда сразу распахнет передо мной ворота и приветливо произнесет: "А, пожалуйста, милости просим, Петр Дмитриевич!". А вы грешили, ох как грешили, Лев Николаевич...

И, при этом, он по-детски широко улыбался своим черепообразным лицом, морща маленький носик и сияя огромной лысиной.

Одно время мы были соседями. Жили в "Лоскутной" на одном и том же этаже. Возвращались как-то под утро после бессонной ночи в "Стрельне" большой компанией. Со мной были Андреев и Скиталец, оба в поддевках, в русских рубахах, в полусапожках. В коридоре встретили "Бобо", уже свежее выбритого, в каком-то нарядном утреннем шлафроке, из которого торчало большое белое жабо.

— И вы, значит, сегодня, спозаранку...

— Да мы еще и не ложились, мы из "Стрельны".

Он моих слов не уяснил, потом искренно удивился (что за нравы, мол, пошли) и только с большой мягкостью, оглядывая нас, тихо спросил: "А что, это с вами тоже писатели?".

Хороший был старик...

А где вам знать, как гремел в свое время Потапенко. Его роман "На действительной службе" казался тогда событием. Потапенко сразу подняли на щиты.

Долгое время он был дружен с Чеховым. Они были почти неразлучны и их даже шутя прозвали "Антоний и Клеопатра". Ведь в те годы — вот вы мне не верите — и критика, и читающая публика отдавали явное предпочтение Потапенке. Кончилась же эта дружба тем, что Потапенко отбил у Чехова женщину, в которую тот был безнадежно влюблен, и укатил с ней в Париж. Потом вернулся в Петербург, стал редактором журнала, был по-

своему красив со своей густой черной бородой, ходил в соборей шапке, в длинном сюртуке такого замечательного английского сукна, что потрогать его было большим удовольствием, считал себя великим "метром", но...ничего замечательного так и не написал.

А каким ореолом был в эти самые годы окружен Скиталец (в миру просто Петров), о котором я вам вскользь уже упоминал. Это был высокий, очень развязный мужчина с длиннющей, фаллообразной шеей. Он все вешал о революции и под эти вещания издавал открытки со своим изображением — сидит этак артистически, откинувшись назад и перебирая гусли, да не просто гусли, а "гусли-мысли"! Открытки продавались в десятках тысячах экземпляров. А когда он ездил по Арбату на лихаче на дутых шинах в обнимку с Шаляпиным, не было человека, который бы не обернулся: "Скиталец едет!".

На каком-то благотворительном вечере в Дворянском собрании — тысячи три публики — он прогрохотал наделавшие столько шума неуклюжие строки:

"Я ненавижу глубоко, страстно

Всех вас: вы — жабы в гнилом болоте..."

Если бы вы видели, что творилось с публикой, с разъяренными курсистками и акушерками и передовыми дантистами. Все точно походили с ума: стук, свист, аплодисменты, крики, настоящая буря. Его без конца заставляли биссировать.

После ужинали большой компанией у Гестова. Скиталец считал себя героем дня. Он заказал тарелку зеленых щей и гарелку зернистой икры, потом задумался, бросил в щи скомканную салфетку и изрек:

— Да, сорвал-таки, кажется, аплодисменты...

Да, сорвал. А что осталось? О, Русь!

*

— Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают...

— ?

— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автокара. Мы отправлялись в Ниццу.

— Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это означает, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: "Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит и Расскажи мне про него". Зайцев поглядел, задумался и отшутившись, переменял разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра.

А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от мужчины, кажется, не отличит. А он ведь совсем не близорук!

Зато как знали все эти "мелочи" Толстой или Флобер. Поэтому так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Наташа Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько слитны, так логичны, так все одно из другого вытекает — ни единой погрешности, ни единой фальшивой нотки — что мое, ваше, чье бы то ни было представление о ней будет мало чем друг от друга отличаться.

А тургеневская Лиза все-таки — абстракция. Ее образ расплывается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы можете себе ясно представить Джемму? Ну, хорошо — усики слегка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Тургенева, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин... Хоть он многого, может быть, и не знал, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это какое-то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать восемь лет так все знать.

Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, очень талантливо, но сухо, чего-то постоянно недостает и это их губит.

И Короленко этим грешен. А еще больше Горький, по

существу большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообразности, все его "погрешности". Вы и не оберетесь. Да, необходимо "на зубок" знать то, о чем пишешь.

Вот, для примера, в каком-то горьковском рассказе — если не ошибаюсь, называется он "Рождение человека" — изумительны физиологические подробности, о которых сама природа не ведаёт. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или какой-то другой реки. И вдруг Горький серьёзно пишет: "кленовые листья, плывшие по воде, были как обрубленные человеческие руки и как ломти лососины...".

Вы только вникните в эту фразу. Я даже и не говорю о том, что вообще безграмотно давать два сравнения. Но "обрубки тела", которые плавают — где же Горький такое видел? Или он считает необычайно выразительным вроде "моря, которое смеется" то, что "один глаз впивался в вас, а другой лукаво подмигивал". Разве это даёт хоть малейший образ? Это демагогия и ничего больше.

Когда мы когда-то во время оно вместе жили на Капри, я неоднократно говорил ему: "Алексей Максимович, у вас тут точно вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли — там взяли лицо, здесь туловище, тут ногу — разве в природе вообразимы подобные соединения?". Он почесывался и говорил: "Да, оно, конечно... пожалуй, вы и правы". Вспоминает это Иван Алексеевич, уморительно имитируя окающий горьковский говор.

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору (действие происходит в Иерусалиме), распротер руки и "тень его казалась черным распятием". И эффект-то какой дешёвый. Но не в этом дело: я ему заметил: "Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны, со стороны Мертвого моря".

— Ты вечно о пустяках, недовольно возразил мне Андреев. Но ведь это отнюдь не пустяки. Надо уметь привирать.

*

— Среди моих коллег по Академии был и Ключевский. Какой это был привлекательный старичок. Но близко мне с ним

сойтись так и не удалось. Я об этом и сейчас жалею. В последний раз в жизни я встретил его в день первого представления "На дне". Триумф Горького превзошел тогда все ожидания, в течение спектакля его вызывали семнадцать раз, а после премьеры был организован банкет в "Праге" приборов, кажется, на триста.

До начала ужина, в отдельной комнате я стоял рядом с Ключевским и обменивался с ним впечатлениями, пока не появился сам герой торжества, красный, возбужденный, потный...

— Жрать, жрать, жрать, покрикивал он на ходу и подозвал лакея — "Гашите сюда сейчас же какую-нибудь такую рыбину", жестикулируя он показывал ее величину, "нет, такую..." и еще больше разводил руки — "словом, не рыбу, а лошадь...".

"Нет, Алексей Максимович, зачем же лошадь, ледяным голосом проронил Ключевский, отчеканивая каждое слово "ведь мы здесь не все ломовые извозчики..."

*

Радио передает из Милана арию "Госки" — "В мерцании ночи звездном".

Иван Алексеевич слушает ее с напряженным вниманием и потом:

"Ах, как жалко, что нельзя, чтобы ее пробиссировали, ведь это моя любимейшая ария. Я и сам ее иногда пою, когда нет "уличающих свидетелей"... и он мурлычет несколько пуччиниевских аккордов — "тут ведь все выражено: и блаженство жить, и сладкая мука счастья, и отравка любви..."

*

— Вам был симпатичен покойный Куприн? О его творчестве я не так давно написал статью для "Современных записок" — "Перечитывая Куприна". За нее меня многие ругали. Но я ведь писал то, что думаю, не кривя душой и не моя вина, если не вполне вышел "посмертный панегирик".

В последние парижские его годы он стал казаться более мягким и податливым, но ведь он всегда был болезненно злопамятен. Я ведь знаю его "сто лет" и когда-то в Одессе, к которой у меня давнее пристрастие, мы жили вместе. Куприн

едва начал тогда печататься, но как раз тогда ему не удавалось пристроить ни одного своего "детища". Редакций и редакторов он тогда еще побаивался! Я взялся отнести один из его рассказов кому следует. Мы поехали вместе в редакцию "Одесской газеты" и Куприн остался внизу, разгуливая у подъезда в ожидании "событий". Рассказ восходящей звезды был немедленно принят и и победоносно вернулся к нему с радужной двадцатипятирублевой бумажкой. Мы закатились в какой-то кабачек, но удар по самолюбию Куприна был нанесен жестокий. У него, мол, ничего не выходило, а я пристроил его рассказ мгновенно. Как же так? Моего одолжения он мне никогда не мог простить.

Я долгое время ухаживал за М.К. Давыдовой, ставшей затем первой женой Куприна. Брак этот был на редкость неудачным, да и совершен он был как-то впопыхах. На каком-то большом вечере Куприн сделал М.К. предложение. Она тут же, чуть ли не между двумя танцами, его приняла, пришла мне об этом сообщить, а я на это не обратил должного внимания.

Но вечер этот завершился очень грустно. Раздался звонок и под звуки вальса внесли мать М.К., разбитую параличем. В этот день у нее было бурное объяснение с Михайловским, с которым у нее был длительный и вполне официальный роман.

На следующий день М.К. рассказала матери о купринском предложении и старушка, полагавшая, что дни ее сочтены, очень хотела, чтобы ее дочь до ее смерти была пристроена. К тому же, выросшая в литературной среде, она была довольна, что ее зять "подающий надежды" писатель. Она настояла на том, чтобы дочь предложение сразу же приняла и та согласилась, словно бросая мне вызов. Однако поладить с мужем так и не сумела.

Вот Елизавета Маврикиевна, которую мы звали "Курицовой", нашла нужный тон. Она умела Куприна сдерживать и своим ласковым "Сейчас, папочка" тормозила его необузданные желания, оттягивала исполнение прихотливых, порой бурных капризов.

Однажды в каком-то обществе он спьяна начал неприлично приставать ко мне, с издевкой, с подхихикиванием, с какими-то двусмысленными намеками. Я долго терпел, потом вспыхнул и громко произнес: "Если ты, утконос проклятый, немедленно не замолчишь, я сейчас разобью эту бутылку о твою татарскую баншку...". Я думал, что начнется драка, атмосфера и без того

была сильно накалена. Но ничуть не бывало. Куприн сразу же осекся, удивленно посмотрел на меня и зарыдал: "Это я-то утконос?", и всхлипывая по-бабьи продолжал: "Братцы, меня здесь оскорбляют"! Несмотря на любовь к скандалам и буйству Куприн храбростью не отличался и когда встречал решительный отпор и какой-нибудь задетый им "штафирка" надлежащим образом реагировал, он немедленно съезживался, затихал и чаще всего смывался. Это я наблюдал неоднократно.

В другой раз, в той же Одессе, я с Верой Николаевной поехал навестить его на дачу за Большим Фонтаном. Мы встретили его на дороге, он ехал на велосипеде. Заметив нас, он соскочил, ласково поздоровался с В.Н., а когда я протянул ему руку, он неожиданно попытался ударить меня ниже локтя, применяя какой-то прием джиу-джитсу. Я инстинктивно успел отдернуть руку.

— Счастлив твой Бог, проронил он, а то плохо бы пришлось.

— За что же это, Александр Иванович?

— Дорогу в Академию мне преградил, зло процедил он сквозь зубы.

— Позволь, ты сам прекрасно знаешь, что это избрание было для меня полнейшей неожиданностью и мне и в голову не могло придти что-либо с этой целью предпринимать...

— Ничего не значит. Преградил и все тут...

А тогда он уже пользовался всероссийской славой. Редакторы уже ходили к нему сами, он их не всегда к себе допускал и за печатный лист он получал тогда 2500 золотых рублей. Высчитайте, сколько это! А все-таки Академии он мне так и не простил...

*

— Я как-то встретил Бальмонта на Елисейских Полях.

"Знаете, Бунин, выпренно обратился он ко мне, я прочел вашего...ну, как это... "Человека из Сан-Франциско".

— "Господина из Сан-Франциско", холодно поправил его.

"Ну-да, "Господина"... у вас, Бунин, есть чувство корабля!

Тот же Бальмонѣ как-то — уже в Париже — поделился со мной:

"Бунин, вы не поверите — я заставил себя до конца

прочитать, наконец, "Войну и мир" графа (титул он произнес особенно напевно) Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами это даже просто хорошо, очень хорошо...

*

А вскоре после этого бальмонтовского признания я сидел в кафе с Алдановым. Нежданно появился Набоков, который еще именовал себя тогда Сириным. Тот тоже сообщил, что будто бы впервые "осилил" "Войну и мир". Алданов из вежливости спросил об его впечатлениях.

— Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная, белая нога Анатоля, ничего не скажешь, эта сцена здорово передана.

— Вы уж лучше этого никому не рассказывайте, заметил Алданов, покрасневший как рак.

*

— Я не верю людям, которые на глупый вопрос — "Какую книгу взяли бы вы с собой, если бы должны были обитать на необитаемом острове" — отвечают "Данте". Это — ханжество. Данте, конечно, очень крупный, мировой поэт, но "питаться" им в наши дни уже нельзя, он уже скучен.

*

— Хорошо было писать Сервантесу. В его время писали обще, аллегорически, без психологических выкрутасов. Может быть, и люди были тогда проще. "Дон-Кихот" — прекраснейшая из книг, но ведь это мы — поздние потомки придали ей глубокий, вечный смысл. Сам Сервантес об этом и не подозревал.

*

— Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой дон-жуанский список?

— Увы. Это уже дело далекого прошлого, но мысль отменная. Если найдется у меня свободное время, обязательно примусь за его составление. Только теперь уже многих имен не

помню... Но ваш "бестактный" вопрос пробудил во мне целый рой воспоминаний. Какое золотое время — молодость! Сколько бывает тогда побед, сколько встречается на пути прекрасных и пленительных женщин. Жизнь быстро уходит и мы во-время ничего не умеем ценить как следует. Начинаем ценить, когда все позади, когда уже поздно.

Давно это было. Был у меня в то время головокружительный, "африканский" роман с некой Любой Р. Впоследствии я уже никогда не встречал ни таких глаз, ни таких изумительных точеных рук. Не буду описывать подробно, вы непременно подумаете, что я пристрастен и припишете энтузиазм моих слов тому, что в дымке воспоминаний все кажется исключительным. Однако это сушая правда и я вполне объективен. Расспросите очевидцев, кое-кто из них еще живы.

Как все это было сказочно хорошо! Подумайте только — зимняя Москва, молодость, лстящая известность, рестораны, веселые кутежи, "Литературно-художественный кружок", писательские "Среды", беззаботность и легкость жизни... А тут, кроме этого основного романа, еще ряд встреч полуслучайных и мимолетных. Не ценил, с жиру бесился...

Однажды в середине зимы, рассердившись на Любу из-за какого-то нелепого и не стоящего замечания пустяка, я взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва-Вена и ни с того, ни с сего ускакал в Ниццу. (Отмечу от себя, что отдаленные реминисценции этой поездки можно найти в бунинском рассказе "Генрих", вошедшем в "Темные аллеи").

В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найденовым, который тоже не знал толком, что его принесло в австрийскую столицу. Дальнейший путь мы уже продолжали вместе. Проезжая через Тироль, при виде старинных замков он все время отплевывался и недовольно бормотал:

— Ёфу, пропади... И кому это все нужно...

Остановились мы в Ницце в отличной гостинице. Солнце, море, нарядная толпа... Но уже вечером в день приезда Найденов был всем разочарован. Не зная ни одного слова ни на одном языке, кроме русского, он никак не мог объясниться с какой-то француженкой, пленившей в Казино его сердце. Но и мне не сиделось на одном месте. Дня через два мы укатили в Венецию.

Найденов ненавидел памятники искусства и принципиально не посещал музеев, да правду сказать — и мне было не до них. Очень скоро мой спутник стал тянуть меня домой — “хоть бы борщ с пирожком на границе откушать”, все твердил он. А мне вдруг безумно захотелось поскорее повидать Любу. Скачки по Европе очевидно вполне меня отрезвили. Долго упрашивать себя я не заставил. Вернулись так же нелепо, как отправлялись в путь. Чуть ли не с вокзала я помчался к Любе.

Неожиданно она приняла меня холодно, с оттенком презрения. Сколько я потом ни прилагал усилий — она оставалась непреклонной и никогда моей эскапады мне не простила.

В день моего избрания в Академию близкие друзья чувствовали меня импровизированным банкетом. Люба была среди гостей. Была мила, дружески-любезна и... дьявольски-заманчива. При разъезде сама попросила меня проводить ее. Я очутился на седьмом небе. Я нанял лихача и по дороге, в летящих узеньких саночках, в то время, как крупные снежинки слепили глаза, пытался восстановить старое. Она отбивалась, закрыла лицо большой пушистой муфтой и процедила сквозь зубы:

— Никогда...

Это “никогда” так и осталось ее последним словом. Вот что за характер был у этой женщины!

Нет, мне легче было бы составить не дон-жуанский список, а список утерянных возможностей. Он, вероятно, был бы много длиннее!

Вот, кстати... Была тогда в Москве некая Марина У., стройная, дьявольски красивая, одевалась она всегда как-то вызывающе, любила иногда появляться в прозрачной тунике. Она принадлежала к кружку московских декадентов, а ведь они любили эпатировать “буржуев”. Муж Марины тоже одевался сногшибательно, ходил по Москве в какой-то крылатке и светло-голубых калошах. До сего дня удивляюсь, где он такие калоши заполучил.

Но, Бог с ним, с мужем. До чего хороша была эта женщина. И как-то, в период междуцарствия, то есть, разойдясь с одним из своих мужей и еще не оформив брака со следующим, она

вечером пришла ко мне в "Лоскутную". А я, дурак, в последнюю минуту вдруг чего-то испугался. Жить мне теперь осталось недолго, но я с радостью отдал бы три года жизни, чтобы восстановить этот вечер.

*

— Я когда-то усердно собирал частушки, народные поговорки, прибаутки. Это неоценимый клад и сколько их ни записывать, все равно всего не запишешь. Был у меня паренек из деревенских, которого я обучил искусству записи. Мы условились, что я буду платить ему по копейке за каждую новую запись. Вероятно, этот самородок многое сам присочинял, но как он был талантлив...

Во время войны я выписал его к себе в Москву и он ночевал у нас на кухне. Раз я его спросил — понравилась ли ему Москва?

— Ничего, только ветвей нету...

Давал я ему на прочтение кое-какие книги. Дал "Смерть Ивана Ильича".

— Прочел?

— Прочел.

— Ну, понравилось?

— Очен-но понравилось, там буфетный мужик большие деньги загребал...

Кончил мой паренек плохо, сперва получил у большевиков в начале 18-го года какой-то "ответственный" пост, но вскоре на чем-то попался и его расстреляли.

А всяких частушек и народных прибауток собрал я около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они остались в Москве в моих архивах. Кое-что я стараюсь теперь восстановить по памяти, но память — вещь неверная.

Несколько минут спустя он протягивает мне тетрадку:

— Вот для вас, обучайтесь...

В тетрадке столбиком записаны всевозможные поговорки, каких ни у какого Даля не найти. Некоторые из них он любит повторять, но, к сожалению, напечатать их неудобно. А ведь, действительно, жалко, так они остроумны и выразительны.

— Мне было тогда, вероятно, лет около пятнадцати. Я жил еще с родителями в нашем орловском имении. Старший мой брат, Евгений, недавно женился и приехал к нам погостить со своей молодой женой. Вскоре к ним присоединилась и молоденькая родственница моей новой невестки. Звали ее Авдотья Карловна. Была она круглолицей, пухленькой девицей с неселыми голубыми глазами. Были мы почти однолетками. Как полагается, через несколько дней после ее приезда я уже был в нее безнадежно влюблен и, конечно, воображал, что с равной силой подобное чувство никем и никогда не было изведено! Ведь это была моя первая влюбленность...

Мы без конца играли в крокет, постоянно вместе гуляли, ездили верхом. Но я был слишком робок и застенчив, чтобы признаться в волновавших меня чувствах, а она коварно делала вид, что ни о чем не догадывается.

Однажды мы целой ватагой зачем-то снарядили экспедицию в соседний городишко. Возвращались уже поздно ночью. Я устроился так, чтобы сидеть в тарантасе рядом с Авдотьей Карловной. В пути неожиданный толчок внезапно приблизил наши лица. Не задумываясь, не сознавая, что я делаю — я крепко поцеловал ее. Ничего более прекрасного, более сладостного нежели этот первый поцелуй, первое почти невинное прикосновение губами к женскому телу я не испытывал во всей последующей жизни. Я и сейчас, рассказывая вам эту страницу моей жизни, ясно вижу перед глазами эту картину, точно это произошло вчера: широкая проселочная дорога среди спелого жнивья, рассветает, какой-то босой мальчишка гонит нам навстречу стадо гусей...

После этого наши совместные прогулки еще участились. Я старался выбирать уединенные места, лесную чашу. Однако все так и ограничивалось одними поцелуями, ритм которых только постепенно учащался. На большее не хватало мужества. А дни мчались безнадежно быстро. Уже начинали желтеть листья, каникулы приходили к концу, пришлось расставаться.

Прошло лет двадцать. По какому-то случаю я заехал в Ефремов. Остановился в лучших тамошних номерах и, как подобало столичному путешественнику, навестившему захолустье, снял "номер первый". Вы этого, конечно, не знаете: в провинциальных русских гостиницах или по-гоголевски

трактирах был для именитых посетителей всегда наготове этот "номер первый"! Но в Ефремове этот самый "номер первый" с красной, как надлежит, плюшевой мебелью, с большим круглым столом и кроватью, отгороженной шатающейся ширмой, был постоянно насыщен угаром и кухонным чадом.

Случайно обнаружил, что моя Авдотья Карловна проживает в Ефремове. Я ей тотчас дал знать о моем приезде. Она зашла ко мне в гостиницу как-то под вечер. Уже не казалась мне столь обольстительной, как некогда, перестала быть в моих глазах "роковой женщиной", но все же была еще довольно аппетитна.

На круглом столе коптила керосиновая лампа. Глядя на знакомые голубые глаза, я мысленно пожалел о потраченном когда-то зря времени, сам поразился, вспоминая мою былую робость и без тщетных предисловий, сославшись на чад, затушил лампу, может быть, и прибавив какое-нибудь пошленькое "Так уютнее...".

Когда Авдотья Карловна вышла от меня, я растворил окошко. Была сухая, морозная зимняя ночь. Ярко светили звезды. Спать не хотелось. То, что было когда-то так неразрешимо сложно, оказалось таким простым, может быть, слишком простым... Душный воздух комнаты был мне невмоготу. Я оделся и вышел на улицу. Город безмятежно спал. Я растолкал прикурнувшего на стоянке извозчика и приказал ему покатать меня.

Он понял меня по-своему и не спеша повез по сонным улицам. Ехали довольно долго и, наконец, подвезя меня к какой-то загородной даче, обернулся и не без хитрецы сказал:

— Приехали-с!

Ступая по хрустевшему снегу, я пошел по направлению к дому, еще не вполне себе уясняя, куда я попал. Извозчик шел за мной следом. Я вошел в пустынные сенцы. Перед огромной иконой теплилась лампадка.

— Вот здесь я вас и обожду, сказал мой возница. Здесь потеплее будет.

Я прошел дальше. В просторной с низким потолком комнате на широкой постели спали две полуодетые девки. Они лежали, приткнувшись одна к другой, в каких-то длиннющих холщевых рубахах, точно две огромные, неподвижные рыбы. На одной из них поверх рубахи был засаленный корсет, поразивший

меня тем, что он был чёрного цвета. Во многих местах китовый ус вылезал из него наружу. А ведь вы, дорогой мой, никогда даже не видали таких туго зашнурованных, завязывающихся сзади корсетов и потому не в силах понять, каким бывало наслаждением их расшнуровывать!

Между тем сонные девки неохотно протерли глаза. Подали чёрные бутылки густого, клейкого пива. Я посидел несколько минут, о чем-то с ними поболтал и стал собираться в обратный путь. Девки были явно оскорблены.

Возница, которого мне пришлось долго будить, недоверчиво воскликнул:

— Как, уже?

Я вернулся в гостиницу, философствуя про себя о суете мирской. Тем и завершилась моя первая влюбленность. Авдотьи Карловны я больше никогда не видал. Слышал, что она стала гувернанткой в какой-то зажиточной рижской семье. Как-то я был в Риге проездом, но навестить ее не удосужился. А курьезно было бы повидать ее еще раз.

Стоило бы отметить, что многое из этих бунинских воспоминаний оградилось на его рассказе "Темные аллеи", вошедшем в его одноименный сборник.

*

— Уж, кажется, пером я владею и над тем, что мной написано, комар носа не подточит. А вот письма мне не удаются и никогда не удавались. Получаются какими-то тусклыми, бухгалтерскими — вот только, если разозлюсь, то развожу похабщину. Я непременно в моем завещании отмечу, чтобы мои письма никогда не опубликовывались. А кто послушается? Вот и Гончаров строго-настрого запретил его письма издавать и, вероятно, был прав: я недавно целый том этих гончаровских писем прочитал! Надписи на книгах тоже не моя специальность. "Милому", "дорогому", "глубокоуважаемому", а дальше что. Да и ламам не намного лучше. Если бы вы знали, сколько раз я использовал украденную у Горького формулу "эту книгу я перенел бы для вас в кожу моего сердца", вы бы ахнули, но представьте, всякий раз действовало.

*

— Я совсем ожидал! Ночью мне Шагал снился, большой такой, с ровной, гладко подстриженной бородой, точно пушистое кольцо вокруг лица.

— Иван Алексеевич, да ведь Шагал бритый...

— Вот вы всегда ко мне придираетесь. Я уверен, что это был Шагал. Я даже успел заметить, как за его спиной плавали его разорванные, зеленые евреи. А потом подошли какие-то немецкие офицеры, настолько страшно стало, что я проснулся.

*

А в другой раз:

— Ночью мне Лев Николаевич снился, весь сизый, с взлохмоченной бородой, все пил джин из огромной бутылки. Где он только такую достал? Меня он явно не узнавал. Я подходил к нему, представлялся, напоминал, что мы когда-то встречались. Ничего не помогало, старик был точно невменяем. А мне было не по себе — в печати рассказывал о встречах с Толстым, а он меня и не узнает.

На следующий день после этого сна мы ездили в Ниццу. Первой покупкой Ивана Алексеевича была большая бутылка джина!

Окончание следует

А. Бахрах

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫЛАЗКА

4. МОСКОВСКАЯ НОВОСТЬ

Овчинников по телефону сообщил, что объявился Жарких и просит всех собраться сегодня у Иванова. Хочет сообщить что-то очень важное. "В чем дело?" — "Не знаю", — отвечает Володя. Прихожу к Жарких. "Что случилось?" — "У меня новости из Москвы. Соберемся у Иванова — там и расскажу. За мною зайдет Овчинников. Мне сейчас крайне некогда. Нужно срочно сделать заказ" Юра, видимо, хочет взять все в свои руки и уверен, что иначе не может быть.

Последние его работы, что висят в мастерской, мне не нравятся. Хочется высказать свое мнение, но будто камни вываливаются из горла: У тебя раньше были более колоритные и структурные. — Я уже год работаю в этом ключе. На мольберте стоит начатая работа. Что-то вроде распятия. Рядом подсыхает другая — почти копия первой. Он тянет разом обе — видно, получил сразу два заказа. Серийное изготовление религиозной живописи кажется мне святотатством. А сам лучше ли? За что боремся? Оглядываюсь на иконы, висящие у него в мастерской. Под одной горящая лампада. — Когда-то иконописцы только после духовного поста принимались за иконы. — Бог простит. Даже уже за то, что всё же ближе к делу.

Над газом висит для придания ташистской фактуры еще одна картина. Работает нитрокрасками — вонь удушающая.

— У тебя не засидишься. До вечера.

Ухожу. Какая-то недоговоренность, отчужденность. Слаженной работы не будет, скорее борьба.

Вечером у Иванова собралось человек 25 художников.

Этот текст был выпущен автором в Самиздат в 1975 г. под названием "Человеку в горящему". И.С.

Многие не знакомы друг с другом. Овчинников и Жарких появились позднее других. Леонов, едва Юра переступил порог: "Ты где пропал?"

— Поволновались — спасибо. Мне нельзя было показываться. Они теперь поймут, что и без меня дело идет.

Свое любовное турне он записал в боевые заслуги. Надо уметь...

Все ждут, что за новость сообщит Жарких. Он:

— Необходимо отсрочить выставку. нужно провести после московской. Московские художники уже подали заявку. Если наша состоится позднее — обещаю широкую гласность.

Я вскочил, не слушая дальнейших доводов.

— Это шантаж! Нашлись начальники!

Юра тихо, бесцветным голосом стал обосновывать свои требования. Мне его слова казались неискренними, что-то другое стояло за этим требованием.

— В Москве власти стали раскалывать художников. Троицким: Немухину, Мастерковой (и еще кому-то — забыл) предлагают выставку. Они согласились. Теперь все на них смотрят как на ренегатов. Понятно, для чего власти подкидывают троим. Чтобы отказать остальным. Нам не нужно уподобляться им.

Я: "Эти трое может и ренегаты, но что у нас с ними общего? У нас с московскими художниками не было предварительной договоренности и мы не какая-то частная группа. Мы сами здесь начали добиваться выставку — это не ваша с Рабиным инициатива — не вам диктовать условия!"

Юра, не отвечая на мои слова, обращается таким же "умудренным опытом" голосом ко всем присутствующим:

— Не будем ставить палки в колеса москвичам. Должен состояться суд. Будет разбираться дело о порче картин, что устроили нам 15 сентября в Беляево.

— Если дело дойдет до суда — это будет, конечно, победа не меньшая, чем Измайлово. Но только какая связь с судом у нашей выставки? Может, ты считаешь, что корреспонденты будут поставлены перед выбором — ехать ли на нашу выставку или идти на суд?

— Да, без западных корреспондентов выставка пройдет так, что лучше её не делать.

Юрий Дышленко: — Если наша задача только в том, чтобы привлечь к себе внимание Запада и корреспондентов, то лучше выставку не делать вовсе.

Я: "Мы должны сейчас выступать широким фронтом, а не уповать только на московских художников и ждать команды от тех, кто заправляет там. Сегодня у них суд, завтра выставка, послезавтра еще чего-нибудь. Неужели Рабин и Глезер видят в нас конкурентов, а не соратников? Хороши "лидеры"!"

Юра все таким же тихим голосом, словно заученный урок:
— Если вы хотите, чтобы все было тихо-мирно — выставку вам устроят.

Я: "Нам нужна выставка, а не скандал. Мы не можем превращать выставку в политическую демонстрацию и об этом с самого начала договорились. Ты забыл? А теперь твои требования — даже не политика, а хуже — политиканство.." Жарких выставляет решающий козырь:

— Рабин мне сказал, когда мы здесь сделали первые шаги: "Юра, ты сможешь держать все в своих руках? Тогда начинай."

Я: "Ишь воротилы от искусства! Всё, Рабин пал в моих глазах. Иметь центр хорошо, но если хотят усесться на шею — обойдемся без них". Обращаюсь к окружающим:

— Если уж увязывать нашу выставку и московскую и подходить с позиции интересов начавшегося движения, то подождать следует москвичам. Сейчас не столь важно перенести выставку с открытого воздуха в закрытое помещение, сколько расширить ореол, перенести процесс на другие города. И если москвичи действительно заботятся об общих интересах — пусть воюют за общую всероссийскую выставку. Тогда пусть и диктуют.

К нашей перепалке подключились другие. Поднялся страшный шум. Все заговорили разом. Юра стал подробно излагать историю 15 сентября, напирая на вандализм властей. Я слушал рассеянно. Для меня были вновь лишь мелкие подробности. Нарочито сгущаемый ужас погрома, угрозы психушкой, следовавшие за 15 сентября, угнетающе подействовали на слушате-

лей. Надо спасать положение. Едва он успевает остановиться, я подхватываю:

— Ты ничего не доказал. Всем понятно, что мы можем столкнуться с отпором еще более жестоким. Но пока опасаться нечего. Переговоры наши с властями идут нормально. Варфоломеевскую ночь, вроде бы, не готовят. Не запугивай ребят. Лучше бы рассказал сейчас не о 15, а о 29 — об Измайловской выставке, да о том, как все-таки удалось добиться.

Дышленко: — Перед нами не только официальная Москва, но и неофициальная!

Геннадиев, бледный, с трясущимся лицом, срывающимся голосом:

— Да пока мы выжидаем, нас всех по-одиночке перехватывают. Причины найдут. Дорогу не там перешел, на работу не устроился, дома не ночуешь...

Петроченков выждав короткий промежуток тишины, пытается добиться от Жарких разумных аргументов, но тот молчит. Обращается тогда ко всем:

— Что мы собираемся делать. Давайте уясним. Выставку или демонстрацию? Какова наша конечная цель? Соответственно будем выработать тактику. О чем мы говорим? Об искусстве или о демонстрации искусством?

Арефьев осаждает его: "Нам сейчас не до ученых споров и тем более некогда кружок рисования или ликбез устраивать."

Их диалог гложет в общем шуме. Все торопятся выкрикнуть своё, свои доводы. Жарких поддерживает один Любушкин, да и тот как-то нерешительно:

— Да, не надо бы сейчас устраивать выставку...

Он не успевает договорить, как его перебивает покровитель. Жарких начинает отступление:

— Нет, разве я говорю, что не нужно делать..?

Николай поперхнулся. Я не преминул ему заметить: "Гы не за Юрины предложения, а за Юру."

Жарких отступил — и вмиг буря успокоилась. Сразу же переключились, без какого-либо дирижирования, на технические детали выставки. Прежде всего встал вопрос отбора участников. Жарких предлагает:

— Давайте по-демократически: пусть участвуют все, кто придет.

Кто-то: Наберется столько графоманов, что те, на кого бы следовало посмотреть, — в двери не влезут.

Дышленко: — Давайте по цепочкам знакомств.

Я: "Это годится только для оповещения. Разрешите мне предложить три условия для отбора художников и работ.

Все замолчали. Я кратко изложил свои мысли. Эту задачу я решал весь день, бродя по городу.

— Первое: Должен быть профессионализм, понимаемый достаточно широко, а не по соцреалистически. Приемлемо любое направление, но внутри него произведение должно быть выполнено на высоком уровне.

— Второе: Никакого соцреализма. Чем резче будет проведен водораздел — тем лучше. Всех, кто придет с подобными работами — отправлять в ЛОСХ.

— Третье: Примут участие те, кто возьмет на себя моральное обязательство поддерживать друг друга в случае репрессий. Нам могут отказать, и ничего другого не останется, как идти на улицу.

Никто не стал возражать. Жарких:

— Если откажут в ЛОСХе — будем писать в Исполком, если в Исполкоме откажут — обратимся в ЦК.

Я: Если придерживаться этой тактики, то прежде, чем обратиться в ЦК, придется пройти еще десяток инстанций в поисках справедливости. И на каждой придется ждать месяц с ответом. Так мы и до конца года выставку иметь не будем. Нам нужно положить предел во времени, после которого мы устроим выставку сами. Пусть власти знают этот срок и поторопятся, чтобы выставка не превратилась в демонстрацию. К тому же у нас власть едина. Отказывает одна инстанция — отказывает вся советская власть.

Я смотрю на Гаврильчика и, усмехнувшись, добавляю: "Да разве мы коммунисты, чтобы обращаться в ЦК? А если среди нас найдутся такие — пусть они там ищут для себя защиту.

Петроченков: Да ведь парторганы все и рашают. Они и будут давать добро на нашу выставку.

Арефьев: Тогда уж прямо в КГБ ходокон направлять надо.

Стали согласовывать приемлемый для нас срок, который предложим на ближайшей встрече в ЛОСХе. Кто-то замечает: "Это для них новостью не будет. Уже завтра доложат."

Остановились на воскресенье, 8 декабря. Любушкин и Жарких оттягивали на январь. Жарких разумно предлагал открытие устроить в субботу, чтобы первые посетители разнесли новость по городу. Рекламу, мол, мы у них вряд ли выбьем. Но все согласилось с Леоновым: "Воскресение — это символично. Наше воскресение из мертвых."

Где-то по ходу беседы у Жарких вырвалось, что в инициативный комитет входят лишь те, кто подписал письмо в ЛОСХ. У меня будто оборвалось внутри. Он ловит меня на формальности. Чтобы остаться в группе, ведущей переговоры, я не стану заискивать. К концу встречи я решаю, что замазывать, скрывать образовавшийся казус не буду.

— Встал вопрос о моем пребывании в инициативной группе. Жарких утверждает, что в нее входят те, кто поставил свою подпись. Моей нет. Но это произошло не от того, что я не решился или меня обошли. Если говорить об инициативе, то инициатива выставки исходила от меня, этого никто не может оспорить. Я обращаюсь к собранию подтвердить мой мандат на переговоры с ЛОСХом, или устранить меня. Прошу поднять руки — кто за меня.

Петроченков рассудительно: "Ты слишком шумишь."

"Зато искренне и справедливо", — защищает меня Иванов.

Рук не подняли трое: Жарких, Любушкин, Петроченков. Жарких: "Я не против, пусть." Радость победы.

Разговор стал сворачиваться и разбиваться на отдельные диалоги. Я закрыл собрание: "Аргументы исчерпаны, пора расходиться".

Все поднялись. На радостях я обнял и поцеловал Таню. Напрасно я опасался, что она будет меня связывать. Схватка была такой захватывающей, что я забывал о ее присутствии. Где-то в самый разгар спора она одернула меня — потише. И я послушно умолк ненадолго. Игорь Иванов на правах хозяина резюмировал: "Устраиваем выставку как можно скорее. У москвичей просим поддержки."

Вышли на Владимирский проспект. Стоит черная "Волга".

На проспекте темно, а внутри все четверо "читают" газеты. Идем по направлению к Невскому вместе с Овчинниковым. Я потрафил ему:

— Один Володя среди шума был спокоен. Это нам ещё пригодится.

— Ты не думай, меня страшно встревожило сообщение Жарких.

Мы с Таней направляемся домой. Троллейбус, электричка. Два километра пешком. До самых дверей продолжаем обсуждать эту бурную встречу.

— Ты заметила, когда про демонстрацию пошла речь — будто мороз по комнате пробежал — все сжались? Демонстрация — это как-то неэстетично, старомодно. Взывают к совести тех, кого и видеть-то не хотят. Но если отказаться от какого бы то ни было протеста, власти поймут, что с нами можно не считаться.

— Игорь, ты будь вежливее с людьми, иначе они тебе позднее "отплатят".

В начале встречи, нимало не считаясь с этикетом, перекричав всех, Арефьев обратился ко мне:

— Я о Вас много слышал. Обязательно приходите ко мне.

Я записал его адрес и через два дня направился на Петроградскую сторону. О нем мне рассказывал Овчинников: живописью занимается давно. У них был свой особый круг богемы, пили, "ширялись" (уколы наркотиками). За что и отсидел за два приема несколько лет. Все думали: погиб Саша, а он на удивление всем опять рисует. Саша встретил радушно, восторженно. Сразу же стал показывать свои работы. Все стены в квартире завешаны его живописью. От нее веет какой-то небрежностью, недоделанностью, чуть ли не грязью. Неуравновешенный колорит. Лишний раз — убеждаешься, что у всех, кто пьет, творчество носит характер недоделанности, поспешности, сумбура, сырости. Правда, у Арефьева, если отключиться от всего этого комплекса, сопутствующего миру пьянства, и тем более согласиться с алкогольным экстазом, включиться в него хотя бы в воображении, можно обнаружить в картинах своеобразное откровение — краски на холстах загораются. Живопись — это последние годы. Основное его творчество — графика. Большие

сундуки, доверху заполненные листами с рисунками. Производят неизгладимое впечатление. Датированы пятидесятыми годами. Мрачная сталинская эпоха, оставившая след в каждом, кто коснулся ее хотя бы школьными годами, дана на этих листах изнутри. Это не критический взгляд, а как бы даже принимающий весь этот ужас и маразм, впитавший его внутрь, как неизлечимую проказу. Рисунки стесненного коммунального быта чередуются с уличными драками, пьяными харями... Жанна, жена Саши, попыталась комментировать, но он выгнал ее на кухню: "Не лезь, не твое это дело, я сам разберусь."

— Леонов хотел подъехать. Позвать? — "Давай, звони." Через час подъехал Леонов — давний друг Арефьева. Пьем вино и разговариваем о предстоящей выставке. Жанна обильно угощает. И, несмотря на протесты Саши, участвует в разговоре.

Леонов: Я понимаю всю обстановку в Москве вокруг Рабина. Здесь, в Петербурге, все горят выставкой. Там — не столько выставкой, сколько продажей. И всё ставят в подчинение главному. Мы им своею помешаем. Они не будут казаться единственными, мы для них конкуренты на рынке сбыта неофициальной живописи, отсюда все эти "предложения" Жарких. Он имеет рынок сбыта в Москве через Рабина, потому и работает на него. А здесь еще не вышли на Западный уровень, не соприкоснулись с логикой бизнеса, оттого и идеалисты все. Но нам нужно сохранить эту чистоту.

Я: Мне кажется, сейчас нам нужно объединиться. Выставки жаждут все, какие бы цели не преследовали. Меркантильные или идеальные — свобода искусства и т. д. Нам нужна прежде всего выставка здесь. Идеалисты должны подчинить себе прагматиков. Жарких говорил, что Глезеру удалось всучить судье иск. Это нечто небывалое. Мы тоже можем, в случае отказа, подать на ЛОСХ жалобу в суд...

Леонов: "Ты разве не знаешь, что такое суд? Сошлются на никому не известные указы — и останешься в дураках."

— Будем опротестовывать эти указы как неконституционные и противоречащие правам человека. Благо, гласность в лице западной прессы появилась, да интерес к нашим делам.

Арефьев: "Не судебная волокита нам нужна, а выставка!"

Я: Как мне показалось, в Москве — художники не объеди-

нены. Здесь же мы можем собрать всех вместе, если с самого начала поставим это своею целью. Выставка нам поможет. Впереди просмотр. Нужно уже на этом этапе выступить как единое целое. Давайте проведем предварительный просмотр сами. А перед ними представим работы не как конгломерат отдельных единиц, а как организованное целое.

Леонов: В Москве всеми делами среди неофициальных художников в основном заправляют евреи. И видишь, как там дело идет. Нам здесь тоже нужно ввести в инициативную группу еврея.

Я: "Нет ни эллина, ни иудея." Не по национальному признаку следует отбирать в инициативную группу.

Арефьев: "К тому же власти к ним в связи с проблемой выезда будут относиться с двойной настороженностью. Уже пошел слух, что все эти дела с демократами и выставками — это "еврейские штучки".

Леонов: "Наши власти своего в бараний рог согнут, а с евреями разговаривать почтительно будут".

—Ничего, не лыком шиты. Справимся. — Задумался ненадолго, продолжаю: Не хватало нам еще расовых проблем. Это скользкая дорожка. Искусство, по-существу, космополитично, всечеловечно. Вот ты советуешь ввести. А мне кое-кто наоборот, советовал подальше держаться. Иначе это будет работать не в общих интересах. Но я считаю, что нам национальную проблему в нашем деле нужно игнорировать. Если кто-то из евреев, естественно, войдет в инициативную группу — на здоровье. Ни тащить, ни препятствовать. И не слишком ли у нас появляется побочных проблем? Дышленко уже сетовал, что неожиданное препятствие приходится преодолевать: неофициальную Москву. Теперь ещё заноза...

Леонов принялся описывать расстановку сил среди левых московских художников. Роль Рабина. Вскоре перешел на проблемы продажи работ иностранцам — основным покупателям несоцреалистической живописи. Это его конек. Сбить его с этой темы невозможно. Но ряд его выводов довольно любопытен.

Иностранцам выгодно покупать работы в России. Здесь их продают за копейки. Большевики из-за идеологических

соображений пытаются утверждать, что в России нет другой живописи, кроме соцреалистической. И теряют на этом деньги. А кому нужна пропагандистская мазня?

Я: "Я в Москве слышал от Валентина Воробьева интересную версию. Он утверждает, что потому сейчас пошла такая бойкая продажа модернистской живописи иностранцам, что КГБ имеет с этого свой навар. Позволяют, мол, беспрепятственно тереться в дипломатических кругах и среди прочих иностранцев тем художникам, кто поставляет сведения. Но он же считает, что в целом художники, если учитывать перспективу, не могут рассчитывать заработать на хлеб продажей работ. Может, двое-трое вырвутся вперед — не больше. А если пойдут выставки, то положение станет для художника еще горше. Он выставится, будет иметь успех у публики. Та ведь тоже голодная по маломальски стоящему искусству. А в итоге, окрыленный надеждами, диссидент от искусства не сможет не то что на масло — на хлеб зарабатывать. Так что итогом всего станет общий исход на Запад."

Засиделись до двенадцати. Мне пора на последнюю электричку. Леонов приглашает к себе — познакомиться с его творчеством.

На следующий день (это было уже 1.12.74 г.) я позвонил Нестеровскому, и мы, встретившись, направились пешком к Леонову. Володя начал меня увещевать:

— Вам нельзя спорить. Вы заняты общим делом. Нужно понять всю серьезность и ответственность момента. Вы сейчас пробиваете дорогу всем. И нам, поэтам, тоже.

— Кому это не ясно, Володя? Понятно, что не добравшись до цели, мы можем передрататься по пути. Но идти-то надо, а не на месте стоять. Жарких предлагает всем выжидать, пока старшие товарищи все за нас решат.

— Ты прав. Но ты навязываешь свою волю. Диктаторов в искусстве не требуется.

— Ты эту неделю с Любушкиным беспробудно пил, вот и стал на все смотреть его глазами. Николаю нечем крыть, своего ума нет, так начинает придирааться как дамочка — к тону голоса, манере поведения. Как раз Жарких пытался диктовать.

— А ты не думаешь, что у тех, кто следит за каждым нашим шагом, могут быть расчеты на ссоры и на раскол?

— Сейчас нам это не грозит. Даже если мы с Жарких передеремся. Выставка нужна всем. И это накрепко всех связывает. Вот после выставки... Как всегда в истории. Одним нужна будет выставка следующая, другим продажа, третьим — в ЛОСХ проскочить.

— Я тебе по-дружески советую — будь сдержаннее — больше выиграешь в перспективе.

— Кто его знает, что лучше... Может проиграть... Иногда бьешься за какое-то дело, готов живот положить, а потом пройдет срок, оглянешься — эх! зачем не проиграл, зачем увяз надолго? Остается помолиться, да положиться на волю Божию.

Пришли к Леонову. Он показал свои вещи. По направлению наши последние работы близки. Он уверен, что находится в авангарде разработок в области чистой формы. Его живопись и объекты понравились, но его самомнение на порядок выше уровня работ. Мне больше нравится обратная пропорция. Сели пить чай. Нестеровский стал рассказывать, как в кафе "Сайгон" к нему и Любушкину приставал вчера подозрительный тип.

— Сначала он ко мне: "Я помогу Вам устроить личную выставку, если откажетесь участвовать в общей." Узнав, что я не художник и он ошибся, полез к Любушкину. "Идите в Смольный. Комната 64. Скажите, от Шмелева. Будет большой заказ на полторы тысячи. 10% — мне. Я знаю, у Вас новая жена." Наталья, жена Любушкина, была рядом — она ему чуть глаза не выпарапала. Мы этого типа видим впервые, он нас тоже. Значит провокация сверху направлена.

Володя не советует заходить в это злополучное кафе. Богему в нем все больше вытесняют пьяницы, валютчики и спекулянты. Участились превентивные аресты. Недавно, рассказывает Нестеровский, подходят ко мне трое в гражданском, говорят: "Пройдемте". Не объясняя, конечно, зачем и куда. Оно и дураку понятно, но я пытаюсь "права качать", хоть и знаю, что если буду взывать к справедливости и кричать о незаконности ареста — только хуже будет. Обычно посмеются в лицо: "Жалуйся хоть самому генеральному прокурору. А если не успокоишься — за одно это пятнадцать суток получишь." Ко мне придрались, что я,

мол, курил в кафе. А у меня всего лишь незажженная папироса в руке. Привели в ближайший штаб ДНД — добровольная народная дружина. О моей папиросе и думать забыли. Обыскали с головы до пят. Это я еще стерпел. А вот когда один из фашистов завел провокационный разговор, обзывая Солженицына предателем, я ему, со словами: "Не тронь Солженицына, не вам судить его", в морду плюнул. Связали, избили. Утром повели на суд. А суд такой — человек пятнадцать пропускают за полчаса. Судья никого не слушает, что бы ни говорил и как бы ни оправдывался обвиняемый. Им бесплатные рабочие руки нужны. Мне повезло. Когда в милиции на меня готовили материалы... Там оказалась куча свидетелей, каких я и в глаза не видел. И все в один голос утверждают, что я негодяй и бандит. Как ни угрожали — подписывать милицейское творчество без оговорок — не стал. Успел, прежде чем вырвали из рук, написать: "Все это не соответствует действительности." Судью, видно, и заинтриговала моя ремарка. А может, оказался из порядочных и неравнодушен к интеллигентам. Поднял глаза от бумаг — на других даже не глядел. "Вам придется заплатить штраф — десять рублей. Другого выхода нет. Вы не сможете опровергнуть всех свидетелей. Заплатите сейчас же, иначе придется отрабатывать под арестом." Пришлось благодарить. Хорошо, под дверями дождалась моя пассия — у нее как раз десятка оказалась. Не выйди я из под ареста — они бы мне там показали... Пока сидел в ожидании суда в камере, такого насмотрелся и послушался...

Вот уж где произвол полнейший. До этих пятнадцатисуточников никому дела нет. А там не только пьяницы и дебоширы. Сплошь да рядом ни в чем не повинные. Принудительный труд еще не отменен и ему нужны жертвы. Я там рассказывал о готовящейся выставке и о надеждах, которые на нее возлагает творческая интеллигенция. Любопытна их реакция. Они дружно решили, что все мы в господу метим, а им от господ ждать кроме кнута нечего. И я почувствовал, что их положение не моральное падение, прикрытое протестом, а бунт в форме хулиганства и пьянства. Вот где вулкан кипит, а нам только кажется, что новый мир строим мы. Мне думается, Бакунин в русском проснется не скоро — еще от последнего бунта не оправились.

Так что нам еще долго придется держать в руках кисть, а не дубинку.

Хотели обменяться последними анекдотами, но все они были на политическую тему. Леонов замахал руками: "Тише, не надо." И поглядывал на окно. Не опасность ли, скрывающаяся в темноте, да в телефонной трубке, ограничивает его мир сферой искусства?

Вышли от Леонова. Уже поздно. Решил переночевать у Нестеровского. Прошли несколько кварталов пешком. Пора позвонить Овчинникову, он должен уже вернуться домой. Звоню из автомата. Овчинников весело, будто с праздника: "Пять минут назад звонил Угаров. В ближайший вторник будет просмотр, 3 декабря в помещении графического комбината." — "Володя, ты не ложишься?" — "Ты что.. В 11 часов — мои петухи еще не поют. Заворачивай ко мне, потолкуем." Я на такси, минут через двадцать стучусь к Овчинникову. Он навеселе, благополучный как всегда, сейчас даже счастливый.

— Володя, ты не думай, что борьба за выставку закончена. Нужно, чтобы не нами крутили, а суметь всё удержать в своих руках.

Овчинников: "Чтобы не повторялся хаос, какой был у Иванова, нужно основные вопросы решать внутри инициативной группы".

— Вы пришли вместе к Иванову. Тебе-то он объяснил, что они в Москве задумали?

— Нет. Я его не спрашивал, а он молчал.

— Ему полководческие полномочия никто не вручал...

— Только поменьше споров. Если все поймут, что у нас нет единства, авторитет инициативной группы будет равен нулю.

— Володя, сейчас нужно разработать порядок отбора работ для просмотра во вторник.

Стоит ли инициативной группе превращаться в Художественный Совет, какой существует в Союзе художников? От чего бежали, к тому и прибежали!

— Отбирать работы придется, иначе за нас это сделает ЛОСХ. При этом нет нужды брать полицейские функции самой инициативной группе. Пусть это решает общее собрание. Как на русском вече — чья сторона громче кричит — та и решает. А нам

останется лишь корректировать. Но при этом пусть вольница получит право на отбор из наших рук.

— Овчинников, поразмыслив: Хотя за нами инициатива, но мы не должны, воспользовавшись этим, навязывать свою диктатуру.

— Союз художников, наверняка, смотрит на нас как на будущих своих подопечных. КГБ будет обрабатывать каждого в отдельности. Устоять смогут лишь немногие. Мы выросли не в демократии и потому надеяться на спонтанность, на "творчество масс" не приходится.

Овчинников засмеялся: "Приходится быть не только художником, но и политиком, и идеологом. Видно, дело затеяли серьезное." Попрошались. Какое-то необычное чувство любви, сорабничества. Я побрел искать ночлег. У Володи комнатуха настолько мала, что даже на полу негде поместиться.

На следующий день звоню к Нестеровскому. Приглашаю к часу дня на просмотр к Иванову.

А разве вы не к 11 собираетесь?

В одиннадцать соберется инициативная группа.

И я приду.

Приходи, но будешь молчаливым наблюдателем.

Ну, ты уж цензуру брось! Как пойдет...

Володя, дело серьезное. Ты не художник и не тебе определять основные направления.

— Недаром говорят, что вина в тебе. Пойми, вы решаете не только свои проблемы.

— Володя, если ты надеешься быть уравновешивающим центром, так подавай конструктивные советы, а не оценки личностей.

Володя молчит. Надо как-то стусевать надрыв.

— Ты не обижайся. Когда ты будешь вести переговоры с редактором, меня не то что на стол между вами не посадишь, а и близко не подпустишь. Приходи к Иванову. Там можешь сказать всё, что думаешь.

5. ПРОСМОТР

Во вторник, в одиннадцать, инициативная группа в полном составе — шесть человек — собралась у Овчинникова. Все с

картинами. Пусть и наши работы на равне со всеми подлежат общему утверждению. Я принес только что законченный "Автопортрет".

Пришел Жарких с Любушкиным. Приветствовали друг друга вежливо, сдержанно. Я ожидал худшего. Юра привез из Москвы письмо от Глезера. Примерное изложение: "Ленинградским художникам от имени художников Москвы, Ленинграда, Новгорода, Владимира, участвовавших в выставке в Измайловском парке." Далее следует развернутая просьба не срывать дело скандалами, поскольку московские и ленинградские дела взаимосвязаны. "Вы, поддавшись на провокацию, можете погубить начатое в Москве движение. Мы вас поддержим, но если вы сорветесь, то никакой помощи не ждите. Согласуйте с нами свои шаги". А. Глезер.

Я: Опять наставнический тон, да еще угроза. Глезер должен был написать поумнее: "Мы знаем, вас могут провоцировать на скандал. Но вы держитесь. Мы вас поддержим в любом случае, даже если вы и ошибетесь." Таким бы обращением он завоевал уважение к себе. А то чуть ли не плеточкой угрожает. И кто ему поручал вещать от имени всех участников Измайловской выставки? Меня, например, не спрашивали. Да и другие, насколько мне известно, не передоверяли ему свои права. Устраивать рекламу перед инкорами они не забыли, а собрать участников выставки и обсудить, что делать дальше — не в их интересах.

Овчинников: "Юра, о каком скандале идет речь? Переговоры с ЛОСХом проходят достаточно вежливо."

Я перебиваю Володю: Юра, ты по-своему перетолковал реакцию на ваш сюрприз. Не согласились с указкой — сразу в скандалисты попали.

Жарких: "Ты против согласования действий?"

— Я еще в Москве Глезеру это предлагал — он позевывал. И не тебе ли он советовал не тратить силы на Ленинград? А как жареным запахло, так сразу же себя в командиры производит. Мы за координацию, но не на основе подчинения.

Юра спрятал письмо в больше никому не показывал. Позднее в Москве я напомнил Глезеру его "княжескую грамоту". Он оправдывался: "Это меня Жарких попросил в

таких выражениях написать.”

Но Юру трудно было убедить, точнее победить. Он продолжал с завидной настойчивостью отстаивать необходимость зависимости от москвичей.

— Не будет корреспондентов. Рабин все нити информации держит в своих руках. Инкоры, прежде, чем дать сообщение о художниках в свои агентства и газеты, справляются у Рабина.

— Мне кажется, ты ошибаешься. Во-первых, Рабин только вид делает, что говорит от имени всех. Художники в Москве неорганизованы, да и западную прессу трудно контролировать.

— Пожалуйста, могу на примере доказать. Недавно Аиду Хмелеву выбросили с детьми, вещами, картинами на улицу. Она пыталась созвать корреспондентов — у нее полно знакомых. Но Рабин всех остановил. Он делает общую политику, и посчитал сообщение об Аиде преждевременным. Оно всё же проникло на Запад.

— Небось его чуть побеспокоят, так он ни с какой ”политикой” не считается. А их финт с письмом Щелокову? Да это позор! Перечислили все гонения на художников и отослали с припиской — все это будет обнародовано, если не прекратите преследовать Глезера.

Юра: ”Рабина могут выслать за границу.”

— Он что, надеется на ту же ”честь”, какой удостоился Солженицын? Если нужно поддержать Рабина — мы поддержим. Но превращать нашу выставку в победные носилки для Рабина не будем.

Когда Жарких ненадолго вышел, Леонов зашептал: ”От литературы — Солженицын, от ученых — Сахаров. Рабин хочет быть от живописи.”

Овчинников: ”Сделаем выставку, тогда и будем говорить с москвичами на равных”.

— Начнут кушать сейчас, закончат после выставки.

Возвращается Жарких. Мы с ним опять сцепляемся. Овчинников пытается нас разнять: ”Да перестаньте скандалить! Прекратите склоку! Нашла коса на камень.”

Может, действительно, вся суть спора с Жарких сводится к борьбе за власть. И если мы с Жарких будем продолжать в том же духе, Володя невольно станет арбитром и ему быть лидером.

В его словах послышалось не столько отчаяние, сколько властное одергивание. Я стараюсь укротить себя: "Володя, дело не в наших личных претензиях друг к другу. Я могу говорить и спокойным тоном, но молчать меня никто не заставит".

Жарких воспринимает выпад Овчинникова, как поддержку:

— Ты устраиваешь, скандал на публику.

— А ты хочешь диктовать нулям. Среди художников это не пройдет.

Овчинников прекращает спор: Нужно заранее обо всем договариваться между собою. А уж потом собрать ребят. А теперь пойдете к Иванову, только смотрите, не сцепляйтесь там.

Направляемся к выходу. Я в отчаянии взываю к Жарких: — Юра, ты понимаешь только доводы и логику Рабина!

За спорами мы забыли, ради чего собрались. Предстоящий отбор, его принципы и порядок остались не выяснены.

Держа картины в руках, мы торжественной процессией через Невский по Владимировскому проспекту направились к Иванову.

Юра, почему ты без работы?

— А я еще не решил, буду ли показывать.

— Сейчас ни у кого не должно быть преимуществ. Нельзя оскорблять остальных. Если мы взяли за организацию, не значит, что мы ведущие художники тем самым.

— Да она у меня не совсем закончена.

Но все же направился в мастерскую за картиной. Вскоре вернулся, поставил холст в угол. "Разворачивать не буду — его все видели."

У Иванова собралось около двадцати художников. Картины расставили по столам, диванам, развесили на стенах. Много интересного, неожиданного. У всех праздничное настроение. Призываем друг друга держаться твердо, независимо перед комиссией ЛОСХа. Не пришлось давать отвод ни одной работе. Во взаимных оценках все сдержанны — ни осуждений, ни восторгов. Лишь две-три работы показались мне слабыми, хилыми поделками. Но я молчал, больше прислушиваясь к другим. Уверенно судил и давал окончательные оценки Леонов.

Словно обладал универсальным эстетическим критерием. Что же — ему легче, видно, муки сомнений у него позади.

Не приняли два листа с графикой у Александра Иванова. Иллюстрация к Салтыкову-Щедрину "История одного города". Я обнаружил их задвинутыми в угол. Леонов пояснил: "Как ни крути, смотрится антисоветски". На одном листе изображен городоначальник, перстом указующий ротам. Текст гласил: "Он требовал, чтобы все ходили одинаковым шагом, одинаково были подпоясаны и одинаково думали". Другой рисунок изображал городоначальника, напоминавшего не только своими бровями нашего сегодняшнего. Громадным сапожищем придавил он своих подданных. Текст сообщал, что сей правитель "любил издавать смутные законы, которые ни о чем никому не говорили и ни до кого касательства не имели."

— Неужели на этом основании нужно отказать Александру?

— Не везет старику Салтыкову. Всякий редактор невольно видит в иллюстрациях к его "Истории" сатиру на сегодняшнюю Русь.

Овчинников, услышав наш разговор, пояснил:

— Он пытался подсунуть уже проданный товар. Эти иллюстрации уже красуются на обложке последнего номера журнала "Аврора".

— Надо сказать Иванову — пусть приносит, но только не использованные вещи. А то, Саша, (обращаюсь к Леонову) получается, что мы более строгие цензоры, чем официальные.

Белкин: "Да с ним лучше не иметь дела. Он всегда какой-нибудь финт выкинет. Только что ... (сообщил нам Толя последнюю сплетню) ...потому и не показывается".

— Только не на этом основании будем отказывать в участии. Пусть приходит хоть сам дьявол. Если выставит принадлежащее искусству — мы не вправе выставить его за дверь.

Иванов же довел остракизм до логического конца. Он убедил самого себя, что не его выбросили, а он не может уместиться в рамки выставки. В день развески работ он принес пахнущую свежей краской живопись на религиозную тему "Воскресение Лазаря". Об условиях отбора он знал, но устроил для всех эту сцену, чтобы наглядно доказать, что ни выставка, ни

ее участники не решат его творческие и психологические проблемы.

К 15⁰⁰ все вместе с веселыми шуточками добрались до Охты. Кое-кто боялся, что по пути нам устроят провокацию. Я, по своей безденежной привычке, опустив в кассу две копейки, оторвал длинную ленту. Сразу на несколько человек вместе с багажом. На меня зашикал Любушкин: "Ты что? Раз за такое дело взялся — теперь ходи через улицу только по зеленому свету, мимо урны не плюй, за билет торопись платить и полностью, если не хочешь, чтобы уpekли."

— Э, Коля, захотят — все сделают. Если решат, что пора посидеть — приставят сзади — и будут ходить за тобой по пятам. А до вечера если не натворишь ничего—разозлятся—еще хуже будет.

В одном из помещений графического комбината (перед этой машиной наша маленькая группа казалась иллюзорным гномом, вызвавшим на единоборство великана) нам предложили развернуть картины. На стенах графика Вильнера — своего рода "оппозиция его величества". Под этой умирающей законченностью мы и расставили наши яркие картины. Расположились мы по-домашнему. Я снял свои тяжелые ботинки, хожу в носках. Кто-то включил их в сооруженный тут же объект: плевательница, шляпа, пиджак. Жарких показывает на свои высокие ботинки: "А мне, представляешь, в Сухуми пришлось преть в них. Там еще купальный сезон не кончился." Меня кто-то толкает: "Давай, одевайся скорее — комиссия идет." — "Да не разбирайте вы эту штуку — пусть посмеются." — "Они шуток не понимают, особенно при исполнении служебных обязанностей."

Входят Мыльников, Моисеенко, Фомин, Угаров — все действительные члены или члены-корреспонденты Академии художеств. Их сопровождают не назвавшие себя лица. Среди нас шепот: "Это искусствоведы из КГБ". Церемонно, долго жмем друг другу руку. Боссы от искусства с улыбками тянут руки своим старым знакомым по предыдущей встрече. У Моисеенко кривится лицо: "Может хватит?". Фомин выступает вперед и уставшим голосом обращается к нам:

— Как и договорились, мы не будем обсуждать здесь ваши произведения. Лишь посмотрим и решим наши дальнейшие отношения.

Меня поражает отсутствие даже тени коварства. На какой-то миг кажется, что внутреннее напряжение, недоверчивость, накопленные с годами — всего лишь застарелая болезнь от личных неудач. Вот он, спокойный открытый мир, построенный отцами — твори свое дело и тебя по достоинству оценят. Что ещё желать? Они внимательно просматривают картины. Начали было спрашивать фамилии, но один ответил неохотно, другой промолчал. У Моисеенко желтое болезненное лицо.

Леонов шепчет: "Он болен. Отсидел в нацистских лагерях. За импрессионизм его в свое время пинали со всех сторон. Ему не легко досталась кафедра в академии. Этот скорее поймет час, чем другие." Арефьев: "Кому карьера досталась с кровью, те в каждом конкурента видят. Ограниченный левак хуже правого." Моисеенко наткнулся на фовистские пейзажи Игоря Иванова и стал внимательно рассматривать их. Это как раз следующая ступень в историческом развитии французского импрессионизма. Но для официальной живописи это уже запрещенный рубеж. Маэстро обращается к автору:

— Вы заканчивали что-нибудь?

— Какое это имеет значение?

Я вслед за Игорем: "Пусть работы сами за себя говорят". Слышу, как Игорь Иванов ворчит: "Сколько раз выставляли меня за дверь. Приносишь на их выставки живопись и первый же вопрос, не успеешь развернуть работы: "Где учились?". Отвечаю: "У природы". На этом разговор и просмотр заканчивается. И зарекаешься к ним близко подходить." Вопросы прекратились. Мы сбились в одну кучу и наблюдаем за этими цензорами. Они о чем-то тихонько перешептываются друг с другом. Проходят всю экспозицию, затем, не спеша, в обратном порядке.

Наконец, Фомин с приветливой улыбкой обращается к нам: "Спасибо за показ работ. Мы Вас известим сразу же после праздников, задерживать с ответом не будем." Арефьев (после их ухода): "И они, оказывается, могут быть людьми! Обычно разговаривают по-барски."

— Да, московские события их многому научили.

Предложил Юре, Любушкину, Овчинникову отметить у Игоря Иванова благополучно пройденный рубеж. Овчинников весело: "Синявин на глазах преобразается!"

Прежде чем раскупорить бутылки, Жарких решил позвонить в Москву инкорам. — Нужно сообщить, что дела идут плохо. Без этого новости не будут иметь для них цены.

Я: — Что ты! Нельзя заниматься дезинформацией. Это и неэтично и опасно. Мне кажется, ты ошибаешься, что Западу нужна лишь скандальная информация. Разве там не заинтересованы в расширении свободы в России? Пусть знают, что языком бульдозеров с художниками уже не разговаривают.

Юра направляется в коридор к телефону.

— А не подорвешь ли ты отношения с Рабиным, что, не спросив его, выходишь на связь с Западом? — усмехаясь, подзадориваю я его. Юра отмахивается. Иванов: — Чего ты его дергаешь?

— Пусть работает на нас, а не на Рабина.

Я направляюсь вслед за Жарких и слушаю, как он кому-то передает скучным голосом одни лишь факты о последних событиях. Заключает свое сообщение просьбой о помощи со стороны мирового общественного мнения. Возвращается к столу.

— Я же говорил, что они сразу же спрашивают — знает ли об этом Рабин?

— Боишься, что тебе Рабин хвост накрутит?

— Брось ты...

— Я думаю "мировое общественное мнение" — это миф. К тому же нам и заступничество навряд ли сейчас понадобится. Им достаточно сообщить, что московский прецедент дает всходы — ленинградские художники переняли эстафету.

Это они и сами поймут.

— Как знать...? Может, мы здесь объявим соцреализм своей основой, а всех, кто каким-либо образом поперек власти — стоящими вне искусства.

Юра пошел звонить в агенство "Рейтер". Я направляюсь вслед за ним. Иванов: "Пусть он сам этим занимается. Не вмешивайся." — "Его опыт нам пригодится." Стоя на пороге слушаю. Жарких вносит поправки в первоначальный текст.

Я позвонил Нестеровскому. Тот отвечает неохотно, с остат-

ками обиды, но узнав, что на столе гора бутылок: "Я сейчас."

Начали пить и закусывать. Я что-то о легальном независимом общественном движении, начало которому положено нашими выставками. Жарких: "Игорь, кажется, начинает понимать..." — "Ты, видно, забыл наш спор о политике и искусстве? Рад, что теперь смотришь иначе". Юра: "Да все мы всё понимаем, только одни торопятся высказать всё сразу, другие хотят во время и к месту." — "Слава Богу!". Немного погодя, когда алкогольная эйфория разгладила наши лица: — Юра, как только ты из Москвы — в тебе Рабин сидит. Побудешь здесь — становишься наш. — "Ты ошибаешься, я всегда одинаков."

Шумно вошел Нестеровский. Сразу же жаловаться на меня: "Отказал. Говорит: "Будешь молчать — приходи." Я отшучиваюсь: "Он захотел сменить дружбу на покровительство." Володя, потеплев и от вина и от общей дружеской атмосферы: "Если бы я выступил на твоей стороне — ты бы не сопротивлялся." Я захохотал: "Это уж наверное." Напряжение рассеялось окончательно. Казалось, дальше пойдет, как среди братьев. Нестеровский с общего согласия стал читать свои стихи: "Из цикла "Сонеты". Заполняю новым содержанием старую форму.

Сонет 10

О, критик мой, ты до сих пор румян!
В моих стихах ты видишь подковырку.
Но как из бублика мне вынуть дырку,
Как скрыть непозволительный изъян?

Когда узнаешь, что я часто пьян,
Ты тут же на меня повесишь бирку.
Запишешь в черный список под копирку,
Что я и вольнодумец и смутьян.

Ты одичал за полтора года лет,
Тебе не отличить от ямба дактиль.
Зато ты тонко чувствуешь момент.

Ты знаешь, что талант — опасный фактор.
Теперь ты по профессии — агент,
И лишь по совместительству — редактор."

Все опьянели, говорили разом. Пора домой. Юра обнял меня на прощанье.

— ”Юра, для меня главный результат сегодняшнего дня не столько просмотр, сколько прекращение споров между нами. Это гораздо важнее даже для общего дела. А то я думал, что ты предашь и нас, и искусство...”

Юра догоняет меня:

— Старина, если я предам искусство, знаешь, где мои сапоги будут стоять?

— На берегу моря?

— Нет... рядом с твоими.

— Звучит двусмысленно, ну да Бог с тобою.

И. Синявин

О "ВАВИЛОНСКОЙ БЛУДНИЦЕ"

Секулярные или вовсе безбожные историки литературы, особенно литературы русской, вынуждены оперировать с материалом, который им глубоко чужд своей религиозностью и метафизичностью. Эти историки исходят из контовской теории трех стадий и линейного прогресса, по которой литература и поэзия не могут не пройти стадий религиозную и метафизическую, за которыми должна обязательно наступить стадия секулярно-позитивная. Не говоря уже о том, что чисто формальное изучение литературы и поэзии просто невозможно — религиозно-метафизическая стадия никогда не прекращается и не прекращалась: она может быть подавлена марксистским террором, как она подавлялась и до революции радикально общественной критикой. Но это подавление и это насильственное замалчивание в печати не означает исчезновения. Впрочем, такого исчезновения никогда и не было: ведь все самые кровавые и чудовишные опыты уничтожения веры, религии, духовной жизни — опыты, которым в свое время аплодировало громадное большинство в Европе, не привели ни к чему. Есть еще правда, третий способ уничтожить в человеке религиозно-метафизическую потребность и религиозно-метафизическое творчество: это средство в своем роде самое действенное и с успехом сейчас применяется в некоторых странах Запада. Средство это — могучая *пошлость*. Пошлость загрязняет истоки религиозно-метафизической жизни, и опьяняя, одурманивая своими дешевыми наркотиками, делает человека тем, что ему всему высокому просто нет ни возможности, ни желания внимать. Он просто сплывает и глохнет для высших типов духов-

ной жизни. Этим и объясняется, почему в некоторых современных общественных устройствах и житейских укладах *пошлость проводится сверху, поощряется в радио, кино, в телевидении, в литературе, в концертном зале* и т. д. Это куда вернее и в смысле достижения безбожно роботного состояния. По поводу всего этого надо вспомнить слова Иоаннова Апокалипсиса: "После сего увидел я иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. (Иоанн. Откров. 18, 1-3). Это совершенно то же, что случалось с несчастивыми и наполненными пошлостью и нечистотой (это одно и то же) городами древности Содомом и Гоморрой (Быт. 18, 20-33; 19, 1-28).

Писаное и печатное слово служит сейчас этому разливу нечистоты и духовного измельчания и изничтожения человека. Ибо еще неизвестно что хуже: проповедь ли так наз. "научного" (или "диалектического") материализма, или систематическое сеяние гадостей, сальностей, лганья по всякому поводу и без повода, опорочивание всего достойного и возвышение всякой гадости, бездарности, проповедь ненависти во всех ее видах: сословной, классовой, клановой, групповой, национальной, корпоративной, зубоскальство по поводу всего ценного и возвышенного, словом все то, на что так таровата и над чем изощряется "кучка всякого сброду, вымаравшего пальцы в чернилах" (по выражению Гоголя) и за что этот мерзкий и бездарный сброд так щедро оплачивается из сокровищ "Вавилонской блудницы" и ее содержателей иержанцев. Об этом, как правило, умалчивают даже те, которых обязанность во всеуслышание обличать пакостно лживые и гнусно развратительные уста.

Как бороться с воинством Вавилонской блудницы, с ее чернильно-печатной армией? Не будем говорить, что эта чернильно-печатная армия, сеющая ненависть и человекоубийство, сеющая грязь и пошлость во всех видах, заслуживает прямого воздействия при первой возможности. Многие христиане, как

правило, прямого насилия употреблять не любят, хотя Владимир Соловьев и написал дивное четверостишие на эту тему:

Полно любовью Божье лоно

Нас всех зовет оно равно,

Но перед пастию дракона

Гы понял: крест и меч — одно.

А св. а. Павел говорит о другом роде оружия в борьбе с тьмой, одновременно определяя того врага, с которым христианину должно вести брань. "Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Ефес. 6, 10-12). Этим, кстати сказать, ставится и метафизическая проблема неба и земли и той таинственно "промежуточной", как бы не имеющей места области "ни то ни се, а черт знает что" (по выражению Гоголя). С бесподобной всепреодолевающей силой, во всеоружии грозной сокрушительной ангельской красоты говорит апостол язычников: Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши, устоять. Итак, станьте препоясавши чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие" (Ефес. 6, 13-17).

Слово Божие Себя являет прямо, когда воплотившись Оно проповедует до креста, на кресте и после креста. Слово Божие Себя являет в Писании боговдохновенных людей. Наконец, Слово Божие являет себя как источник благого и чистого огня, о котором можно сказать, что он нестерпимо грозен для Содома и Гоморры, для Вавилонской блудницы, ибо попалает все нечистое, всех тех, "кто предан мерзости и лжи" (Откр. 21, 27), но светит Солнцем Вечной Правды, побеждающим Вавилонскую блудницу и отвергающим все ее искушения.

Христианские требования простираются гораздо дальше простой порядочности, они *максималистичны*. Христианский максимализм "тесными вратами и узким путем" и есть условие

спасения "в день лют". Минимализм же приводит к великому несчастью, к полному разрушению и человека и его дела в день судный. А этот день всегда при дверях, ибо все мы приговорены и не знаем ни дня ни часа, когда для каждого из нас "Сын Человеческий приидет" — ибо со времени пришествия Сына Божия смерть каждого есть великая гроза, но и великое счастье встречи с Женихом его души — на воскресение или на осуждение.

Христианский максимализм, на котором выросла и единственно на котором выросла христианская культура и христианская красота, предстает перед нами в двух главных разновидностях: *мученичество* и *преподобничество* (именуемое еще иночеством). Напрасно думают некоторые, что две эти разновидности христианского максимализма есть что-то далекое от так называемой "практической жизни", нечто относящееся в лучшем случае к темным закопченным ликам икон церковных, к запаху ладана, к сиянию церковных свечей, к старым закапанным воском тяжелым богослужебным фолиантам.

Дрянная литература, собственно макулатура — газеты и повестушки, дрянная музыка, шутовские или мордобойные зрелища, политика — вот это-то многими считается делом, собственно сокровищем, которому отдается все сердце и все время. А так наз. "классики", то есть, попросту говоря все первокачественное, это "потеха" и притом скучная, скоро надоедающая, вызывающая сон и которой предаются уделяя ей скудные минутки, потому что это принято, потому что надо прослыть умником и культурным. Сердце же современного человека явно тянет совсем в другую сторону — "туда где псы едят свою блевотину", а "вымытые свиньи идут валяться в грязи" (11 Петр. 2, 22). И, кажется, нет в известном смысле страшнее слов этого же послания: "Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной ими святой заповеди" (11 Петр. 2, 21). Но то, о чем здесь говорит Первоверховный Апостол, касается именно того, что нечестивцы и отступники, род духовно ведущий свою линию от Иуды Предателя и от того, кто вошел в него, именуют "веселым" именем "секуляризации" и что стало знаменем так наз. "прогресса" и всего достойного похвалы и высших оценок. Но посмотрим, до чего дошли "секуляризаторы", каков осуществленный ими "прогресс".

Оставим в стороне чудовишный разлив ненависти и проповедь братоубийства, ада на земле, отмены всех прав божеских и человеческих — это слишком бьет в глаза. И явно все это связано со стремлением навязать человеку "обезьяньего предка", самого нынешнего человека превратив в безобразную обезьяну, носящуюся по воздуху, вооруженную атомной бомбой, кино, телевидением и радио...Остановимся на эстетической стороне этого ныне "побеждающего" по всей линии и всюду обезьяньего "идеала", остановимся на культе уродства, проповеди безобразия и бездарности, остановимся на обезьяньей свистопляске от радости, что можно писать, играть, сочинять, петь, говорить, и не только это, а даже заниматься философией и богословием не будучи на это призванным и не имея для этого специального дара от Подателя всех даров — от Духа Святого, но наоборот, стоя ниже средней нулевой линии и лишенным всякого умения. Мало того, будучи специально натренированным на предмет производства сугубых безобразий, глупостей, уродств. В наше время система содержания и nepoтизма достигла невиданных размеров, когда бездарность уже становится *обязательным условием карьеры* в области творчества, а *безобразие* обязательным условием специально в области искусства и *глупость* в области философии, журнализма и проч. Приведем пророческие слова Державина в поэме или оде "На счастье":

В те дни, как всюду иерихонцы
 Не сеют, но лишь жнут червонцы,
 Их денег куры не клюют;
 Как вкус и нравы распестрились,
 Весь мир стал полосатый шут;
Мартышки в воздухе явились,
 По свету светят фонари,
 Витийствуют уранги в школах;
 На пышных карточных престолах
 Сидят мишурные цари.

Это очень точная картина тех результатов, которых добились секуляризаторы, содержатели и содержанцы Вавилонской блудницы. Но на ней и на них еще другая кривда, другое окаянство, находящееся в прямой связи с их культом уродства и глупости, бездарного шутства ("шут гороховый" — одно из имен дьявола)

— это кровь праведных и вообще всех имеющих в себе подлинную искру Божию, естественно для "шута горохового" невыносимую даже в малых дозах. В граде греха и неправды, праведным судом Божиим и следствием "найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле" (Иоан. Откр. 18, 24). Согласно св. ап. Павлу, все желающие жить во Христе гонимы будут "во граде неправды". Поэтому для обитающих в нем, но его ненавидящих праведно и им ненавидимых несправедливо остается два выхода: или принять кровавое мученичество, оставшись там во свидетельство, или принять мученичество бескровное, уйдя из него в буквальном смысле или уйдя из него в духовном смысле, став чужим, "Иным", став "Иноком". Но все время надо помнить, что иночество есть бескровное мученичество, а мученичество есть кровавое иночество. Украшение человечества, его соль земли: триединство *гения, героя и святого*, всегда будет отмечено печатью *иночества и мученичества*. Гений сжигает и сокрушает Вавилонскую блудницу красотой своего творчества, псаломными и пророческими своими прозрениями; герой горит ревностью Илии Фосвитянина, архангела Михаила и бросается в бой пусть как Дон Кихот с мечем в руке — с настоящим мечем; святой творит из себя инога всему бесовскому населению Вавилонской блудницы, он сам и Церковь святых — цитадель внутри вражьего стана. Но и ребенку ясно, что эти три "едино суть". И не даром сказал Сервантес в своем Дон Кихоте: "Верь мне, о друг мой Санчо, никогда еще перо не притупляло меча, ни меч не притуплял пера". Недаром Пушкин в своем Моцарте и Сальери показал, "что дитя Моцарт гений, не только свят и чист и добр и милый, но еще и самый настоящий мученик". Ибо кажется, еще никогда мировое искусство не создавало более потрясающей и правдивой картины, чем гений в присутствии своего палача и отравителя, играющий Реквием-Гимн вечности с ядом во внутренностях и тем самым, сам того не ведая и не желая, произносящий суд отравителю, палачу, считающему, что он призван (кем? — ясно!) "*остановить Моцарта*". И произносит суд — единственно исполнением своего гениального творения сразу по двум линиям: *по линии признания бездарности своего убийцы*, ибо гений и злодейство две вещи несовместимые, и *по линии суда над моральным безобразием, над обезьяньим бесовским уродством преступления*. А преступление, особенно

такое как Сальери — основное и собственно единственное деяние Вавилонской блудницы, из которого путем вариирования исходят все прочие грехи и непотребства ее и ее содержателей и содержанцев.

Моцарт прощается с жизнью и уходит в вечность сочиняя гениальное молитвословие, как *псалмопевец*. Но история всех искусств и в особенности музыки показывает, что красота начинается с псалмопения и богослужебного воспевания Того, Кто дал дар сказать, как я страдаю, как я люблю и как зажжен Божественной красотой, где бы эта красота себя не явила — пусть она даже будет по словам русского летописца — “бисер в кале”.

Русская поэзия и музыка не составляет исключения из этого общего правила, не ведающего исключений. Наоборот. Но ныне пришло время сказать о том, как секулярная критика пыталась и пытается искажающими толкованиями изгнать священное, иератическое начало псалмопения из всякой поэзии и литературы. Настало время восстановить эти величайшие ценности и основначала в своих правах.

В. Н. Ильин

О КНИГЕ АЛЭНА БЕЗАНСОНА

Размышления о судьбах России в XX веке наводят на два круга вопросов: во первых, является ли октябрьская революция полным разрывом с историей страны и можно ли рассматривать советский режим как своеобразный, нигде раньше не встречавшийся политический строй? Во вторых, какие специфически русские обстоятельства объясняют установление и последующее укрепление советской власти? Само собой разумеется, что ответы на первый круг вопросов в значительной мере обуславливают ответы на второй. Но для ясности анализа и правильности выводов необходимо не смешивать эти два ряда вопросов. К сожалению, это далеко не всегда делается, и от этого происходит немалая путаница в понятиях и неправильная оценка фактов. Особенно огорчительны те случаи, когда национальные эмоции и предубеждения производят больше жара, чем света, запутывая вопрос. В этом виноваты не только недоброжелатели-иностранцы, но и сами русские различных политических направлений.

Поэтому часто легче "неприкосновенному", но хорошо информированному, иностранцу внести некоторую ясность в понятия и открыть другую перспективу для понимания жизненно-трепещущих вопросов русского исторического процесса. Книга французского историка Алэна Безансона — основанная на прекрасном знакомстве с новейшей монографической литературой, в особенности англо-американской, достойна

внимания именно потому, что автор старается четко различить и разграничить вышеупомянутые вопросы, к которым он подходит с новой точки зрения.

Хотя главное внимание Безансона направлено на выяснение сущности, своеобразия и корней советской системы, он попутно касается и исторических обстоятельств, которые способствовали установлению этой системы именно в России. Он правильно выделяет три элемента русской дореволюционной действительности: государство, общество и революционеры. Неоспоримо, что в России, по сравнению с западно-европейскими странами, гражданское общество (т. е. общественные группы и учреждения со своей собственной структурой и автономными функциями) появилось сравнительно поздно и было еще довольно слабо в начале нашего века. При этом важно отметить парадокс русской истории: общество это было отчасти созданием самого государства (реформы Петра Первого и Александра Второго) и поэтому его развитие было отчасти искусственно и заторможено. Правда, после раскрепощения крестьян, и особенно начиная с 90х годов прошлого столетия, это развитие сильно ускорилось. Но не оказалось достаточно времени и спокойной обстановки, чтобы позволить обществу вполне укрепиться. В этом виновата не только обоюдная недоверчивость со стороны государства и общества, тормозившая либерализацию учреждений, но и наличие революционных партий. Последние помешали прагматическому слиянию гражданского общества и политического аппарата (как это в свое время было в Англии, Франции, Германии). В результате общество достаточно не окрепло, чтобы справиться с задачами власти, а у государства исчезла почва и в критический момент оно оказалось в пустом пространстве, когда его авторитет был подорван во время Первой мировой войны.

Но как правильно отмечает Безансон, хотя гражданское общество расплодилось в хаосе 1917 г., оно не исчезло. Наоборот, к удивлению и возмущению Ленина, разные классы и группы населения стихийно начали организовываться по признаку собственности, профессиональных и национальных интересов. Лишь гражданская война позволила Ленину уничтожить все зачатки гражданского общества в России (хотя он временно и

отступил перед крестьянством). Фактически, не захват власти в октябре 1917 г. установил советскую власть, а исход гражданской войны. Поэтому никак нельзя утверждать, что русский народ пассивно и покорно принял эту новую власть. Но также нельзя отрицать, что слабость дореволюционного гражданского общества не сдержала правительство от пагубного курса и подготовила его собственное разрушение после 1918 г., разрушение, которое Сталин довел до конца коллективизацией, пятилетками и чистками. Итак, резко расходясь с некоторыми историками, Безансон видит полный разрыв между Россией до 1917 г. и Советской Россией: советская власть не есть "естественно" продолжение царизма.

В отличие от Западной Европы, в России до 1917 г., гражданское общество не могло опереться на независимую и сильную церковь. Дело, конечно, не в религиозном чувстве или народной вере, но в Церкви как общественном учреждении. Мимоходом касаясь Московской и Киевской традиции, по отношению к культурному влиянию которых автор далеко не справедлив (судя об этом с точки зрения богословского Западного средневекового Христианства), Безансон, следуя по стопам о. Георгия Флоровского, правильно подчеркивает подчиненность и слабость Церкви в отношении Государства вследствие раскола и "реформ" Петра Первого. Как это и бывало на Западе (напр. в XV веке), слабость Церкви вызвала духовный кризис в религиозном самосознании культурных общественных верхов. В России самой важной и влиятельной попыткой разрешить этот кризис явилось славянофильство. Безансон считает славянофильство истинным несчастьем для развития русской культуры и духа. Не потому, что оно стремилось возродить религиозное сознание среди тех, которые были естественной элитой России (и в которых, прибавим от себя, славянофильские увлечения часто вызывали ценный литературный и художественный порыв), но потому что его философские и историософские основы были ложны. Славянофилы пошли по пути "подделки" исторической правды, создавая мифы до-петровского прошлого и крестьянской общины. Следуя пагубному примеру своих вдохновителей, немецких романтиков (как это давно доказали о. Флоровский и проф. Н. В. Рязанов-

ский), славянофилы отвергли твердую почву конкретных реформ общественной жизни, потому что они отрицали формальное право, законодательство и структурные учреждения. Таким образом, они содействовали ослаблению зачатков русского гражданского общества, которое нуждалось именно в этих формальных правовых нормах, чтобы противостоять всеобъемлющему государству. Словом, славянофилы поддались искусству романтической "натурфилософии" и утопизму (как в свое время это блестяще показал о. Флоровский) и тем самым приобщились к гностическим веяниям Запада.

В основном соглашаясь с этим анализом и оценкой славянофильства в плане метафизическом и историсософском, хочу оговорить, что Безансон не совсем справедлив к самим деятелям славянофильства, особенно второго поколения (Ю. Самарин, А. Кошелев, В. Черкасский), и недооценивает их роль в проведении реформ 1860 годов и в развитии именно русского гражданского общества. Ведь это они пошли на прагматический компромисс: отстаивая права и независимость личности, не теряя уважения к верховной власти, они положили основы либеральному земскому движению. Правда, историческая мистика и национальная экзальтация их последователей оказали отрицательное влияние на духовную жизнь Серебряного Века, и способствовали подрыву гражданского общества и русских культурных устоев.

Перейдем теперь к первому кругу вопросов, связанных с 1917 г.; которые составляют наиболее ценную и интересную часть книги Безансона. В противоположность Самуэли, Пайпсу и др., автор считает, что советская система *sui generis*, совсем новое явление в истории. Это первый и почти единственный (гитлеризм только был приблизительный опыт) целиком идеологический строй. И не только в том смысле, что советские вожди ссылаются на марксистскую теорию, но и в том, что идеология является всеобъемлющим принципом их мышления, их представлений о мире, их действий и политики. Ленин не только основоположник строя, но и создатель его идеологии. Необходимо уяснить себе, что такое идеология и что такое, в частности, ленинизм.

Идеология есть и вера и теория — ее корни и в религии

(вернее в религиозном искании) и в рационалистической философии и в науке. Но если присмотреться, то окажется, что идеология является противоположением, вернее коррупцией (в смысле Аристотеля) и веры и науки. Для более ясного понимания сущности идеологии, Безансон прибегает к аналогии: по своей структуре и по своей психологической силе, идеология есть форма гнозиса — всеобъемлющая, дуалистическая концепция мира, основанная на двух непримиримых началах (зла и добра, света и тьмы, духа и материи) и проявляющаяся в трех видах исторического времени. Прошлое, когда было полное разъединение двух начал; настоящее, в котором царствует их неудовлетворительное, компромиссное смешение; и будущее, в котором они опять будут разделены и новый человек целиком переродится, приобщаясь к добру и растворяясь во вселенной. Наиболее известным проявлением христианской гностической веры-ереси был манихеизм, и читатель легко может переложить его основные элементы на ленинизм. Но как это случилось? Наперекор тем, которые при изложении образования ленинской идеологии обращаются только к истории русской общественной мысли, Безансон рассматривает гностическую идеологию как обще-европейское (западное) явление; правда, конкретно эффективное его воплощение осуществилось в России, но это творчество Ленина, которого вряд ли можно считать типично русской фигурой.

Три момента и три элемента вошли в это историческое воплощение идеологии-гнозиса. Первый — это французский цикл. Философский дуализм Декарта привел к отвержению метафизики и к перенесению центра внимания и основы ценностей на природу (т. е. гностическое отождествление существования духа с явлениями природы, с материей). В результате в XVIII веке восторжествовали вера в материальный прогресс и "поход" против "пережитков" религиозной, духовной и исторической традиции. Третье, радикальное поколение Просветителей (Мабли, ЛаМеттри, Рэйнал, Мэлье) выработало наиболее обостренную формулировку этого мировоззрения; а Марат и Робеспьер сделали попытку провести его в действительность во время французской революции. Но гражданское общество и устои учреждений оказались слишком стойки во Франции. Дело кон-

чилось диктатурой Наполеона, Реставрацией и либеральными режимами, которые утвердили завоевания гражданского общества, демократию и свободу на правах собственности и личности.

Второй — немецкий цикл — оказался более взрывчатым, эмоциональным моментом; он же непосредственно повлиял и на Россию. Немецкой особенностью явился религиозный элемент: мистицизм близко соприкасающийся с гностикой и распространение экзальтированного пиетизма и ^а эсхатологического сектанства. Но главное, что гностический мистицизм повлиял на романтическую, идеалистическую философию (в особенности на Шеллинга) и, через Гегеля, в "перевернутом" материалистическом виде (у Фейербаха), на Маркса и Энгельса. Мы уже отметили прикосновенность славянофильства к романтической гностической философии. Нет надобности вдаваться в подробности, так как о влиянии немецкого идеализма на "замечательное поколение" писалось достаточно. В Германии эти философские течения не имели пагубных последствий (по крайней мере в 19 веке) благодаря ее общественной и политической структуре. Да и немецкий марксизм, хотя он был наиболее близок к тотальной идеологии, с ярко выраженными манихеическими элементами (диалектика, антагонистическая борьба классовых начал, неизбежность исторического процесса и т.п.) пошел по пути прагматического приспособления к действительности в пользу общего блага (ревизионизм Э. Бернштейна), который к 1914 г. завоевал всю западную социал-демократию.

Все эти течения западной мысли проникли в Россию скоро после их появления. Но встает вопрос, почему в России они получили более заостренную, непримиримую идеологическую, динамическую силу? Для ответа нужно обратить внимание на некоторые социально-психологические явления. Во первых, в России — вследствие разных причин, восходящих к XVIII веку, — образовалась интеллигенция, т. е. группа лиц выделившаяся из элиты, чтобы посвятить себя служению народу во имя правды и справедливости. Понятно, что для интеллигенции философия, наука, вера, обрели не столько гносеологический, сколько практический смысл; они стали орудием для выработки плана поведения и действия, устремленных на перерождение

человека и переустройство общества. Но как правильно подчеркивает Безансон, существование интеллигенции еще не предопределяло конкретных политических программ, цели, тактики. Часть интеллигенции, по стопам Грановского, Герцена, Белинского и др., выбрала путь либеральных, постепенных реформ, т. е. участвовала в создании гражданского общества.

Но в среде интеллигенции появились и люди другого типа. Наиболее ярким представителем этого типа был Н. Г. Чернышевский (и в еще большей мере Рахметов, герой его знаменитого романа "Что делать?"). Не случайно Чернышевский "перепахал" Ленина, который почувствовал свою духовную близость к Рахметову и сознательно старался подражать ему. Невольно содрогаешься от болезненной злобы, узости кругозора и маниакальной целеустремленности, которыми дышат произведения Чернышевского, особенно его замечательные Дневники. Как в гностике, Чернышевский делит мир на свет и мрак, отвергая "серую середину". Это и есть психологическая предпосылка манихейской идеологии, философские элементы которой почерпнуты на Западе. За Чернышевским последовали поколения молодежи; среди них народовольцы, Нечаев, Гкачев выработали основные элементы строго дисциплинированной партии и примат захвата политической власти для перерождения человека и общества. Хотя Безансон метко описывает и объясняет обстоятельства, в которых Чернышевский "и товарищи" могли сыграть свою пагубную роль, он не достаточно, на наш взгляд, освещает метафизическую и онтологическую основу этого явления. Правда нет нужды — это блестяще сделал Достоевский, м.б. на основании своего собственного двойственного отношения к мистической и гностической традиции в христианстве. Революционеры, ожесточаясь не только против царского правительства, но против современного гражданского и экономического развития (правовой порядок, капитализм, индивидуализм) подрывали все усилия гражданского общества (и государства) вывести Россию на дорогу модернизации, прогресса и общего благополучия.

Но всего этого далеко недостаточно, чтобы объяснить 1917 год и советский режим. Ни французский рационалистический натурализм, ни германский романтический идеализм, ни даже

своеобразный облик и экзистенциальный опыт части русской интеллигенции, не могли предопределить и предрешить судьбы России в XX веке. Как никак, но даже поражения на Дальнем Востоке, и революционные события 1905 г. не смогли свергнуть царское правительство или разрушить гражданское общество. Наоборот, оба вышли временно окрепшими. Конечно, война 1914 г. сыграла бесспорно пагубную роль. Но всякий настоящий историк знает, что историю творят люди. "Объективные" обстоятельства, исторические "силы" лишь ставят преграды и определяют границы действий личностей.

Парадокс — и трагизм — русской судьбы состоит в том, что как раз, когда впервые русское общество получило возможность действовать самостоятельно, явился Ленин и неожиданно воспользовавшись коротким моментом, захватил власть. Безансон, соглашаясь с портретом нарисованным Солженицыным (*Ленин в Цюрихе*), подчеркивает безличие, "безнациональность", узость, тупость, политическую одержимость Ленина. Что бы ни говорили и ни писали советские мифотворцы, Ленин был почти один в своем исключительном стремлении захватить власть наперекор всем учениям марксизма и трезвой оценке обстановки. Но его сила была именно в нечеловеческой преданности гностическому мировоззрению: разделение мира на две непримиримые, противоположные антагонистические силы и уверенность, что его действия (как бы ни менялась его тактика) всегда в пользу идеологически правильной цели. Кроме того Ленин был уверен, что политическая власть достаточна для переделки общества и человека.

И вот Ленин захватил власть разрушил гражданское общество. — Но что оказалось? Не оказалось ни пролетариата, ни зачатков социализма. Чья вина? Конечно не Ленина и его режима; значит вина "врага" — капитализма, буржуазии и империализма, "пережитки" которых еще таятся в русском народе. Их нужно уничтожить. И так началась нескончаемая вереница преследований, чисток, кампаний против "врагов народа", "лакеев империализма", "вредителей". Сталин лишь продолжил в массовом масштабе ленинские начинания и политику репрессий. С другой стороны, гностическая идеология утверждает, что если нет капитализма, то должна быть его противо-

положность — социализм. Либо белое, либо черное — серого не может быть! И так Ленин начал утверждать, что социализм уже начался, а его преемники вторят, что он уже установлен. Таким образом идеология словесно создает *обязательную* действительность. И воцарилась та всеобщая, всеобъемлющая и разлагающая ложь, против которой наконец-то восстал Солженицын!

Я дал такое пространное, комментированное резюме книги Безансона, потому что это книга не легкая, насыщенная интересными, разнообразными замечаниями и размышлениями, которые иногда даже затемняют изложение. Безансон охвачен тревогой перед возможностью коммунистического правительства во Франции, и написал эту книгу в надежде воздействовать на французскую интеллигенцию пока еще не поздно; придя к власти, французские коммунисты неизбежно воздвигнут идеологический режим, хотя он м. б. в деталях и не последует советскому. Поспешность и эмоции, с которыми написана книга, сказываются на её форме. Автор хочет высказать все свои мысли и анализы -- а их множество и они все достойны внимания; это приводит к некоторой дезорганизованности в изложении. Есть ненужные, или неуместные, пассажи (напр. изложение разных течений русской общественной мысли в 19 ст.). Встречается немало небрежных или не очень вразумительных (особенно для иностранца) фраз. Ссылки на литературу слишком часто ограничиваются довольно узким кругом источников (это особенно бросается в глаза по отношению к славянофильству). Но несмотря на эти формальные недочеты книга эта важная, интересная, читается с увлечением и дает обильную пищу для размышлений — не только о русской революции, о ленинизме и советском режиме, но и о судьбах Запада.

Особенно знаменательны, на наш взгляд, усилия Безансона перевести историографию истоков русской революции и советского режима на другие рельсы: сопоставляя идеологию с гностикой, автор выявляет общемировой (и тем более опасный) характер образа мышления, который лежит в основе ленинизма и советского строя. Общеευропейские элементы исторического пути идеологического мышления указывают на вне-русский характер философских предпосылок; а выявление личной роли

Ленина (его образа мышления и действий) подчёркивает историческую случайность событий 1917 года и более четко определяет характер и границы общественно-духовной обстановки в стране. Мне представляется, что сваливать *всю* вину за Октябрь и его последствия на одного Ленина и несколько тысяч большевиков, обидно для русского народа. Слабость гражданского общества, перевес государства в историческом развитии страны, заколдовывающая сила гностически окрашенных идеологий, психология интеллигентских кругов — всё факторы, которые надо учесть в объяснении успеха Ленина и его единомышленников в России. Книга Безансона таким образом является защитой русского народа от его врагов, как и от мнимых народолюбцев.

Выводы Безансона далеко не приятны самолюбию интеллигенции (и не только русской). Но слова из песни не выкинешь, и надо признать, что многими своими печальными явлениями современный мир обязан идеологической одержимости интеллигенции. Понять сущность соблазна гностического идеологизма необходимо, чтобы противостоять ему. Книга Алэна Безансона важный и необходимый шаг в этом направлении.

Марк Раев

СОБАКИ В СССР

В Москве — праздник, всесоюзная выставка служебного собаководства! На улицах и площадях — вкрапления собачих морд. Собаки торжественно идут по тротуару в сопровождении нарядных хозяев, скользят в многочисленных такси и частных машинах. Проезжая по утренней Москве, опираясь грудью и передними лапами на колени и животы собственных хозяев и хозяек как на постаменты, собаки устремлены безукоризненными прикусами и выразительными глазами в окна.

Сегодня советские горожане-собаководы отчитываются в своих достижениях в деле собаководства. "Парад" их достижений на этом поприще "принимают" чиновники от собаководства, так называемые "судьи-эксперты по разведению и дрессировке". Чиновники эти — "общественные", т. е. без официальной заработной платы, но иерархизированные по столь подробной шкале (эксперт-стажер, эксперт районной, республиканской и всесоюзной категорий), что можно сказать — являются чиновничеством в лучших советских традициях. И как и полагается, они весьма падки на взятки из рук собаководов-любителей — владельцев собак. Да и как им не платить, ведь в сфере собаководства чиновники эти по крайней мере столь же могущественны, как и их "старшие братья" во всей советской жизни. От их мнения зависит ценность той или иной собаки в глазах всего клана собаководов и отсюда "общественное лицо" её хозяина и его самоуважение.

Дело в том, что в СССР домашняя собака не просто живёт, как в странах Запада, а существует для того, чтобы занять как

можно более высокое место в собачьей иерархии, максимально приблизившись к трону "чемпиона породы", или даже занять этот трон. Продвигаться вверх в собачей иерархии, это значит получать всё более высокий "бонитировочный класс", что выражается в количестве медалей (за экстерьер) и жетонов (за дрессированность). В СССР собака приобретается людьми не столько для того, чтобы, как в странах Запада, радоваться общению с живым существом, а главным образом, чтобы добиться для неё наивысшего положения среди собак. А значит для себя наивысшего положения среди собаководов. Основное удовольствие советского собаковеда, связанное с собакой — это чтобы она была лучше, чем у других, с большим количеством медалей и жетонов. Собака в СССР не просто живое существо, а символ карьеристских комплексов своего хозяина. В возне с собакой отчасти нейтрализуется неудовлетворённость советских людей окружающей их действительностью.

Большинство, конечно, не осознаёт этих социальных мотивов своей "любви" к собакам, однако, недвусмысленно обнаруживает их в своём "собачьем" поведении, в том, насколько время и интенсивность живого непосредственного общения с собакой меньше, чем у "казённых", "официальных" форм занятий с нею. Во-первых, в СССР с собаками не гуляют, а "выгуливают перед дрессировкой", дают собаке бегать не для того, чтобы она побегала, а чтобы она набегалась поскорее и была готова к дрессировке. Во-вторых, собак дрессируют стандартно, по тотальным "нормативам", разработанным в городских клубах любительского собаководства. В-третьих, "время и нервов" требует от собаководов подготовка к выставкам и состязаниям и сами эти мероприятия (состязаться собак заставляют довольно часто ради чаемых хозяевами баллов на повышение). И ещё существуют многочисленные "представления" собак перед публикой с пропагандистскими целями расширения собаководства среди ещё "неохваченного" собачьим ажиотажем населения.

А сколько страстей и мучительных беспокойств связано у советских собаководов именно с "оценками", "баллами", собачьими соперничествами и т.д. Сколько "надрыва" в этих страстях и беспокойствах! Сколько "связей" мобилизуется в борьбе за заветный лишний "собачий балл", сколько звонков по

телефону, сколько взяток даётся, сколько ненависти к "собачим соперникам", сколько интриг плетётся!

А сколь сильно в отношении к собаке проявляется властолюбие хозяина! Максимум умиления и восторга среди советских собаководов всегда связаны с безоговорочным послушанием собаки. Сколько интереса отдаётся, чтобы такого послушания добиться, сколько страсти, чтобы так или иначе сломать характер собаки. Советский человек ищет существо, которое бы терпело полный над собой контроль, и часто предпочитает заводить собак, чем детей. Впечатление такое, что люди пытаются компенсировать собственную малость и несправедливость в социальной жизни абсолютной властью над собственной собакой. Это не противоречит тому, что часто собака становится чем-то вроде домашнего идола и иногда не в переносном, а в буквальном смысле. За совершенное послушание собаку превращают в некий центр домашнего очага. Человек, как бы, самозабвенно кормит и обслуживает своего раба, лелеет и поклоняется рабу своему ради сохранения возможности им повелевать. Кроме того, поклоняясь собаке, отдавшей ему свою волю, хозяин её, как бы, возвеличивает свой собственный социальный конформизм. И далее, превращая себя в служебный придаток к рабскому собачьему благополучию хозяина, как бы, добровольно принимает рабство, "проигрывая" в отношениях с собакой одновременно обе позиции тоталитарных отношений — повелителя и раба. Так собака помогает советскому человеку "осваивать" то, что ему навязано властью — логику тоталитарных отношений, "овладевать" ею изнутри, чтобы стать более приспособленным к окружающей жизни.

Важно то, что заветные "баллы" и "классы", отмечающие иерархический уровень собаки, прямо связаны с вопросом собачьих "браков" и собачьего потомства. А это для большинства советских собаководов наиболее поглощающая их интересы сфера внутри собаководства. Ведь им высшие места в собачей иерархии важны не только для тех собак, которыми они владеют в данный момент, но и для более отдалённой и масштабной цели — для завоевания престижа так называемого "заводчика", т. е. владельца собаки, имеющей самое большое потомство с самым большим количеством медалей и жетонов.

Среди заводчиков — владельцев, продающих щенков от своей суки или "отцовство" своего кобеля — жесточайшая конкуренция опять-таки за иерархический уровень, в которую вовлечено и все будущее потомство собаки и все будущие владельцы её будущих щенков. Как видим, конкурирующие за высшие места и "собачью славу" заводчики → это уже не просто отдельные владельцы собак, но целые их группы, скреплённые "родственными собачьими связями", причём простирающимися через поколения. Эти своеобразные "человеко-собачьи кланы", борющиеся друг с другом за короны "верховных производителей" (для собак) и "лучших заводчиков" (для людей), уже перерастают в некие человеко-собачьи династии.

Чем ваша собака красивее, умнее, злее (особое внимание уделяется специальному виду дрессировки защитно-караульной службе, достижения в которой дают ценные дополнительные жетоны и баллы), преданнее, тем в большей степени она может рассчитывать получить более высоко стоящего (т. е. преуспевшего на тех же поприщах) партнёра(шу). Для их потомства же (его владельцев) важно, от каких предков оно происходит, ибо более медалированный предок вооружает его заветными баллами для дальнейшей конкуренции. Таким образом создаётся необычайно стабильная иерархическая структура, распространяющаяся во времени, т. е. реализующая себя в некоей человеко-собачей истории. Советский собаковод подавляющую часть своей любви к собакам отдаёт фактически строительству и укреплению этой структуры, являющейся, как это не трудно понять — *гигантской паразитической опухолью на извечной и простой человеческой потребности — любви к животным.*

Собачий карьеризм, вытесняющий и заменяющий в психологии советского собаковеда самую любовь к собственной собаке, разумеется, связан с денежным интересом. Чем выше ваша собака по иерархическому уровню, тем больше денег стоит её отцовство или её щенки. Но главным образом иерархические и сопернические чаяния хозяев — цель в себе. Ощущать, что твоя собака лучше других, что твоё собачье потомство больше и качественнее, чем у других — даёт такое удовлетворение совет-

скому собаководу, что это и является реальным содержанием его любви к животным.

Подобная ориентация советских собаководов-любителей соответствует самой организации собаководческого дела в СССР (кстати, любительское собаководство как явление общественной жизни существует только в крупных городах). Если вы и ваша собака не зарегистрированы в городском клубе собаководства, не участвуете в выставках, состязаниях и прочих мероприятиях, т. е. если вы не включены в собачью иерархию и собачье соперничество, вы вообще не можете рассчитывать на "мужа" ("жену") для вашей собаки. Если вы не включены в социальную соответствующую организацию, то ваша собака даже лишена права производить потомство. Конечно, можно пытаться случать вашу собаку случайным образом, но рядом с гигантской и великолепно налаженной монополией по производству собачьего потомства вы в положении несчастного изгоя и или не сможете никого найти, либо будете не в состоянии сбыть щенков. Или если вы вдруг решили выдрессировать свою собаку даже по стандартным нормам, но сами, без регулярных хождений на дрессировочную площадку и без поучений и команд общественного инструктора, вас обязательно провалят на испытаниях и чаемого диплома и жетона вы не получите. А раз вы "не сдадите" дрессировку по официальным нормативам, то и экстерьерную оценку вам будут занижать. Короче, если вы не будете участвовать в нормированной жизни собаководческого коллектива с его соперничеством, интригами, борьбой за влияние отдельных группировок и борьбой за собачью славу, вас так или иначе лишат всех прав и благ и сделают вообще невозможным продолжение вашего собачьего хобби.

Сдайте. Делайте всё, как полагается. Дрессируйте — как вам велят и где вам велят, выставляйте, когда вам говорят и где, давайте взятки тому, кто, как вы чувствуете — ожидает их от вас, сочетайте вашу собаку "браком" — с кем вам говорят и когда вам говорят — и вы через какое-то время уже сами начнете различать соперничающие группировки и прибьётесь к какой-нибудь из них. А дальше ясно — стремитесь вверх и обходите прагов.

Централизованная организация собаководства в СССР

потому-то столь и прочна, что опирается на подобные мотивы у всей массы собаководов. Одинаковость поведения с собаками, ужасающая стандартизация всех "действий" с ними, приводящие к тому, что дрессированность заменяет ум, а понятие породистости понятие красоты собаки — факторы этого централизованного управления собаководством. В собаководстве, как и в армии, как в концлагере, тюрьме и психбольнице — все люди поставлены в одно положение, перед абсолютно одинаковыми требованиями и необходимостью реагировать на одинаковые стимулы, предполагающие одинаковые реакции. В этой типично тоталитарной ситуации люди очень легко обнаруживают свою отличность от других (если она есть). В условиях необходимости стандартных действий даже маленькое отклонение воспринимается как демонстрация и вызов и оскорбляет окружающих приспособленцев.

Примат иерархии и борьбы за лидерство в собаководстве лишь отражение такового в жизни советских людей вообще. Через все стороны жизни, сколь бы "аполитичными" они ни были, проходят всё те же "оси и скрепы" советской жизни: господство иерархии над душами вкупе с обострённым (потому что иерархизированным) вертикальным соперничеством, в отличие от соперничества людей равных, не иерархизированных на высших и низших — горизонтального, типичного для стран Запада.

Собаководство в условиях СССР 70х гг. не только некое новое и "нейтральное поле" для выхода интересов и психических "комплексов", но и сфера "на ладони", которая вовлекая человека в "общественность", в "коллектив" из "тёмных углов" его частного досуга — делает его не только легче обозримым для тех, кто наблюдает за настроениями населения, но и легче уязвимым для приспособленцев к стандартному поведению.

И как каждый советский карьерист потенциальный доносчик, так и каждая выдрессированная собака в СССР — потенциальный "верный Руслан". Мы имеем в виду интереснейшее явление в советском собаководстве — создание так называемых народных дружин (групп для борьбы с хулиганством и уголовным элементом) с правом использовать своих собак. Только в случае собаководов в СССР разрешилась положи-

тельно проблема эффективности народных дружин. Советские граждане 70х гг., замкнувшиеся в скорлупу личных интересов, не хотят дежурить на улицах, вступая в объяснения с теми, кто выпил лишнее или ведёт себя вызывающе. Но приказ выполнять надо, и потому дружинники ходят по улицам, однако хулиганов и отклоняющихся от уличной нормы поведения стараются не замечать, как и многие милиционеры, впрочем. Приятным (для властей) исключением из этого правила стала работа народных дружин с собаками. Собаководческая молодёжь, получившая официальное право натравлять собственных собак на людей, нарушающих "общественный порядок", стала верным помощником милиции. Многие молодые люди, для которых дрессировка собак по защитно-караульной службе (отработка "задержания преступника", его "конвоирования", преодоление "боязни выстрела" и т. п.) была самым любимым делом, получили право пускать собак на людей и смаковать детали схваток, результатом которых часто бывают искусанные руки и ноги, рваные раны на лицах, разодранная одежда. Такие владельцы собак, выдрессировав собаку кидаться на людей на дрессировочных площадках, томилась, не находя применения умениям собаки и собственным агрессивным эмоциям, желанию "сорвать зло" из-за неудовлетворённости жизнью. Власти умело канализировали их агрессивность — работа милиции и её добровольных помощников укрепляет статус кво. *Многие, которые никогда не пошли бы в одной упряжке с милицией, теперь ради кроваво-собачьих утех составили с ней одно.* Но собаководство — это сфера недвусмысленного компромисса с властью и не в столь крайних случаях, как собачьи народные дружины. Собаководство — специфическое удовольствие, даруемое властью советским горожанам. И получившие этот "дар" уже как бы привязаны к статус кво.

Удовольствие это, однако, отчуждённой природы, как впрочем, и всё в СССР. Интересы и потребности отдельного собаковеда, собаковеда-частника — подчинены отчуждённым целям процветания собачих особей, собачьих генеалогических древ и собачьей организации.

То, что при такой "политике" приносится в жертву — живой, раскованный и глубокий контакт с животным. Впрочем, поли-

тика превращения человека в микросредство для макроцели процветания организаций, смысл существования которых далёк от людей и тождествен лишь с интересами чиновников, обычное дело для СССР. В СССР всегда живое общение между людьми приносится в жертву, ради тех или иных инструментальных целей, всегда между человеком и человеком вбивается какая-то опосредующая инстанция — государство, организация, функция и т. п. со своей надличной логикой. Советские люди не знают *тайнства непосредственного общения друг с другом* — это одна из глубоких особенностей советского человека. Ведь он полезный и ценный член общества только в том случае, если свыкся с отчуждёнными целями. И когда человек составляет с ними одно — он уже и стал каким-нибудь начальником (хотя бы и собачим), проводящим в жизнь эти искусственные цели.

Так, постоянные требования со стороны "общественных" чиновников от собаководства — "неустанно" улучшать кормёжку собак, привели к тому, что за 20 лет средний рост (в холке) у многих пород увеличился на 25 и более сантиметров. Многие овчарки и доберман-пинчеры стали ростом с дога, боксёры с доберман-пинчера и т. д. Собаки растут на дрожжах собаководческого фанатизма, хотя неразумность и никчёмность такого увеличения роста и веса собаки очевидна. Массы собаководов подхватывают требования "специалистов". Откуда эта потребность, чтобы твоя собака была не только самой умной и сильной, но и самой громадной в мире? Ведь это — "идеология" советского собаководства! По-видимому, у советских людей происходит своеобразная проекция в собак глубокого "комплекса" собственной малости и ничтожности перед лицом гигантских отчуждённых целей, ставимых перед ними идеологией и жизнью.

Часто хозяева откармливают своих собак, отказывая себе в необходимом! В СССР, где во многих сельских местностях и малых провинциальных городах положение с продуктами хронически тяжёлое, собаки в крупных городах — это новая советская элита. Многие собакопоклонники кормят своих собак сырым фаршем и сырыми яйцами, и это в стране с нехваткой в первую очередь именно натуральных продуктов! "Своя собака ближе к душе, чем чужой человек" — вот их кредо. Они не хотят

понимать, что раскармливая свою собаку и её потомство мясом и яйцами они совершают предательство своего ближнего. Но СССР 70х гг. — это общество, в котором более интенсивно, чем в 30-40-50 гг. идёт процесс расслоения населения. Люди "с пеной у рта" рвутся в привилегированные группы. По сравнению с 30-40-50 гг. число таких групп становится всё больше. Раньше это были, в основном, партийные и административные бюрократы и чиновники. Сейчас же к ним присоединяется растущая количественно т. н. интеллигенция. Поднявшись над массами рабочих и крестьян последняя, как и партийная и административная каста, думает прежде всего о себе, о собственном положении в стране, о своих жизненных благах.

Логика развития советской тоталитарной системы привела к тому, что класс рабочих и класс крестьян стали "навозом" не для так называемых "будущих поколений" и не только для государственного и партийного начальства, но и для бывшей "прослойки", теперь ставшей по отношению к ним некоей "надслейкой".

Теперь опишем кратко "лидерский состав" советского собаководства, людей, организующих его сегодня и планирующих его будущее. Первая группа — это *собаководы поневоле*. Она досталась в наследство современному собаководству от прошлой эпохи. Эти люди из бывших кадровых военных. Многие из них прошли войну с немцами как дрессировщики военных собак (миноискателей, подрывников танков, собак-связных и санитаров), другие попали в "собачьи" части уже после войны. Это всё собаководы в силу житейского конформизма: определила их судьба, та самая, о которой говорят "пути начальства неисповедимы" в собаководство, и, получая военные пенсии они всё продолжают работать в нём по привычке. К собакам никакого интереса не испытывают, но довольны славой среди собаководов, ролью всемогущих на выставках и состязаниях и, главное, щедрыми "подарками" от собаководческой "нашты".

Второй тип — *дельцы*. Эти, большей частью молодые люди — увидели возможность пожить в сфере, где заработок в частном порядке, так сказать — из рук в руки, всё надежнее и прибыльнее. Не все владельцы собак имеют время и желание

периодически ходить на дрессировочные площадки, предоставляя "инструктору" командовать собой как солдатом на военном полигоне, а также непосредственно участвовать в собачье-карьеристском ажиотаже. Такие люди нанимают не только дрессировщиков, но и покровителей своих собак среди клубных профессионалов. Делец от собаководства — одна из новых в СССР процветающих "нелегальных" профессий, вроде частного массажиста или человека, подвизающегося на ремонте частных квартир.

Третья группа довольно экстравагантна. Это — *собачье-клубные дамы*. Они, как правило, жёны "больших начальников", часто генералов и маршалов. Они хотят играть в собаководстве такую же роль, как их мужья в советской жизни. В большой степени именно от них идут собачьи интриги, склока и т. п.

Четвёртая группа "собачьих лидеров" — самая малочисленная. Сюда относятся те, кого можно назвать "*крайние фанатики любви к собакам*". Эти люди прямо и недвусмысленно живут ради собак и собаководства. Их фанатизм той же природы, что и позиция большинства собаководов-любителей. Характерно, что группа эта, единственная соответствующая всей массе собаководов уступает всем другим количественно. Это не странно, ибо в СССР чиновники, проводящие интересы организации, всегда эксплуататоры (как и вся организация) людей, для обслуживания интересов которых они сначала были предназначены.

В заключение подчеркнём, что любительское собаководство в СССР пронизано тоталитарными элементами и потому и по психологическому содержанию и по социальной организации радикально отличается от собаководства в странах Запада. Так, повидимому, должно быть с каждым советским явлением, сколь бы далеко от политики и идеологии оно ни отстояло, ибо *тоталитаризм предполагает единообразие не только идеологическое, но и социально-психологическое, и повсеместность одного и того же по сути стиля поведения, хотя и под разными масками*.

И далее. Это распространённое в крупных городах хобби отнюдь не даёт людям даже хотя бы временного чувства освобождения от советской действительности. И кажется, что

эскапизм по существу в тоталитарных странах вообще невозможен. Эскапизм предполагает неоднородность среды, что противоречит уже самому слову "тоталитаризм". Эскапизм явление (и термин) чисто западное и в тоталитарных странах невозможное (помимо случаев, где он не касается психологических содержаний, будучи чисто поверхностным и потому мало значимым). В СССР возможна лишь иллюзия эскапизма, ибо можно временно убежать от тоталитарных лозунгов, но как уйти от тоталитарных стереотипов поведения и чувствования, вбиваемых в человека с детства и опутавших всю жизнь и все взаимоотношения.

Виктор Зубов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

К.Г. БЕЛОУСОВ

29 августа 1977 года скончался в Нью-Йорке доктор инженерных наук, профессор К.Г. Белоусов.

Константин Гаврилович родился в городе Ахтырка Харьковской губернии. Его отец, известный священник, был Благочинным Собора. По окончании Ахтырской гимназии он поступил в Институт инженеров путей сообщения. В 1916 г. был призван в армию и произведен в офицеры, в 1917 г. (окончил офицерскую пулеметную школу и получил назначение в 10 Кав. дивизию). В октябре 1918 г. в составе 10 Уланского полка вступил в армию графа Ф. Келлера. После падения Киева и убийства графа Келлера в декабре 1918 г., отряд решил пробиваться к Добровольческой армии. К.Г. удалось пробраться в Харьков только в июне 1919 г., там он поступил в 12 Уланский Белгородский полк. В июле был контужен, но остался в строю, в ноябре в 1919 г. в конной атаке на батальон латышских стрелков под дер. Коробино был тяжело ранен гранатой.

Еще не совсем оправившись от ранения в марте 1920 г. из Новороссийска вернулся в строй и принимал участие в боях по защите Перекопа до оставления Крыма. После эвакуации в Галлиполи, в числе 100 студентов был командирован в Прагу и в декабре 1921 г. зачислен в Пражский политехнический институт. Окончил его блестяще в 1924 г.

По окончании университета К.Г. поступил в Чешское министерство общественных работ, в отделение по использованию водной энергии в Словакии. В 1929 г. написал диссертацию на тему "Конструкции и расчеты выравнивательных резервуаров гидроэлектрических станций". После защиты получил звание "доктора технических наук". В 1940 г. стал доцентом Политехни-

ческого института в Братиславе. В 1934 г. организовал Заочный Университет для чинов РОВСа. Ген. Архангельский назначил К.Г. директором и издателем лекций. Для составления лекций был приглашен ряд выдающихся ученых. Издано было два полных курса проф. Спекторского, половина курса проф. Пушкарева и отдельные лекции курсов проф. Струве, Ильина, Иванцова, Остроухова из цикла остальных 12 предметов. К сожалению, в 1941 г. немцы школу закрыли и рассылка лекций прекратилась.

В 1945 г. К.Г. Белоусов был эвакуирован в Зап. Германию, где при УНРРА в Мюнхене — с двумя профессорами — организовал международный Университет для ди-пи молодежи. В 1947 г. К.Г. переехал в США. Здесь он получил работу в "Power Authority of the State of N.Y." и работал над проектом станций и плотин на реке Св. Лаврентия, за что был удостоен медали. К.Г. провел генеральный гидротехнический расчет 10 вариантов станции на реке Ниагаре (4 тома по 400 стр.), 9-й вариант был принят к детальной разработке и потом к постройке. За сооружение получил медаль и настольный знак.

В 1972 г. К.Г. вышел на пенсию, но продолжал работать как консультант до самой смерти.

В 1947-48 гг. был одним из инициаторов создания в США Русской Академической Группы и состоял ее вице-председателем, а в последние годы председателем. К.Г. принял участие в организации в 1948 г. и в работе Общества русских инженеров в США, за что был избран его почетным членом.

Кроме указанных выше книг К.Г. Белоусовым было опубликовано несколько научных и специальных изысканий в технических журналах. За время 1925-1970 гг. К.Г. прочитал около 50 докладов в научных и общественных организациях и в Обществе русских инженеров.

В I-м томе Записок Русской Академической Группы (1967) К.Г. Белоусов опубликовал свое гидрологическое исследование проблемы высыхания Каспийского моря. Он подверг анализу все шесть вариантов, предлагаемых советскими специалистами (об Азовском море в них не упоминалось) и пришел к заключению, что надо объединить проблему Каспийского и Азовского морей. К.Г. писал: "Керченский пролив имеет ширину от 4 до 15 км. и

глубину всего 4 метра. Это исключительно благоприятно для сооружения в Керченском проливе земляной плотины”.

В 1972 г. 18 июля появилась статья в “N.Y. Times”, что советское правительство одобрило проект постройки в Керченском проливе гигантской плотины для улучшения условий рыбного хозяйства.

Можно без преувеличения сказать, что К.Г. Белоусов был душой Русской Академической Группы. Его заслуги перед ней и вообще в области русской научной и академической работы в США безграничны.

Ушел от нас всеми любимый и уважаемый доблестный русский воин и блестящий ученый. Мир его праху!

*Проф. кн. А.П. Щербатов
ген. секретарь Русск. Акад. Группы*

А. ГАЛИЧ

В конце пятидесятых-начале шестидесятых годов А. Галич был блистательным представителем советской литературной “элиты”. Он был в первом десятке московских сценаристов и драматургов. Спектакли по его пьесам в центральных театрах, как и фильмы, снятые по его сценариям лучшими кинорежиссерами, пользовались неизменным успехом. Саша был членом всевозможных союзов, обществ, комитетов, секций. У него были награды, дипломы и пр. Саша был обаятельным, остроумным и красивым, любил элегантную одежду заграничного покроя, ездил за рубеж. Он отлично играл на рояле, был королем бильярда и первоклассным игроком в преферанс и покер. Саша жил широко, не испытывая недостатка в деньгах, у него была великолепная квартира в писательском доме у Аэрофлотовской в которой я видел немало антикварных вещей. За все это он годами платил одним: *покорностью*. Да, *тогда*, в то время он писал то, что от него требовали партия и правительство. Но Саша и в меру бунтовал.

Однажды, когда ведущий кинорежиссер Украины, ультра-ортодокс Левчук, считавшийся в московских кругах, “узаконен-

ным антисемитом”, был награжден каким-то высоким орденом, Саша Галич публично “выдал” следующую эпиграмму:

Люди будьте начеку,
Орден дали Левчуку...

Помню, он как-то сказал мне:

— Ладно. Игра, так игра. Мы профессионалы. Мы все равно должны писать. Мы согласны. Но в любой игре должны быть правила. Смешно, если сегодня белый конь ходит слева направо, а завтра — наоборот. Почему Солженицыну можно, а мне нельзя? Где логика? Мы не революционеры. Мы достаточно сговорчивы и покладисты, но не садитесь нам на шею, товарищи руководители из ЦК. Извольте соблюдать правила игры. Извольте сделать так, чтобы они были едиными для всех. А если вы уж такие смелые, то ликвидируйте правила игры, да и самое игру!

Опубликование повести “Один день Ивана Денисовича” в “Новом Мире” всколыхнуло тех, кто думал и жил с дарованием в сердце. Конечно же, появление Солженицына с его произведениями подчеркивало тот факт, что творчество большинства членов Союза Советских Писателей — было всего лишь хорошо оплачиваемой “социалистической макулатурой”.

Вот Саша Галич и хотел, чтобы и ему дали возможность обнародовать то, что он, быть может, писал в стол, вне “правил игры”.

Кстати, тогда же, возмущенно рассказал мне о том, что зав. отделом культуры ЦК КПСС Дмитрий Поликарпов вызвал к себе московского художника Юрия Васильева и назвал его рисунок “Клеопатра” порнографией. Васильев заспорил с Поликарповым, но, разумеется, не сумел убедить идеологического скопца в том, что обнаженное женское тело, это еще не порнография. Кончился их спор крылатой фразой цековского чиновника: “Вами теперь займется Союз Советских Художников. По-моему, вас следует исключить из этого союза.”

Саша иронически добавил:

— Представляешь! И этот тип ведет нас к коммунизму!

В Галиче шла внутренняя борьба, литература для него была не только профессиональным занятием, но и тем, что называют “зовом души” или “голосом совести”. И все же я не пред-

полагал, что Саша пойдет дальше и решительным образом изменит всю свою жизнь в возрасте сорока или сорока пяти лет. Хотя вскоре я присутствовал на читке его пьесы "Матросская тишина", которую он написал несколько лет назад, но которая была запрещена и которую он читал только в кругу близких друзей. Пьеса эта затрагивала те стороны советской действительности, которые было принято обходить молчанием. Однако и эта пьеса, с моей точки зрения, еще не была бомбой.

Много раз я слушал песенки Галича. Мы собирались в одном из салонов Дома Творчества, опять же в узком кругу друзей и почитателей Саши. Он садился за рояль, начинал с вальса Шопена, а затем переходил на простые и очень мелодичные мотивы, напевая вполголоса или исполняя речитативом песни, которые моментами напоминали частушки. Как правило, в песнях перемежались элементы шутки, иронии, блатные интонации, а иногда трагизма.

"Перелет, недолет, перелет,

По своим артиллерия бьет..."

Литературный талант А. Галича уже совершенно очевидно не давал ему покоя, но он все еще умел контролировать этот талант и все еще жил философией "советского гедонизма", срывая цветы удовольствия, швыряя деньгами, любя коньяк и все прочие блага материального бытия.

На Западе я начал встречать в эмигрантской прессе имя Галича и сообщения о том, что он публично выступает со своими новыми, политически острыми песнями и что советские боссы им весьма недовольны. Затем я прочитал первый сборник стихов Галича, изданный в Западной Германии. Составители, не имея точных данных о биографии поэта, представили его "лагерником", тогда как Саша никогда им не был.

А еще через год или два Александр Галич уже стал известен всему миру, как один из самых смелых и активных диссидентов, как советский бард, как зрелый писатель, вступивший на путь борьбы за свободу, как человек, фактически бросивший вызов системе тоталитаризма. Так началась самая значительная и конечно самая трудная полоса жизни Галича. Он лишился денег, потому что был объявлен "еретиком", от него отвернулись бывшие друзья, все эти богословские и росточки, он стал гоним

и одинок, и над ним повисла угроза физической расправы. Вероятно, тогда Саше помогало то, что он обрел новых и настоящих друзей, особенно среди молодежи, которая с радостью ловила его каждое искреннее слово.

Надо иметь огромное мужество, чтобы в условиях советской действительности посметь противопоставить себя партийной и государственной машине. Первым это сделал, пожалуй, Борис Пастернак, опубликовавший "Доктора Живаго" за рубежом.

Александр Галич долго и отважно отстаивал свои гражданские и писательские права, продолжая жить в Москве уже почти на положении заключенного или подследственного, с постоянной слежкой, травлей и испытывая серьезные осложнения со здоровьем. Когда же угроза тюрьмы стала неминуемой, он выехал на Запад, оттягивая это до самого последнего момента.

Года два-три назад мы встретились с ним в Вашингтоне. Он обнял меня, мы трижды расцеловались, а потом он сказал:

— Знаешь, почему я все это сделал? Потому что надоело служить. Ты же понимаешь меня. Ведь там у нас писатель должен служить...

Саша Галич сломал "правила игры", вышел из нее и, оказавшись на Западе, тоскуя конечно по своим московским друзьям и по России, тем не менее начал писать во всю широту своего дарования. Трагично то, что смерть так рано оборвала его поэтический голос.

Ю. Кротков

БИБЛИОГРАФИЯ

М. ДОБУЖИНСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ. Том 1. Книгоиздательство "Путь Жизни". Нью-Йорк. 1976.

К воспоминаниям многих русских художников прибавилась сейчас изданная в Нью-Йорке книга воспоминаний М.В. Добужинского (1875-1957). Ему было о чём вспомнить, ибо сотрудничал и соприкасался он с такими людьми, как С. Дягилев, Александр Бенуа, М. Фокин, К. Станиславский, С. Рахманинов и мн. др. Но воспоминания его значительны не только в связи со встреченными им лицами, но дают освещение всей жизни России конца 19-го и начала 20-го веков.

Удивительно спокойно, вдумчиво и объективно рисует Добужинский свою детскую и юношескую жизнь в Петербурге, Новгороде и в Гамбовской губернии, куда он ездил к своей матери. Школа, товарищи, гимназия в Петербурге, а затем в Вильне, потом Университет, в который он поступает по настоянию отца, поездка в Европу, возвращение в Петербург, неудачные попытки попасть в Академию Художеств, занятия в Мюнхене в студиях Ашбе и Холлоши, вынужденная скучнейшая канцелярская работа в Министерстве Путей Сообщения, и наконец деятельное участие в совместных работах с художниками группы "Мир искусства" — читая о его жизни и характеристики окружавших его лиц, представляешь себе мирную русскую жизнь, державшуюся до революции, и погружаешься в спокойное существование Новгорода, или вместе с мальчиком-Добужинским гуляешь по Петербургу, или попадаешь в далекую русскую провинцию. И всюду, куда ведет нас Добужинский, он взглядом художника запоминает то, мимо чего большинство людей проходит равнодушно. Обо всем этом Добужинский повествует прекрасным русским языком.

В "Воспоминаниях" Добужинского можно прочесть о фактах, которые раньше замалчивались, а именно о том, что Император Николай II оказал крупную денежную поддержку журналу "Мир искусства", когда кн. Тенишева перестала субсидировать журнал.

Кроме воспоминаний в первый том включены и некоторые статьи Добужинского, раньше появлявшиеся в "Новом журнале" и в другой периодической печати. Особенно запоминаются статьи об организованной С. Дягилевым в 1904 году "Исторической выставке портретов" в Гаврическом Дворце, в устройстве которой Добужинский принимал деятельное участие.

В статье о Московском Художественном Театре интересны сведения о совместной работе со Станиславским над постановкой "Месяца в деревне" И. Гургенева.

Чётки и выразительны характеристики писателей и поэтов круга Вяч. Иванова, а также М. Фокина, художника Чурлиониса и С. Рахманинова.

Сам Добужинский мечтал увидеть книгу своих воспоминаний, работал над нею усердно, но не дожил до её опубликования.

Читая эту книгу, попадаешь в мир мечтаний, грусти и любви ко всему, что окружало художника и сама фигура Добужинского вырастает перед читателем в своей благородной артистичности.

Единственно, о чем можно пожалеть, что в этом издании нет красочных репродукций картин М. Добужинского, да и чёрно-белые репродукции далеко не на высоте. Но в условиях эмигрантского издательства появление книги в изящной обложке и с заглавными буквами работы Всев. М. Добужинского, с отлично размещенным текстом, с концовками и виньетками работы самого М. Добужинского, надо признать исключительно удачным.

Надо ждать с большим интересом появление второго тома воспоминаний.

Е. Климов

Л. РЖЕВСКИЙ. ДВЕ СТРОЧКИ ВРЕМЕНИ. Роман. Possev-Verlag, Frankfurt Main, 1976.

Этот глубоко трагический роман мог бы быть назван "Две Ии". В

нем Л. Ржевский рассказывает о судьбах двух женщин, по совпадению, с одинаковым именем Ия: об одной русской, москвичке, и другой полурусской, но хорошо понимающей по-русски, живущей в Швеции, потом в США. Повествование (род мемуарного романа) ведется от "я" ("Ich Erzählung" в терминологии Д. Чижевского) писателем П., жителем Нью-Йорка, проводящим свой летний отпуск на шведском взморье. Автобиографичен ли роман Л. Ржевского вопрос второстепенный; ведь Бунину тоже не раз ставили в укор автобиографичность его великолепной книги «Жизнь Арсеньева», что отнюдь не умаляет ее литературной ценности. Кстати, Бунину отведена существенная роль в романе «Две строчки времени», вернее его «Темным аллеям», которые Ия-шведка (назовем ее так условно), переводит на шведский язык, консультируясь с писателем П. Совсем не случайно выбраны «Темные аллеи», как сборник самых современных по замыслу, смелых и откровенных рассказов о "мессе пола" (бунинское выражение из «Дела корнета Елагина»), рассказов о любви, рассказов высокохудожественных, очаровательно тонких. Вряд ли ошибусь или обижу Л. Ржевского, если зачислю его в наиболее талантливые последователи Бунина. Варьируя на свой манер тематику и тональность «Темных аллей», Л. Ржевский идет на шаг дальше Бунина, никогда, однако, не переходя границ, что, увы, столь свойственно многим современным писателям. Без риска можно утверждать, что "вопросы пола" довольно редко обсуждались в русской литературе так открыто и свободно, как в «Двух строчках времени». И неудивительно. Ибо, кто же такая Ия-шведка?

Это ультрасовременная девушка, или правильнее, особь женского пола, отбрасывающая все нравственные преграды, традиционное воспитание (она в ссоре с родителями, живет самостоятельно), духовные ценности. "Все разрешено", через всё можно "переступить", все заветы отцов достойны лишь смеха. Растленная еще в "лолитинном" возрасте каким-то сладострастным Карамазовым (вспомним бунинскую Олю Мещерскую из «Легкого дыхания») она постоянно меняет любовников, купается голой на публичном пляже, играет ведущую роль в порнографическом фильме. Порой кажется, что её вызывающее поведение искусственно, что она нарочито грубо старается доказать свое пренебрежительное отношение к канонам общества и тем самым утвердить за собой право на новый way of life. Но взятый ею ложный курс губителен, признаков грядущего возрождения, исцеления нет и в помине, а наоборот она всё дальше и дальше катится по отвесной вниз,

попадает в трущобы больших американских городов и в один холодный, дождливый апрельский вечер на Бродвее, продрогшая и жалкая, протягивает руку за подающим. Дознаться конца "конца" Ии-шведки нет никакой надобности и на этом последнем эпизоде Л.Ржевский обрывает роман.

А другая Ия — русская, или, как зовут ее дома, Юта. О ней, о своей большой любви к ней рассказывает писатель П. Ии-шведке. Юта, дочь чудом уцелевших людей из "бывших", живет с родителями в Москве, мечтает стать балериной. Она полный противовес своей тезке. Скромная, целомудренная, верующая, в ней все как бы неземное, лучезарное, невесомое. Она в чем-то родственна солженицынской Агнии из «Круга первого», или Вере Гангарт из «Ракового корпуса», или даже Лизе из «Дворянского гнезда». Пора влюбленности в П., тогда еще молодого преподавателя литературы в московском пединституте, надежда на радостное будущее, мечты о семейном счастье мимолетны. Действие разворачивается в жуткие сталинские довоенные годы. Всё рушится сразу, неожиданно и навечно. Сначала НКВД арестовывает родителей Юты за "происхождение", а потом и саму Юту в канун ее свадьбы с П. У последнего имеются сведения о том, что Юту, сосланную на десять лет концлагерей без права переписки, заражают сифилисом. Таков страшный конец русской Ии. А для П. война, плен, эмиграция...

Кроме этих двух героинь в романе живут, бегут, суетятся, прожигают свои маленькие жизни многочисленные и очень разнообразные персонажи — следователь на Лубянке (род современного Порфирия Петровича), русские, а потом иностранные друзья П., очаровательно обрисованная старорежимная чета родителей Юты, приятельница П. Моб (связующее звено в некоторых ситуациях), художник Сэм, и даже совсем второстепенная личность горького пьяницы с русской душой, дворника Степана.

Не забыта в романе и "равнодушная природа", метко нарисованы морские акварели, ощутимо четко чувствуется и морской бриз на северном пляже и городской, неповторимый, нью-йоркский, дующий "вперехлест" ветер, когда "в полутемках подле мусорных тумб шевелили лохмотьями скелеты порванных зонтиков и было пусто" (стр. 186), живо отражена атмосфера богемно-подпольного мира Гринич Вилледжа, интереснейшего района Манхаттана.

Описывая тело Ии-шведки, автор очень умело и в меру использует

детали и рядом со своими зарисовками приводит цитаты из «Гемных аллей», в которых Бунин не раз показывает читателям своих обнаженных Антигон, Муз и др. Способность создать особое "бунинское" настроение в рассказе весьма характерно для Л. Ржевского. Например, достаточно взять хотя бы сцены из встреч П. с чуть ли не втрое моложе его Ией-шведкой (их споры, рассуждения), или идиллическую сцену чаепития в доме родителей Юты, или сцену поездки П. с Ютой на экскурсионном теплоходе по Московскому морю. У Л. Ржевского свой язык — русский литературный язык, в меру современный, ясный, не нуждающийся в объяснениях ни Даля ни Ожегова. В романе 188 страниц, шесть оригинально именованных глав, снабженных эпиграфами: 1. Виу-виу-виу.... 2. «Гемные аллеи» 3. «Пока». 4. Юта. 5. Ия. 6. Вечера. Внешне книга великолепно оформлена, опечаток почти нет. Читается легко, захватывающе, без передышки.

В одном месте Л. Ржевский говорит: «—Пишущих по-русски на Западе вообще не читают» (стр. 53). Если это прискорбное утверждение не преувеличено, то хочется верить, что «Две строчки времени» прочтут все, кто все же читает по-русски. Особым же утешением автору должно быть сознание, что его книга, проникнув на родину, будет ходить по рукам, зачитываться до дыр, а может дойдет и до Юты.

С. Крыжицкий

Н. УЛЬЯНОВ "СИРИУС". Munchen. 1977.

Прочитав "Сириус" сначала в выдержках в "Новом Журнале", а теперь полностью в отдельном издании, думаю, что произведение это, как обыкновенно для Н. И. Ульянова, остро по теме, талантливо в изобразительной силе, беспощадно в анализах, местами спорно в отборе материала и, конечно, откровенно стилизовано, как художественное целое. Едва ли роман вызовет "безоговорочный" или "единодушный" восторг читателей.

Если в СССР тема о последнем царе не может, пока что, рассматриваться вне "ленинских оценок", первая русская эмиграция, идейно представлявшая собою весь спектр дореволюционной и пореволюционной России (за исключением сталинцев и некоторых иных внутрисоветских групп), высказала в мемуарах и публицистике самые

разнообразные мнения о конце монархии, которые получили свое отражение и в некоторых исторических исследованиях. Но романисты и поэты мало и сдержанно касались этой сложной темы, — "...И вот — февраль заводит хоровод..." ("Поэма временных лет" Вячеслава Лебедева). Обычно они оставались или в рамках эпизодического описания какой-то сцены или стихотворной лирики, связанной с осознанием страшного зверского бессудного убийства царской семьи, убийства "бесмысленного и беспощадного" (Пушкин о Пугачевском восстании).

Думаю, что статья "П о с л е д н и й ц а р ь" М. П. Арцыбашева, напечатанная в половине двадцатых годов в варшавской "За Свободу" и в ревельских "Последних Известиях", более или менее точно передавала покаянное настроение эмигрантского большинства, осознавшего несоизмеримость "грехов монархии" и "преступлений революции": статья кончалась знаменательной фразой: "...Последний царь...Когда-нибудь великий поэт напишет эту трагическую поэму".

Ульянов, как профессиональный историк, отлично осведомлен, насколько неудовлетворительны имеющиеся "ученые объяснения" "русского кризиса". Автор "Сириуса", с правом не считаясь со списком недоказанных мнений, взял для развертывания событий своего романа последние два года и девять месяцев бытия монархии.

Необходимо подчеркнуть, что Н. И. Ульянов не только профессиональный историк, но и специально размышлял над проблемами исторического романа. Я привожу здесь несколько "формул" Ульянова, которые могут помогать при суждении о качествах романа "Сириус".

По мнению Ульянова, "обращение к истории должно быть оправдано", — оно "в отыскании совсем иных звучаний и чувствований, чем те, что получаем от жизни, в которой живем...Вряд ли, например, историческому повествованию пристали черты психологического рассказа". Ульянов против "писания с натуры", против натурализма и импрессионизма; он скорее за романтизм, ибо "история драматична". Самое, вероятно, острое в определениях Ульянова его утверждение, что исторический роман действует на умы только тогда, когда он отвечает интересам, даже более того страстям (политическим, национальным, социальным) своих читателей. Еще более относится это к самим романистам: "Мы видим исторические события глазами своей эпохи и иначе не можем, других глаз нам не дано". Ульянов полностью принимает мысль В. В. Розанова: "Берешь фонарь, уже зажженный в

своей душе и освещаешь им потемки минувшего". Ульянов подчеркивает: "В этом, может быть, — разгадка всего метода исторического романа. Для обращения к прошлому нужен "фонарь в душе". Но, заключает Ульянов (ссылаясь при этом на мысль Максимилиана Волошина — "прошлое никогда не остается неизменным. Оно меняется вместе с нами и всегда идет рядом с нами в настоящем".) *"Самым захватывающим историческим романом будет тот, который всего полнее насыщен электричеством своего времени"*. Таковы "формулы" Ульянова-теоретика.

Я никак не собираюсь пересказывать содержание "Сириуса" и тем умалить непосредственность читательского восприятия романа. Но полностью в духе своей теории автор "насытил" "Сириус" огромным количеством "документальных текстов", вводя их или в художественно гладком монтаже отрывков или в пересказе, обнаруживающем строгую подчиненность всего этого материала замыслу романиста. Каков же этот замысел?

Горестный конец Российской Империи показан на самом "высшем уровне": Император, царская семья, великие князья, министры, французский президент, послы, генералитет, думцы, офицеры, придворные и авантюристы, кружащиеся, как это всегда бывает, вокруг "сильных мира сего", — смесь воздуха "Рима времен упадка", "социального Вавилона" и духа обреченности при отсутствии направленности воли, при отсутствии "великих" (то есть правильных) решений и при малом количестве исполнителей, понимающих "суть дела".

Нелепость конца Империи, столь убедительно показанная в бесчисленном количестве глав и главок, объясняется в романе, кроме прочего, "космическими излучениями" звезды Сириус в созвездии Пса, начавшимися три века назад (значит, в эпоху избрания на царство дома Романовых) и теперь достигшими земного мира. Астроном, являющийся в романе источником этих взглядов и оказывающий некоторое влияние на некоторых действующих лиц в книге, начиная с императора, предсказывает: — "России, как стране отсталой, суждено раньше всех стать жертвой... космических сил. Но гибель культурной Европы превзойдет ее своими ужасами".

Вводя этот воображаемый мотив-фактор событий, Ульянов примиряет читателя с безжалостным авторским анализом "вершителей судеб России", картонности "элиты". Мимоходом отмечу удачу в

изображении Распутина, — не только он живой, в трех измерениях, но отлично показано и четвертое — “шаманская сила”.

Художественно выразительных мест в романе много. Некоторые сцены, производящие сильное впечатление, поражающе экономны в количестве слов, как, например, описание красносельской “зари с церемонией”, молебствия в Зимнем дворце и последних дней государя в Ставке...

Следует оценить то искусство, с которым наш романист демонстрирует (в полном согласии со своей теорией) разноголосицу оценок, современных событиям. Необходимо предостеречь читателя от поспешных о т о ж е с т в л е н и й мыслей отдельных упоминаемых реальных персонажей, как граф Витте или великий князь Николай Михайлович, например, и самого автора. Важно отметить и еще одну бросающуюся в глаза черту повествования: нет показа иной России, чем “верхушечной”, погруженной в сновидения и в борьбу за влияния, лишенной инстинкта реальности, замершей в культе церемониальности или безответственного фрондерства. А иная Россия, окутанная в начале книги дымом лесных пожаров, остается (опять-таки в духе теории Ульянова) незримой, вне этого романа.

Вопреки собственным намерениям автора, в книге выявляется его “философия истории”, — это не фатализм, не теория прогресса или регресса, это даже не идея Рока или “возмездия за грехи предков и свои собственные”...Если принять невидимое (“астральное”) подчинение едва заметному на горизонте Сириусу, история человеческого общества превращается в пассивный марионеточный театр картонных персонажей. Читатель не может принять столь беспросветный пессимизм. И, смотря на художественно стилизованную картину конца Империи, он начинает переоценивать “факторы” исторических событий. И тут он переходит в область, почти незатронутую Ульяновым: справедливость идеи мира во что бы то ни стало, — особенно, если русская военная машина планировалась быть готовой только к 1918 году. Не Сириус, а Большой Германский Генеральный Штаб, знавший о русских сроках перевооружения, был роковой звездой той эпохи. Но это уже иная тема.

Само собой разумеется, что в о з м о ж н о с т ь других пониманий темы (а стало быть, хотя бы частично и современных материалов) никак не может затрагивать своеобразных качеств романа “Сириус”, который оправдывает тезисы автора по теории исторического повествования и

напоминает нам всем — в год шестидесятилетия революции — о трагическом конце трехсотлетней империи Романовых.

Ник. Андреев

ВСХСОН СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ О ВСЕРОССИЙСКОМ СОЦИАЛ-ХРИСТИАНСКОМ СОЮЗЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДА. Составитель Джон Дэнлоп. ИМКА—Пресс, 1975 г., 220 стр.

Сборник открывается введением составителя Джона Дэнлопа, в котором он дает объективную оценку Программе (Хартии) ВСХСОН, краткую хронологию деятельности организации, характеристику ведущих членов ее и определяет значимость факта появления такой организации в диссидентском движении 60-х годов. Он заключает введение словами: "Оценку ей (организации ВСХСОН) даст время. Надеемся, что сборник поможет "времени" достичь правильной и сознательной оценки...".

Сборник бесспорно поможет это сделать. За это мы и должны быть глубоко благодарны составителю и издателю его, г-ну Джону Дэнлопу.

Книга эта особенно ценна потому, что предлагает читателю сведения о той части диссидентского движения в Советском Союзе, деятельность которой, по воле левых кругов общественности Запада и отдельных левых диссидентских групп, усиленно замалчивается, а иногда и подвергается осуждению как движение "националистическое", "реакционное" и даже "черносотенно-шовинистическое". Заметим, например, что на втором Сахаровском слушании, представителю разгромленного ВСХСОНа, отсидевшему 8 лет в заключении Е. А. Вагину не было разрешено прочитать свое краткое обращение.

Из занимающей центральное место в сборнике Программы ВСХСОН ("Народнореволюционной Хартии") трудно понять, почему этот наиболее значительный по качеству и объему проделанной работы и по своему количественному составу Союз, отодвинут на задворки. Все основные установки его программы направлены на создание в освобожденной от ига коммунистов России — настоящего демократического государства, основанного на принципах христианской морали и христианского отношения к человеку, обществу и государству.

И нет намека на "шовинизм", ибо пункт 73 прямо утверждает, что

Союз сознает себя патриотической организацией самоотверженных представителей всех национальностей России.

Значит, неприязненное отношение к ВСХСОНу вызвано чем-то другим. Чтобы узнать, чем именно, надо присмотреться к тем немногим, но очень существенным особенностям, которыми его Программа отличается от программ и деклараций других диссидентских группировок.

Самой существенной особенностью являются две последние буквы в названии организации — "ОН" — определяющие ее, как организацию, поставившую своей целью *ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДА* от коммунистического ига. Здесь разговор идет не о "конвергенции" с существующим строем и не об улучшении или "реставрации" его, а о его свержении и замене совершенно новым по духу государственным и общественным строем. Ясно, такая "радикальность" кое-кому не по вкусу.

Вторая, настолько же важная особенность — восприятие христианства как основы человеческого бытия. О христианстве много говорят и находящиеся в фаворе у западной общественности диссиденты. Но говорят о нем, как о функции, помогающей установлению того или иного социального строя, но изменяющейся в зависимости от нужд этого строя. ВСХСОН наоборот, не религию приспособляет к своей социальной схеме, а строит ее на твердом религиозном фундаменте. Атеистам Запада это тоже, конечно, не по вкусу.

Безусловно, программа ВСХСОН тоже не без ошибок, но основная линия удивительно совпадает со взглядами большей части российской политической эмиграции. В особенности близка нам ее первая часть, посвященная оценке деятельности марксистско-ленинского правительства в СССР и других порабошенных странах.

Мы согласны с ВСХСОН, что "метафизический материализм — самое безнадежное и ложное философское учение... культ бессмысленности бытия и абсолютной смерти". Что марксистско-ленинское учение должно быть "отвергнуто только целиком" (а не отдельные его части). Что марксизм-ленинизм "враждебен религии не потому, что это учение атеистическое, а потому, что оно само есть лжерелигия". Что "так же, как в этой ложной религии нет истинного Бога, так нет в ней места и для Человека". Что "коммунистическое воспитание всецело подчинено классовым целям партийной бюрократии; оно есть фабрикация безродной обезличенной массы".

И так согласны мы с авторами программы почти во всем, включая и пророческое предсказание, что "мировой крах наступит для этого класса (коммунистической бюрократии) именно тогда, когда ему будет казаться, что он стал всесильным...". И особенно с тем, что коммунизм может быть преодолен только христианизацией всей жизни общества.

В конструктивной части программы, где авторы излагают свой взгляд на структуру будущего общества, у нас нашлись бы, пожалуй, возражения, в основном тех же категорий, какие возникали когда-то, при чтении ранних вариантов программ НГС (солидаристов).

Не только читателю, но и составителям программы, вряд ли ясна, например, разница между собственностью частной и "персоналистической"; или собственностью общественной и государственной (при общественном устройстве государства). Почему, скажем, в промышленности узаконивается персоналистическая собственность, а торговля "должна быть свободной", т.е. очевидно — частной? Или как совместить наличие права передачи по наследству основного надела земли, являющегося частицей общенациональной собственности, и отсутствие права на продажу этого участка? Нет ли в этом разное нарушение прав, обеспеченных пунктом 56 — "Все граждане равны перед законом" и пунктом 63 — "Личная свобода ненарушима", если торговцу закон разрешает продавать свое "дело", а земледельцу нет?

А не превратятся ли в "колхозы" (по своей продуктивности) переданные в собственность и управление коллективам предприятия промышленности и обслуживания? И не будет ли ущемлением свободы личности, если у людей будет отнято право организовывать частные промышленные предприятия, наравне с частной торговлей?

Но все это мелочи, все это естественные недоработки, которых невозможно было избежать при составлении первого наброска программы. Основная же направленность ее верна и, конечно же, гораздо больше отвечает мечтам и чаяниям трудового русского народа, чем марксистские мечтания гг. Белоцерковских, Левитиных-Красновых и др.

Остальную часть сборника занимают материалы о суде над членами ВСХСОН и ряд статей и заметок резюмирующих работу Союза или дающих характеристику отдельных членов организации, особенно ее организаторов и возглавителей — И. В. Огурцова, М.Ю. Садо, Е.А. Вагина, Б.А. Аверичкина и других. Судя по сведениям, сообщенным в этой части сборника, люди эти не только проповедуют

жизнь, построенную на христианских основах, но и сами живут в соответствии с ними.

Верно, А. Петров-Агатов, чьи описания встреч с членами ВСХСОНа в лагерях ГУЛАГа занимают значительную часть сборника, кое-где, мимоходом, пытается очернить некоторых из них, приписывая им "недостойные истинного христианина высказывания". Но теперь, когда Петров-Агатов завершил круг своего "диссидентства" актами предательства, мы понимаем, для чего ему эти грязные мазки были нужны.

Всех этих Петровых-Агатовых русский народ преживет и забудет. Но Игоря Огурцова, находящегося уже более 10 лет в жесточайших условиях настоящего тюремного заключения (где нет возможности на досуге сочинять "Прогулки с Пушкиным"), Россия не забудет. Его самопожертвование не пропадет.

Когда коммунистическое иго будет свергнуто, когда православная Россия воскреснет, когда люди снова будут жить в любви и мире, тогда русский народ скажет, что одним из светлых маяков на пути к этому освобождению был ВСХСОН, светивший народу пламенем ярко горящих жизней Огурцова, Садо, Вагина, Аверичкина и их однодумцев и последователей.

С. Женик

ПРОДЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА

(о новой книге Андрея Седых "Крымские рассказы")

Прочитав несколько лет тому назад два-три из крымских рассказов А. Седых, рассеянных в то время по разным сборникам этого автора, я будто схлопотал подарок: думал, что знаю всё замечательное на русском языке в этом жанре, а тут вдруг — на тебе! новое, еще неизвестное и замечательное тоже.

Собранные вместе, в одну книгу, эти рассказы укореняют мое впечатление. Говоря о "жанре", я подразумеваю повествовательно-мемуарную прозу типа знаменитой толстовской трилогии, то есть относящуюся к "первым шагам по жизни" авторов. Кажется, именно русская литература особенно богата удачами в этой части: от С. Аксакова и Льва Толстого до писателей конца 19-го и начала нашего века — Горького, Гарина-Михайловского, А. Белого ("Котик Летаев"), А. Н. Тол-

стого ("Детство Никиты") и других. Магическая обращенность к раннему, всегда яркому в памяти, прошлому создавала проникновенные страницы даже и у "не автобиографических" авторов; причем, по моим наблюдениям, чем юнее были вспоминаемые годы, тем живей и проникновеннее это выходило творчески. Так — с "Детством" в трилогиях Льва Толстого и Горького, так с первой частью тетралогии Гарина-Михайловского ("Детство Тёмы"); когда пишу это, приходит на память и трилогия Е. Чирикова, первая часть которой, "Юность", много живей остальных...

Назвав эту заметку "Продление мастерства", я, однако, хочу подчеркнуть преемственность не только внешних признаков жанра, но и его поэтики. Большинство помещенных в книге Андрея Седых рассказов, без преувеличения сказать, блистательны и водружают эту книгу на полку общепризнанных успехов, включая писателей так называемой "южной группы" — И. Бабеля, Паустовского, Ильфа-Петрова, с которыми она отчетливо перекликается.

Мне было чрезвычайно радостно в подтверждение своего суждения прочесть чуть позже оценки, которые давал мастерству Андрея Седых И. Бунин. Вот отзыв его об одной из ранних книг этого автора "Люди за бортом": "Как отлично написана ... она, так легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами, с присущим каждому из них языком. Тут уже явно сказались особенности Андрея Седых: его юмор, живость, умение схватывать на лету всё, что попадет в поле его наблюдений".

И по поводу сборника "Звездочеты с Босфора", в предисловии: "...Какая художественная памятьливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!" Среди особенно понравившегося ему называет Бунин:

"... крымские, черноморские рассказы — "Бартыжники", "Хайтарма", "Гидра", "Чебуреки" ... "Парад, аллэ" — этот последний о цирке. Тут всё чудесно именно по своей непритязательности и жизненности, а кроме того и по тому, что я назвал "лингвистикой" Андрея Седых, то есть по богатству говорюв, жаргонов, которыми в таком совершенстве, так точно владеет он, рассказывая о крымских татарах и греках, о портовых босяках... Я хорошо знаю Крым, Черное море, не мало плавал даже и на грузовиках вроде "Гидры" — то же могу сказать об искусстве Андрея Седых и в этом случае; и цирк ему удался не хуже Куприна, даже лучше, по-моему"...

Юмор, отмеченный Буниным в качестве одной из ведущих особенностей прозы Андрея Седых, в "Крымских рассказах" щедр и синкретичен: это юмор сюжетной ситуации, юмор портрета, речевой характеристики в диалогах и репликах персонажей ("лингвистики" — по Бунину), наконец — юмор самой тональности, в которой автор ведет свой рассказ. "Вся беда началась с момента, когда за кровный медный пятак я купил на благотворительном базаре в Клубе Приказчиков лотерейный билет"... — рассказывается о двенадцатилетнем мальчике, выигравшем на этот билет корову. Вот он приводит ее домой, к матери: "... в этот момент мать представилась мне воплощением Сары Бернар в греческой трагедии. На лице ее удивление сменилось растерянностью, потом гневом.

— Что это? — осторожно спросила мать, словно перед ней была не молочная корова, а бык с кровавой севильской арены, готовый забодать на смерть ее любимого сына.

— Корова, — кротко ответил я. — За пять копеек".

Смывшиеся с гимназических уроков мальчишки, забравшись в горы, встречаются там с Сенькой Бараданчиком, бежавшим из городской тюрьмы. Подкрепившись их завтраком, Сенька отпускает их с миром:

" — Катитесь под горку, на легком катере. И, значит, держите язык за зубами. А то, накажи меня Бог, я вам головы поотворачиваю. Чтобы ни одна душа в мире не знала. Поняли?

Поняли.

Побожитесь!

Чтоб мы сдохли, Сеня.

Ну, ладно... Тихий ход вперед! Пишите, коллеги..."

С манерой авторов южной школы сближает "Крымские рассказы" и поисковый, то есть ищущий зримости, словоотбор, красочная метафоричность языка: "Арбузы дозревали на раскаленной, потрескавшейся земле, и от них шел пряный, сладкий дух. ... Выбирали арбузы долго... шелкали по корке, прислушиваясь к звуку, словно настраивали скрипку, и, наконец, легко стучали арбузом о рельсу или о камень. Раздавался хруст, кавун разваливался на рыхлые, кроваво-сочные куски..."

И — пластическая живопись пейзажа: — "Луна встала над морем большая, красная, какая-то театральная. Такую луну позже я видел только под тропиками. Но постепенно начала она уменьшаться и менять цвет, из медной превратилась в желто-золотистую, потом подня-

лась еще выше, и всё вокруг стало белым, каким-то призрачным, а по воде, от луны до самого берега, протянулся дрожащий серебряный мост. Еще громче застрекотали цикады. Сплюшка в лесу начала выводить свое монотонное:

— Сплю... Сплю...

А какая-то другая ночная птица дразнила ее вопросом:

— Ну, и что же?.. Ну, и что же?..”

”Крымские рассказы” — подарок нашей зарубежной прозе.

Л. Ржевский

A MAN CALLED INTREPID (THE SECRET WAR), by William Stevenson. Harcourt Brace Jovanovich Inc. New York. 1976.

При нынешнем стремлении левых кругов ”разоблачить” и поставить под всенародный контроль или, по крайней мере, под контроль Конгресса разведывательные органы и тем свести их деятельность к нулю, книга В. Стивенсона ”Человек, названный неустрашимым” является особенно ценным документом. Она открывает перед читателем картину самоотверженной борьбы бесстрашных разведчиков и контрразведчиков Англии, США и Франции в годы прошлой войны. В ней приводятся многочисленные факты, ярко показывающие, какую огромную помощь оказали эти разведчики вооруженным силам союзников, сколько лишних жертв предотвратили, насколько приблизили разгром врага и конец войны.

Секретной кличкой ”Неустрашимый” Черчилль назвал сэра Виллиама Стефенсона, организатора и бесценного руководителя ”частной” (независимой от военного командования) британской разведывательной организации, действовавшей под различными названиями.

Черчилль ценя знания, способности и целеустремленность Стефенсона (канадца по рождению и месту жительства), никогда не упускал его из виду и поддерживал с ним личную связь. В то же время президент Рузвельт имел под рукою такого же как Стефенсон талантливого ”разведчика-любителя”, адвоката Виллиама Донавана. Оба Билла — ”Большой Билл” (Донаван) и ”Билл маленький” (Стефенсон) — отнюдь не были ”ярыми милитаристами”. Донаван

говаривал: "Я слишком много знаю о войне, чтобы славословить ее. Но войны подготавливаются политиками, которые не беспокоятся о подготовке к ней". Объединившись по личному поручению Рузвельта и Черчилля, эти два Билла и начали готовиться к войне.

В жесточайшей засекреченности они организовали командный пункт в здании Рокфеллеровского центра (Нью-Йорк) с оперативными и тренировочными базами в Англии, Канаде, на Бермудских островах и других местах.

Работая не покладая рук, Стефенсон и Донаван провели большую подготовительную работу до начала войны, а потом, за все военные годы, расшифровывая вражеские секретные радиogramмы, засылая на территорию врага шпионские и диверсантские группы, распространяя дезинформацию (чтобы ввести в заблуждение противника), разоблачая вражеских шпионов и диверсантов и многими иными путями они оказали неоценимые услуги вооруженным силам антинацистских союзников.

Среди тех лиц, кого Стефенсон и Донаван привлекали к сотрудничеству, были такие знаменитости, как ученые А. Эйнштейн и Н. Бор, актриса Грета Гарбо, писатель Ян Флеминг, а также "выдающиеся" люди из преступного мира взломщики, фальшивомонетчики, шулера и даже фокусники и гадалки. Много молодых девушек, неся наравне с мужчинами тяготы разведческой жизни, самоотверженно работали и бесстрашно отдавали жизнь, выполняя сложнейшие задания.

Есть ли сейчас у Джимми Картера и у глав наших стран-союзников такие же бесстрашные, дальновидные, толковые, преданные своей стране и делу мира люди, какими были Стефенсон и Донаван? Работает ли кто-нибудь вне полуразгромленных официальных разведывательных органов так, что в случае новой войны, с их помощью, можно бы было разгромить любого врага?

С. Жецук

ЮРИЙ МИРОЛЮБОВ. "БАБУШКИН СУНДУК". Сборник рассказов. Мадрид. 1974. 174 стр.

ЮРИЙ МИРОЛЮБОВ. "РОДИНА — МАТЬ". Мадрид, 1975. 189 стр. (Сборник стихов).

ЮРИЙ МИРОЛЮБОВ. "ПРАБКИНО УЧЕНИЕ". Сборник рассказов. Мюнхен, 1977. 112 стр.

В обеих подотчетных книгах прозы содержание разбито на маленькие рассказы, дополняющие друг друга зарисовки воспоминаний детства. Эти зарисовки автобиографичны: раннее детство в Задонье, — как раз у станции Каялы, — той самой, из реки которой Ярославна хотела бы зачерпнуть воды "рукавом бебряным" и омыть раны Игорю.

Кроме чисто бытового изображения, в этих рассказах дана психология ребенка, дополняя этими правдивыми наблюдениями не столь богатую художественную литературу на эту тему. Затем, помимо психологического "отдыха души" на картинах дореволюционного счастливого времени России, эти рассказы дают образы отца автора, матери, няньки Прабы, вынянчившей в семье не только отца, но и деда, самого автора, хлопотливой "настоящей городской барыни" тетки Анны, а также намеченные короткими, но живыми штрихами портреты соседей казаков.

Самым интересным является образ отца автора: сельского священника по призванию в небогатом приходе, а в прошлом — поручика гусарского полка; был к тому же этот сельский священник и агрономом, сдал экзамен на фельдшера и лечил болящих и духовно, и своими травами и настойками, которыми был известен на всю округу, так что даже завистники в консистории звали его "знахарем". Да еще развел отец Петр яблоневый сад и делал сидр на продажу.

Но время шло и разрушало древний, еще в сильной мере связанный с арийскими, ведийскими преданиями, быт: автор пошел на войну, а когда "...с войны вернулся домой, то дома не оказалось, сада тоже, отца не было в живых, а мама ютилась с моей сестрой в крестьянской хате..." — "мудрая политика партии" произвела на месте общего изобилия всеобщее оскудение.

Ведийские же предания оставались еще очень живучими на юге России, в Задонье. В "Прабкином учении" в предисловии указано, что

“автор не чувствует принципиальной разницы между языческим религиозным мировоззрением и христианским..... из обоих возникает гармоничное целое”. “Ведийцы вкладывали в вешние праздники значение любви Индры (солнца) к людям, а также спасение их через Любовь Ягни, Агни (огонь) значит в то же время и любовь. Характерно, что пасхальный ягненок назывался в Задонье сурья (ведийское Сурия — солнце), а травная брага к нему — суряница.

Рассказы Миролюбова по языку очень образны, просты и ясны, и напоминают своим языком воспоминания детства Шмелева.

Юрий Миролюбов был авторитетным ученым в области древней русской и пра-славянской истории и древнейшей славянской письменности. Им написано несколько томов славянской и русской пред-истории, а также транскрипированы и переведены известные тексты дощечек Изенбека (“Влесова книга”), относящихся к пятому веку нашей эры.

Гомик стихов “Родина-Мать” посвящен тем же темам воспоминаний о России, счастливом детстве и наставшем лихолетьи. Хороши описания природы. В стихах соблюдены классические образцы и нет исканий новшеств. Стих его прост, непритязателен, но правилен и образен — может быть, напоминает ранние, юношеские стихи Бунина.

Борис Нарциссов

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Андрей Седых.* Крымские рассказы. Нью-Йорк 1977. стр. 138.
- Архиепископ Иоанн Шаховской.* Биография юности. Имка-пресс, Париж 1977. стр. 418.
- Дм. Кленовский.* Последнее. Мюнхен 1977. стр. 41.
- Я. М. Горлов.* Случай на даче. Имка-пресс, Париж. 1977. стр. 201.
- Песни русских бардов.* Тексты. Серия I, II, III. Имка-пресс, Париж 1977. (стр. 158, 163, 157).
- Михаил Геллер.* Концентрационный мир и советская литература. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1974 (352 стр.)
- Юрий Глазов.* Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1973. (262 стр.)
- Зигмунд Фрейд.* Избранное. Том I. Под редакцией Евгении Жиглевич. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1969. (355 стр.)
- Ефим Эткинд.* Записки незаговорщика. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1977. (486 стр.)
- К. Цетник 135633.* Часы над головой. Перевел с иврита Ш. Бар-Ор. Издательство "Nahvi". Tel-Aviv. 1973. (111 стр.)
- Устами Буниных.* Дневники И.А. и В.Н. и другие архивные материалы. В трех томах. Том I. Под редакцией Милицы Грин. Посев. Франкфурт/Майн. 1977. (366 стр.)
- Л.Д. Блок.* Были и небылицы. The Hebrew University of Jerusalem. Verlag K. Presse. (102 стр.)
- Петр Балакшин.* Свет пламени. Изд. Сириус. 1977. (336 стр.)
- Ян Кован. Ян Даниэль.* Социалистическая оппозиция в Чехословакии. Лондон 1976 (335 стр.)
- Рабочие волнения продолжаются.* Сост. В. Малышев. Лондон 1977 (224 стр.)
- Программа польских объединений сторонников независимости.* Варшава 1976 (31 стр.)

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1978 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1978 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
